СОВРЕМЕННАЯ МАЛАЙЗИЙСКАЯ НОВЕЛЛА







Виджая Мала
Асмал
Усман Аванг
Крис Мас
А. Самад Саид
Шахнон Ахмад
Анис Сабирин
Алиас Али
Малунгун
Осман Келантан
А. Рашид Нгах
Яхья Исмаил

Сюй-Сюй
Хуа Юн-чоу
Чань Цюань
С. Вадивель
К. Перумаль
Ли Го-лян
Касим Ахмад
Ширли Лим
С. Кон
Сю Юэ Киллингли
Рональд Чань

СОВРЕМЕННАЯ МАЛАЙЗИЙСКАЯ НОВЕЛЛА



МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» 1977

Составители В. СИГАЕВ и Б. ПАРНИКЕЛЬ
Предисловие Б. ПАРНИКЕЛЯ
Редактор М. ФИНОГЕНОВА

70304-300
С ――――― 107-76
006(01)-77

ПРЕДИСЛОВИЕ

Давно ли казалось, что раз существует Малайя и малайская литература, то малайские писатели — это, уж конечно, малайцы и пишут они, разумеется, на малайском языке. До известной степени дело обстояло именно так с той лишь оговоркой, что малайский литературный язык, не без содействия мусульманских миссионеров, получил в XVI—XVII веках широкое распространение на берегах великого архипелага, до сих пор называющегося Малайским, и этим языком сплошь да рядом пользовались авторы, по рождению не бывшие малайцами. Но с тех пор, как утвердились в Юго-Восточной Азии европейские колонизаторы, пошла змеиться, уточняться и наконец ясно обозначилась граница между английскими и голландскими сферами влияния в малайском мире, сохранившаяся позднее как граница двух независимых государств — Республики Индонезии и Малайской Федерации (а с 1963 года Малайзии). Причем если в Индонезии малайский язык (уже около половины столетия именуемый индонезийским) и литература на малайском языке (индонезийская литература) привычно воспринимаются как общие для многочисленных родственных народов этой страны, то в Малайзии сложилась совершенно иная языковая и литературная ситуация.

Дело в том, что, приступив к эксплуатации природных богатств Малайи, англичане скоро поняли, что местные старожилы-малайцы не намерены расставаться со своими рисовыми

полями и рыболовными тонями ради работы на каучуковых плантациях и оловянных копях. Поэтому уже с конца прошлого века предприимчивые вербовщики начали контрактовать китайских и индийских кули на работы в Малайе, а по истечении контракта многие из приезжих оседали на благодатной малайской земле. В 1965 г., когда Федерация Малайзия приобрела свой современный вид, на четыре с половиной миллиона жителей-малайцев здесь приходилось более трех с половиной миллионов китайцев и без малого миллион тамилов. Соответственно у каждой из этих трех наиболее значительных групп населения существовала своя интеллигенция, своя система образования на родном языке и своя литература. И по существу, каждая из этих литератур, доступных лишь определенной этнической группе, была малайзийской литературой.

Совершенно естественно, что глубже всего уходила корнями в местную почву малайская литература. Законная наследница средневековой малайскоязычной словесности, она усвоила — отчасти при посредничестве арабской и индонезийской литературы — многое из европейского литературного опыта и теперь настойчиво пыталась с помощью новых для нее литературных средств запечатлеть образ своего времени и своего народа. Если довоенные китайские поэты Малайи воспевали в духе китайской классической традиции белую пелену снега или придорожную иву, встречающую одинокого путника, а тамильские журналы охотнее всего помещали рассказы, посвященные национально-освободительному движению где-нибудь в Южной Индии или на Цейлоне, то тамильские и китайские писатели конца 40-х — начала 50-х годов в первую очередь стремились уже отобразить бытие своих соплеменников, которые связали судьбу с Малайзией и, как правило, лишь понаслышке знали край своих предков. Наконец, англоязычная литература Малайзии, заявившая о себе уже после второй мировой войны преимущественно в стенах местных университетов, также сосредоточивала все свое внимание на общественной и духовной жизни современных малайзийцев и к тому же была понятна образованной прослойке всех трех национальных общин.

Можно было надеяться, что с достижением независимости все эти литературы будут развиваться на равных началах и пользоваться равными правами. «Если говорить о единстве

литератур Малайи,— писал в 1958 г. Го Цзя-сен, один из авторов студенческого журнала «Райт»,— то к нему можно прийти не путем предпочтения одного из языков, но, скорее, с помощью самих читателей. Им предстоит научиться воспринимать литературу Малайи во всех ее формах выражения. Решение вопроса, безусловно, заключается в многоязычии». Однако в конституции Федерации Малайзия оказались закреплены особые права коренного населения — малайцев, государственным языком был провозглашен малайский, а литературе на малайском языке (ныне все чаще и чаще именуемом малайзийским) было присвоено звание национальной малайзийской литературы. Однако как бы то ни было, литературам на китайском, тамильском и английском языках не было отказано в праве на существование — они лишь были отнесены к «сублитературам» и лишены той поддержки, которую правительство все более активно оказывало литераторам, пишущим на малайском языке. По прогнозам наиболее оптимистично настроенных деятелей культуры уже следующее поколение малайзийцев будет рассматривать всю многоязычную литературу как общее достояние, ведь в современной Малайзии продолжают выходить и находить своих читателей произведения на малайском, китайском, тамильском и английском языках. Литературы на этих языках и представлены в нашем сборнике наиболее популярным и, пожалуй, наиболее интересным своим жанром — рассказом.

Можно ли говорить об общности малайзийских рассказов, принадлежащих разноязычным писателям, рассчитанных на разноплеменных читателей и в какой-то степени связанных с различными «материнскими» культурными традициями? Думается, что можно, и это неудивительно, если принять во внимание историю возникновения этого жанра и условия его становления. В сущности, и малайский, и китайский, и тамильский рассказ были детищами местной периодической печати — будь то малайский журнал «Пенгасух», опубликовавший в 1920 г., может быть, первый малайский рассказ — «Злоключения одного лентяя» Нора бин Ибрахима, или выходившие на китайском языке газеты «Наньян шанбао» и «Синчжоу жибао», начиная с 30-х годов неизменно отводившие пятнадцать процентов своего объема под литературный отдел, или тамилоязычные газеты «Тамыж несан» и «Тамыж мурасу», без которых

(как и без местного радиовещания на тамили) невозможно представить себе развитие тамильского рассказа в конце 40-х — начале 50-х годов. Авторами этих рассказов были школьные учителя, мелкие служащие да и сами газетчики, корпевшие над своими творениями в душных редакционных помещениях под стук работающего где-нибудь на первом этаже ротатора. Выбившиеся обычно из небогатых семей, окончившие местные «народные школы», где в их души запали скудные сведения о других культурах, обосновавшиеся в городах — опорных пунктах наступающей европейской цивилизации, эти молодые люди не могли уже смотреть на мир глазами своих отцов и дедов, но еще меньше хотели перенимать воззрения тех, кого они в интимном кругу именовали «белыми туанами» или «заморскими дьяволами». Свое недовольство, свой гнев, язвительность, осенявшие их порой наивные, порой чересчур прямолинейные рецепты переустройства жизни они вкладывали, сообразуясь с подслеповатой колониальной цензурой, в свои стихи и рассказы, то есть в наиболее компактные, «газетные» жанры, которые были адресованы их возможным единомышленникам, таким же, как они сами, молодым интеллигентам в первом поколении, живущим, может быть, в соседнем переулке, а может быть, в глухой деревушке за несколько сот миль. Отчуждение от косной полусредневековой жизни предков и неприятие надвигающихся капиталистических перемен, сочувствие «униженным и оскорбленным», крен в сторону натурализма, мелодраматизм, схематичность, дидактика — вот приметы малайзийских рассказов первой половины нашего века, на каких бы языках они ни писались.

Несмотря на то что рассказ явился решающим звеном малайзийской литературной эволюции, поначалу многое связывало его с прошлым. В китайских рассказах 20-х годов еще ощущалась стилистика старой китайской прозы или конфуцианское мышление, а малайский рассказ первое время имел немало общего с малайской сатирической сказкой и порой, подобно ей, превращался в бесконечную цепь приключений героя (несмотря на отчаянные призывы редакций не присылать рассказов длиннее двенадцати машинописных страниц). В общем, период становления малайзийского рассказа породил немало причудливых и интересных форм, вызвавших разноречивые оценки

малайзийских критиков. Вряд ли подлежит, однако, сомнению вывод Хашима Аванга, согласно которому малайский (а вместе с ним, добавим, китайский и тамильский) рассказ в своем развитии приближается к «интернациональным» образцам. В самом деле, по мере того как малайзийские литераторы знакомились с западной новеллистикой, они обнаруживали в ней близкие им идеи и находили отвечающую этим идеям литературную форму. Не удивительно поэтому, что малайзийские новеллисты наравне с другими писателями стран Азии и Африки проявили самый активный интерес к западноевропейской, североамериканской, русской литературам.

Если перейти от тех черт генетической общности, которые роднят между собой чуть ли не все афро-азиатские рассказы середины XX века, к специфическим малайзийским приметам, то следует обратиться к тем сторонам действительности, которые нашли отражение в этих произведениях. Мы увидим тогда, например, что тема второй мировой войны не оставляет равнодушными малайских писателей Асмала («Ай Хоу попал в рай») и А. Самада Саида («Война и люди») и тамила С. Вадивеля («Старик Муттусами»), причем авторы эти не ограничиваются описанием горестей, которые принесла их соотечественникам война и последовавшая за нею японская оккупация 1942—1945 гг., а пытаются показать, что общая беда может пробудить сочувствие к людям, независимо от того, какая кровь течет в их жилах; так, в рассказе Асмала семья малайского лавочника прячет у себя в доме старика китайца, которому грозят репрессии японских оккупантов. С разных, казалось бы, позиций показывают период «чрезвычайного положения», объявленного колониальными властями в Малайе (1948—1960 гг.), малайский писатель Усман Аванг («Пешки») и китайский писатель Ли Го-лян, пишущий на английском языке («Это все во сне»). Мы видим, как герой Усмана Аванга прочесывает джунгли в поисках китайских партизан, а когда активист китайской радикальной партии, главный персонаж рассказа Ли Го-ляна, оказывается за решеткой, среди его тюремщиков мы встречаем малайцев. И все же объективная реальность, события этого периода сближают противоположные точки зрения: малайского жандарма бесконечно тяготит бессмысленная война против людей, «к которым он не испытывает ненависти», а китайского «демократа» мучает мысль:

оправдывает ли высокая цель любые средства, пущенные в ход для ее достижения?

Обращаясь к проблемам независимой Малайзии, писатели не теряют интереса к своим землякам — представителям других национальностей. Малайская писательница Анис Сабирин пытается, например, разобраться в психологии китайского буржуа — работяги и накопителя, одновременно простодушного и циничного и отнюдь не чуждого радостей жизни («Сапожник А Мен»), а китайский новеллист Чань Цюань в рассказе «Мата Кучинг» описывает жизненные невзгоды попавшего в Малайю яванца, который в конце концов сходит с ума — совсем как злополучный герой гоголевской «Шинели». К сожалению, подобного рода интерес к жизни других национальных общин — явление еще довольно редкое, как, впрочем, и обращение к теме межобщинной розни, на что в Малайзии официально наложен запрет. (О том, какого напряжения достигает порой национальная рознь, косвенно свидетельствует рассказ Шахнона Ахмада «Дела семейные», где престарелые родители отказываются от любимого сына только потому, что тот усыновляет малыша-китайчонка.) Зато вполне единодушны опытный малайский писатель Крис Мас («Они не понимают») и молодой англоязычный новеллист Рональд Чань («Начальник»), сосредоточившие внимание на образах вчерашних хозяев страны — английских администраторов и дельцов, более чем неуютно чувствующих себя в новой Малайзии. Близок к этим рассказам и психологический этюд С. Кона «Наследие», где речь идет о представительницах местного евразийского общества, которые воспитаны в сознании собственного превосходства над стопроцентными азиатами и даже в новой, неблагоприятной для них обстановке не в состоянии расстаться со своими жалкими «духовными ценностями».

Действие рассказа С. Кона явно протекает в Сингапуре, и это не случайно. Отделившийся ныне от Малайзии Сингапур долгое время был Городом малайзийской литературы. По причалам здешнего порта слоняется помешавшийся Мат Лондон — герой одноименного рассказа Виджаи Малы; на одной из сингапурских окраин утопает в грязи жалкий малайский поселок вместе с его легкомысленными и говорливыми обитателями (А. Самад Саид, «Канава»); по самым большим и оживлен-

ным улицам Сингапура до одурения колесит велорикша Вэнь Гуй, тщетно пытаясь заполучить клиента и заработать на пропитание своей семье (Хуа Юн-чоу, «Сошел с ума»)... Однако отношение к городу может до известной степени служить той лакмусовой бумажкой, которая отличает малайского писателя, ощущающего себя сыном деревни, от китайского литератора — прирожденного горожанина: герой Касима Ахмада («Обыкновенная история») чувствует себя как рыба, выброшенная на берег, в городе, бывшем в 50-е годы и малайским Вавилоном, и малайскими Афинами, а для Цюй Юй (Сюй-Сюй, «Ловушка») Сингапур, каков бы он ни был,— родная стихия, и лишь за его пределами бедную девушку ожидает падение в бездну, из которой нет возврата. Схожая ситуация повторяется и в тех случаях, когда речь идет о других городах: если юная героиня рассказа Ширли Лим «Путь» — это тонко мыслящий и чувствующий тростник, выросший на плотно утрамбованной городской почве, то главный персонаж рассказа Шахнона Ахмада «Наваждение»— сын своей земли: он всей душой рвется из пинангской квартиры в покинутую родную деревню. Вот потому-то и понятен сугубый интерес малайских писателей 60-х годов к крестьянской тематике, чуждой китайским писателям Малайзии.

Нельзя не обратить внимания и на то, что в обличительных малайских рассказах (в особенности это относится к рассказам конца 50-х — начала 60-х годов) жало сатиры чаще всего язвит представителей малайских властей — будь то уходящее поколение государственных мужей, не за страх, а за совесть служивших колониальной администрации (Алиас Али, «Свет перевернулся»), или столь же тупые, сколь и хитрые «слуги народа», спешащие к дележу государственного пирога после провозглашения независимости (Осман Келантан, «Заметки сенатора»). Выбирая объекты для социальной критики, китайские писатели в основном ограничиваются изображением нравов «своей» буржуазии (Сюй-Сюй, «Ловушка»), поскольку китайский чиновник — сравнительно редкое явление в государственном аппарате. Что же касается тамильских новеллистов, то, по словам малайзийского литературоведа Т. Вигнесана, они предпочитают высмеивать жадность и ханжество тамильских брахманов и других представителей высших каст.

Разные интересы писателей Малайзии очевидны и тогда, когда их рассказы выходят за пределы личного опыта. В этом случае из-под пера малайских писателей выходят, например, произведения, посвященные жизни аборигенов малайских джунглей — семангов (Шахнон Ахмад, «Кабан») или недавним событиям в Индонезии, стоившим жизни сотням тысяч коммунистов и сочувствующих («О Джакарта, Джакарта!»); тамильский писатель Перумаль переносится в глухую деревушку милого ему Тамилнада, который он покинул еще ребенком (рассказ «Судьба»). Кстати, именно этот рассказ может дать представление о разных оттенках мировосприятия и различиях национальных традиций, нередко проступающих сквозь ткань повествования: если у Перумаля судьба выступает как независимое от человеческой деятельности и абсолютно неисповедимое начало, то у малайских новеллистов на ход событий чаще всего влияют традиции, обстоятельства, нередко оказывающиеся сильнее людей, а в китайской новелле исход действия в большей степени зависит от воли человека и его взаимоотношений с другими людьми.

И все же рассказы малайзийских писателей обнаруживают значительное сходство. Это сходство распространяется не только на малайские, китайские и тамильские рассказы, но и на рассказы англоязычных писателей Малайзии, в которых, как нетрудно увидеть непредубежденному читателю, изображается та же жизнь, ставятся те же проблемы, что и в рассказах малайзийских литераторов, пишущих на местных языках.

В XX веке «время гонит лошадей» быстро, как никогда, и, преисполненные романтического пафоса и натуралистической обстоятельности описания, на которые были так щедры писатели властвовавшего некогда над умами «поколения пятидесятников», перестали волновать малайских читателей и стали вызывать ехидные насмешки молодых литераторов, к которым поспешили присоединиться и представители старшего поколения, искавшие новых путей в литературе. Результатом этого явились существенные перемены в малайской новеллистике, о которых позволяет судить, например, рассказ Шахнона Ахмада «Наваждение», по технике своей достаточно близкий рассказу Ли Го-ляна «Это все во сне» или рассказу Ширли Лим «Путь». Перед нами духовный мир человека, показанный изнутри, с помощью внутреннего монолога, попытки уловить

как течение мыслей героя, так и безотчетные образы, возникающие в глубине его души, смелое чередование планов, перенесение действия из настоящего то в прошлое, то в воображаемое будущее и т. п. Причем стилистическое обновление рассказа означает одновременно и его сдвиг в сторону более глубокого постижения мира, переход к «двухголосому» слову, а в своем пределе — к диалогическим формам художественного мышления, о которых писал М. М. Бахтин в своей работе о поэтике Достоевского.

Усложнение малайзийской литературы приходится по душе далеко не всем. «Если мы будем пользоваться такой сверхсовременной техникой, как «поток сознания», «внутренний монолог», и тому подобными приемами, заимствованными из западной буржуазной литературы, наши произведения смогут понять и оценить только немногочисленные представители класса имущих»,— предостерегает молодых малайских писателей поэт и критик Касим Ахмад. В открытом письме за подписью «Литератор-пятидесятник», опубликованном в еженедельнике «Утусан Малейсиа», Шахнона Ахмада обвинили в увлечении проблемами «чистого искусства» в ущерб наболевшим вопросам повседневной жизни малайского народа. По сути, того же направления мыслей придерживается и энергичный председатель ГАПЕНА (Объединенного союза национальных литераторов) профессор Исмаил Хусейн, щадящий, правда, в своих полемических выступлениях Шахнона Ахмада, которого он не без основания считает наиболее талантливым из современных малайских литераторов. Опасения подобного рода можно понять, тем более что бездумное подражательство западным образцам — не такая уж редкость среди молодых малайских литераторов 70-х годов. Однако обращенные к писателям призывы повернуться спиной к «агонизирующему Западу» и заняться удовлетворением потребностей миллионов пробуждающихся к новой жизни малайских крестьян отдают вульгаризаторским подходом к литературе. И трудно не согласиться с далеко не одиноким в своих воззрениях известным малайским поэтом и критиком Бахой Зайном (Бахаруддином Зайналом), который в статье «О здравом подходе к литературе» (журнал «Деван састра», 1974, № 10) резонно напоминает о реальном круге сегодняшних малайских читателей, состоящем из сравнительно немногочисленной пока малайской интелли-

генции; дело литературной критики — помочь широкому читателю оценить действительно интересное произведение, своеобразие его художественной формы. Автор выражает надежду, что его коллеги общими усилиями преодолеют трудности современной литературной ситуации в Малайзии.

Трудностей и в самом деле немало — среди них и мизерность гонораров, и рогатки цензуры, и несовершенство авторского права, и соблазны коммерческой литературы, и попытки правительственных кругов направить литературное развитие в нужном им «конструктивном» направлении. Однако, наверное, мы не ошибемся, если скажем, что именно дух взаимной заинтересованности и солидарности, свобода от всех и всяческих форм культурной ксенофобии могут помочь разноязычным малайзийским писателям осилить лежащий перед ними путь и прийти к расцвету литератур Малайзии, представленных в нашей книге рассказами 50—60-х годов.

Б. Парникель

Виджая Мала



МАТ ЛОНДОН

Сына его звали Майлс Матадон, поскольку корни его проросли в Малакке, а посадили их в почву ирландскую. Мат Адон с женой Эннис Росс долго ломали голову, какое имя дать мальчику, хотели, чтобы было в нем что-то и от ее родины, и от его. Ну вот и вышел Майлс — так звали деда, а Матадон — от Мата Адона. Жили они в то время в Тигровой бухте в Кардиффе.

Никто не знает, как звали Мата Адона на самом деле, никакого свидетельства или даже простой справки о рождении у него никогда не было. В паспорте моряка было записано: Мат Адон бин Лазим. И имя это он вроде бы не изменял, но люди сами стали звать его так, как им казалось лучше и удобнее.

На этом пароходишке его сразу прозвали Дон Простофиля за то, что он исправно тянул свою лямку. Когда все работали, он лишь изредка останавливался, чтобы перевести дух, когда же все отдыхали, он непременно был чем-нибудь занят.

Иногда Мат вдруг ни с того ни с сего начинал чему-то улыбаться, посмеивался про себя, не обращая ни на кого внимания, а то вдруг принимался разговаривать сам с собой, одобрительно покачивая головой или со злостью чертыхаясь; иной раз казалось, что он с кем-то спорит, что-то доказывает. И если его спрашивали в такие минуты: «Что с тобой, Мат?», он отвечал коротко: «Мой сын...»

Мат был когда-то боцманом и плавал по всему свету. Из Кардиффа — в Саутгемптон, из Саутгемптона — в Гибралтар, а оттуда дальше на восток. В общем, полюбилось ему смотреть на мириады огней в разных портах. Нравилась такая жизнь. Раз в полгода их посудина обязательно заходила в Сингапур и если не стояла на заправке в Пулоу Букум, то швартовалась в Пулоу Ханту. Как только судно вставало на якорь, Мат Адон отправлялся на берег, и всегда с Баба[1] — товарищем по команде.

Со здоровьем у Мата Адона было теперь совсем неважно. Но воздух Сингапура — он совсем особенный — это не то, что воздух Гонконга или Иокогамы. Его не сравнить с воздухом Кардиффа или Саутгемптона, да, впрочем, и любого другого порта, где доводилось бывать Мату.

В Сингапуре у Мата Адона было великое множество старых друзей. Здесь когда-то был его дом. Здесь в общем-то хорошо жилось. Приятно было вспомнить! И от этих воспоминаний на душе становилось спокойно и радостно. Только здесь, в Сингапуре, он еще и жил. Когда Мат встречал

---

[1] Баба — прозвище, которое в Малайе обычно дают издавна осевшим в стране китайцам.

давних друзей, старинных своих приятелей, когда он бродил по знакомым, дорогим ему местам,— словно и не было этих цепей, которые сковывали его истерзанную душу и которые он чувствовал каждую минуту, каждое мгновенье. Ему легко дышалось, когда он видел эти старые портовые склады, шел по улице Султана или по Минто-роуд, бродил по Капуру и Кучану. Так хорошо было гулять по Амбару, Гейленгу, по улице Аль-Джунид, ходить и ходить часами; он никому не надоедал, ни к кому не набивался в гости, но здесь всюду были его друзья, его верные старые друзья. И этого было уже достаточно для хорошего настроения.

И все-таки пройти мимо Серанга Манана Мат никак не мог. Обычно он вытаскивал его из дома и предлагал посидеть где-нибудь, выпить. Если капитан Ясад попадался навстречу, приглашали и его. Вместе с Долахом Ганнаром и Баба получалось как раз пять человек — неплохая компания. Они отправлялись в кедэй[1] к Мине Лава.

— Ну что, Мина, наси[2] у тебя еще есть? — спрашивал капитан Ясад.

— Наси? — лениво отзывалась Мина. Физиономия у нее была, как всегда, самодовольная.— Все уже, все уже, не осталось больше ничего.

— Вот вечно так.— Капитан Ясад изображал на лице некое подобие ухмылки, показывая при этом ряд вставных зубов.— Мои друзья,— продолжал

[1] Кедэй — небольшая малайская закусочная и продуктовый магазин одновременно.

[2] Наси — особым способом сваренный рис.

он, все так же ухмыляясь,— явились сюда издалека. А ведь самбал[1] по-сингапурски в Лондоне не попробуешь.— И все дружно хохотали.

— Тогда пива,— вмешивался Баба, заискивая перед Ясадом, потому что тот был капитаном — пусть на паршивой посудине, но капитаном.

— Пива! Знаешь, которое с тигром на бутылке? Две больших! — продолжал распоряжаться капитан.— У себя-то дома мы все больше пьем водичку из бачка. Ну что, Мат, только пива или еще чего-нибудь покрепче?

— Как все, как все,— кивал Мат Адон.

— Давай еще две бутылки крепкого портера, вот того, что с собакой. И побыстрей, Мина. И орешков жареных. Когда мы еще сможем покутить за счет нашего Мата, а?

Они долго пили. На столе вырастала целая батарея пустых бутылок из-под пива и портера. Лица багровели все больше и больше, и голоса звучали все громче. Это был веселый разговор на языке бутылок. Мат Адон, этот молчун, говорил больше всех. Он увлеченно рассказывал о мириадах огней в порту Нью-Йорка, об огромных плантациях, обо всем на свете. Он чувствовал себя сейчас уверенным и сильным — человеком, который может все, стоит ему только захотеть. Они спорили о достоинствах и недостатках дорогих автомобилей, говорили о том, что такое настоящие друзья, и о том, что бывают и никудышные друзья. Поговорили о небоскребах, о том, что хорошо иметь крупный счет в банке, и, наконец, реши-

[1] Самбал — приправа из красного перца с рыбной пастой.

ли, что лучше всего было бы иметь собственное судно.

Выпив как следует у Мины, компания отправлялась потанцевать. Они снова усаживались впятером за один столик. Здесь их хорошо знали, знали, что эти умеют пожить с размахом, и девушки не обходили их своим вниманием.

— Ну давай, Мат Лондон! Пора показать им, пусть знают наших.— Серанг Манан с улыбкой смотрел на Мата.

Мат Лондон — здесь его снова называли так, хотя в Лондоне он и не был ни разу. Раньше все знали его только так — Мат из Лондона, Мат Лондон, это имя было хорошо здесь известно. Рассказывали настоящие легенды о силе и ловкости, о смелости и находчивости Мата Лондона, о его бесконечных похождениях и женитьбе на белой. Никто не мог сравниться с Матом Лондоном в те годы, и лишь изредка кто-нибудь говорил: «Ну, он совсем как наш Мат Лондон!»

Серанг Манан улыбался Мату.

— Ну давай, Мат Лондон, давай!

Казалось, что энергии его не будет конца. Мелодия песенки «Один доллар десять центов» кончилась, но Мату этого было мало, он просил повторить еще и еще. Темп музыки его уже не устраивал, и он двигался все быстрее и быстрее. Угнаться за ним было просто невозможно. Партнеры в изнеможении опускались в кресла, едва переводя дух, а Мат Лондон все вытанцовывал, покоряя всех легкостью и грациозностью движений. Смеялся он так, как должны были в представлении его друзей и самого Мата смеяться только в

Лондоне, и говорил он так, как должны были бы говорить только в Лондоне, и к своему столику он подходил тоже как-то по-лондонски, как никто, кроме него, не мог бы пройти по залу; как заправский лондонец, он посасывал свою английскую сигарету и улыбнулся всем так, как, по-видимому, должен был бы улыбаться сам Черчилль. Поистине в Сингапуре Мат Лондон чувствовал себя человеком.

А потом все вообще изменилось — они плавали теперь только вокруг Европы и Африки, и на Дальний Восток не ходили вот уже целых два года. Когда его жена сбежала с белым, а сына забрали соседи, Мат Лондон как-то сразу сник и замкнулся. В голове у него все шло кругом. Он теперь больше молчал, а иной раз принимался разговаривать сам с собой. «Он теперь и до десяти не сосчитает», — говорил Баба.

— Что ты все думаешь о прошлом да о прошлом, Мат? Мало тебе сегодняшних радостей, что ли? Вон сколько девочек... Ну?

— А мой сын?..

— Да брось ты, какой там еще сын? Нет у тебя никакого сына!

Матросы смеялись.

— Мой сын, Майлс Матадон...

— Что-то ты не очень о нем думал раньше. Больше о девочках... тут уж аппетитом тебя бог не обидел!

Вокруг все покатывались со смеху.

Мат смотрел на Баба не мигая. Глаза у него налились кровью и едва не вылезали из орбит.

— Уж если твоя птичка улетела из клетки,

назад не воротишь, снова в клеточку не посадишь. Да велика ли беда-то, подумаешь, жена ушла. Был бы я на твоем месте, нашел бы себе еще штуки три-четыре, и все дела! У меня вон в каждом порту по жене.

— Дело хозяйское, Баба.

Мат сплюнул, повернулся спиной к Баба и медленно отошел в сторону.

Матросы примолкли.

— Что ты с ним разговариваешь? Мало у тебя своих забот?

— Мне тяжело его видеть таким. Смотри, какой он стал сморщенный да щуплый, слишком маленький для этого огромного страшного моря. Я сам уже стар, и не могу чем-нибудь помочь ему,— сказал один из матросов.— Но ты, Баба, ты ведь можешь даже заменить ему доктора. Нужно помочь Мату отделаться от этих воспоминаний, перевернули они у него все внутри.

— Мне жаль его,— отозвался Баба.— Вспомни, кто нас спас тогда в Средиземном? Если бы не Мат Лондон, всем нам была бы крышка!

Все молчали. Да. Этот отчаянный Мат Лондон выручил их тогда в Средиземном. Такую заварушку, как та, не забудешь. Спасибо Мату, а то многих бы они тогда не досчитались. Да, пока у него была жена, эта самая Эннис Росс, Мат отчаянный был парень. А потом, когда эта стерва сбежала, куда только все подевалось. Такого испытания Мат уже не выдержал.

Вот странно: значит, он еще жив, если его еще может волновать эта стычка с Баба, значит кровь у него такая же горячая, как и раньше... Оказывает-

ся, он может еще чувствовать, переживать и выходить из себя из-за поучений Баба. Баба... теперь-то он знал его хорошо. Любимчик капитана Брауна.

Насмешки Баба снова звучали в его ушах, казалось, они впивались в него все глубже и жалили больно, нестерпимо больно. Злость и ненависть к Баба все разрастались, они тисками сжимали его голову, его душу. И этот капитан Браун — его белая кожа всегда напоминала Мату о жене Эннис Росс, она такая же белая, совсем такая.

Капитан Браун одного только Баба считает за человека. На остальных желтых ему плевать, а с этим иной раз даже церемонии разводит, чтобы пыль в глаза пустить — вот, мол, я с вами, ребята, как с равными.

Мат двигался, словно в тумане, он и сам не помнил, как очутился в кубрике. Потоптался с минуту возле своей койки, наклонился и достал небольшой нож — финку. Спрятав нож за спину, осторожными шагами, словно боясь кого-то вспугнуть, он вышел на палубу. Здесь он опустился на корточки и принялся точить и править свое оружие. Мат Лондон пробовал лезвие пальцем, ладонью, попробовал провести им по бороде. Нет, не то! И Мат продолжал работу.

В это время Баба проходил мимо, в гальюн. Ему и в голову не пришло, будто здесь что-то неладно — не было ничего необычного в том, что Мат сидит и точит нож. Все давно привыкли к тому, что он время от времени забавляется своей игрушкой.

Мат Лондон уставился на Баба, глаза его дико сверкнули, он вдруг резко поднялся на ноги и двинулся следом за Баба, пряча за спиной нож.

Баба обернулся, что-то насторожило его во взгляде Мата. Ему стало страшно, и он пошел быстрее. Мат не отставал от него. Баба побежал, влетел в гальюн и заперся изнутри. Несколько минут Мат Лондон стоял тихо, затаив дыхание перед дверью, а потом принялся колотить по ней ногами. Дверь не поддавалась. В бешенстве он поднял нож и стал наносить удар за ударом. Один из матросов прибежал на шум. Мат Лондон почему-то кинулся с ножом за ним. Бедняга со всех ног бросился в сторону, кубарем скатился по лестнице и грохнулся возле каюты капитана. Рулевой, видевший все это, замер от ужаса.

Капитан Браун только-только собрался подремать. Топот ног на палубе и глухие удары прогнали сон. Капитан оторвал голову от подушки и прислушался. Словно удар молотком по голове, раздался жуткий грохот на железной лестнице, и кто-то свалился у дверей его каюты. Капитан в бешенстве выскочил на палубу и заорал:

— What' happening?[1]

Рулевой начал сбивчиво объяснять, что произошло: Мат Лондон гнался за матросом с ножом, хотел зарезать, похоже, он собирается поджечь судно. Капитан все еще не верил.

— Что за чертовщина? Неужто и впрямь спятил? Вроде утром был еще в порядке, и вот на тебе.

Капитан посмотрел на Мата, тот молча стоял перед ним, потом поднял нож и стал медленно подходить все ближе и ближе. Капитан приказал матросу поднять сигнал вызова полиции, а сам

---

[1] В чем дело? (*англ.*)

шмыгнул в каюту и выхватил из ящика стола небольшой пистолет. Теперь он может защищаться.

— You, coward! [1]— процедил Мат.

Они стояли друг против друга. Мат надвигался все ближе и вдруг увидел пистолет. «Еще шаг и все, конец»,— мелькнуло в голове. Пока они стояли так, прибежали Баба и другие матросы. Мат Лондон не слышал, как капитан Браун отдавал какие-то приказания, он с животной тупостью и упрямством наступал на капитана.

Капитан выстрелил, пуля задела Мату руку, и нож выпал, Мат свалился на палубу, и его долго били, пока он не потерял сознание.

Это был последний день его плавания, последний день пятнадцатилетних скитаний по морям. Мата Лондона списали с судна, он отплавался навсегда. Паспорт моряка у него отобрали, а самого отправили домой, на родину.

Теперь ему больше никуда не нужно было спешить. В психиатрической больнице, находившейся на мысе Рамбутан, от него постарались побыстрее отделаться. Он не досаждал благотворительным обществам своими посещениями. Мат Лондон продолжал жить, продолжал есть, спать, ходить, иногда даже разговаривал. Смеялся и хихикал он не переставая, и смех этот был какой-то странный — тому, кто слышал его, становилось не по себе, даже мурашки пробегали по коже.

Когда его выпроводили из сумасшедшего дома, Мат какое-то время жил в своем поселке. Потом он

---

[1] Ты трус! (*англ.*)

ушел. Ушел в порт, где было много огней, море огней, «огней Лондона».

Жизнь его теперь стала совсем легкой. Одежда у него была только та, что на нем, если Мат Лондон хотел есть, он просил у людей хлеба или кофе — чего-нибудь. Съедал то, что ему давали, потом просил покурить. Одной сигареты было ему вполне достаточно. Бродил он, где хотел, и спал, где хотел. Но каждое утро Мат Лондон неизменно направлялся к причалам, сжимая в руке замызганный клочок бумаги — старый рецепт на какое-то лекарство и старую записную книжку, издали похожую на паспорт моряка. Часами он сидел на берегу и смотрел на суда в порту. Если кто-нибудь хотел убедиться, что Мат еще не разучился говорить, и спрашивал: «Что ты здесь делаешь, Мат?», тот вспоминал о сыне: «Мой сын... мой сын...» — «Когда ты опять женишься, Мат?» — «Вот погоди, вернусь из Лондона...» — отвечал Мат Лондон.



Асмал



АЙ ХОУ ПОПАЛ В РАЙ

Я хорошо помню, как Ай Хоу впервые надел малайскую одежду. Это было очень забавно: глухая, под горло, рубашка доставала ему чуть ли не до колен, а сонгкок — маленькая шапочка — нелепо съехала на ухо. Ай Хоу чувствовал себя неловко, смущался, а все вокруг хохотали до упаду...

Для матери же моей это была большая победа: ведь она очень давно уговаривала Ай Хоу надеть малайское платье — рубаху с глухим воротом и кайн [1] в клетку. «Если ты будешь одет, как малаец, японцы никогда не признают в тебе китайца»,— убеждала она Ай Хоу. Тот в ответ лишь жалко улыбался, обнажая при этом голые десны и три кривых зуба, торчавших во рту, как последние подпорки ветхого, готового вот-вот обвалиться

---

[1] Кайн — кусок ткани, обертываемый вокруг бедер наподобие длинной, до щиколоток, юбки; кайн носят все малайцы — мужчины и женщины, разница лишь в рисунке и расцветке ткани.

дома. Иногда он отвечал на ее увещевания умоляюще протяжным: «Айй-а-а, сестрица»,— и это «ай-а» означало отрицание... Но мать не теряла надежды и день за днем продолжала свои уговоры. Она даже специально съездила в Гейланг за материей «фудзи» и до поздней ночи шила из нее малайскую рубаху для Ай Хоу.

И вот наконец настал день, когда Ай Хоу не решился больше пропеть свое «ай-а», он сдался. Мать сама обрядила его рано утром и позвала старшего брата, пока тот не ушел в лавку:

— Эй, Хасан, погляди-ка! Каков красавец?! Прямо жених, хоть сейчас на свадебный трон!

Брат, увидев своего друга в таком одеянии, не удержался от улыбки. Наша мать прямо сияла от гордости.

Я тоже радовался. Теперь будет чем похвастаться перед ребятами: раз Ай Хоу станет ходить в малайской рубахе, кайне и черной шапочке, значит, он теперь малаец, и я могу считать его своим дедушкой!

Но брат, хоть и улыбнулся, не сказал ни слова, может быть, ему стало неудобно перед матерью, потому что он всегда говорил ей: «Перестань ты, матушка, морочить себе голову. Чего ради ты стараешься одеть Ай Хоу по-малайски? Все равно он самый настоящий китаец-беча [1]!»

Ай Хоу стоял, ожидая, когда можно будет уйти, и на лице его застыла все та же жалкая улыбка.

---

[1] Беча (*китайск.*)—трехколесная коляска для перевозки людей; велорикшу, который возит коляску, тоже называют «беча».

Ему, видно, было не по себе: столько времени он сопротивлялся, не поддаваясь маминым уговорам, и все-таки сдался! Когда они с братом ушли, у меня перед глазами долго еще стояла фигура Ай Хоу в длинной рубахе и малайской шапочке... А мать еще крикнула ему вслед:

— Хоу! Ты не трясись над этой рубахой, не бойся! Если измажешь или порвешь, я сошью другую!

Если не ошибаюсь, Ай Хоу прожил в нашем доме шесть месяцев до того, как впервые надел малайскую одежду. А поселился он у нас за три месяца до взятия японцами Сингапура. Привел его старший брат. Видимо, Ай Хоу был его давним другом. Не знаю точно, когда они подружились, но, сколько я себя помню, Ай Хоу был частым гостем в нашем доме. Теперь-то он уже состарился, ему сейчас, наверное, лет пятьдесят, а то и все шестьдесят. Но, как ни странно, он все еще не бросил работы. Был он худой-худой, совсем черный от солнца, лицо все в морщинах, но сила у него еще была. Судите сами: он мог без передышки прокатить свою бечу с пассажиром от кампунга[1] Капор до нашего дома, и ни разу не остановиться, чтобы хоть попить водички со льдом.

Он частенько катал меня с приятелями, особенно во время каникул. А вечером нередко приезжал специально, чтобы свозить нас в Катон-парк; обратно привезет, бывало, почти к самому магри-

---

[1] Кампунг — малайское название поселка.

бу[1], вот-вот темнеть начнет. Когда же наступил пост, он каждое утро раным-рано приезжал за братом. Возвращались они лишь часов в двенадцать ночи. Брат говорил, что во время поста он терпеть не может толкаться в трамвае — «душу в грех вводишь».

Ай Хоу хорошо знал не только моего брата, но и многих других жителей нашего кампунга: Хасана, который шил бархатные сонгкок, деда Дола — сторожа мечети, Ток Ламина — хозяина кофейни у перекрестка, где стоял наш дом. Может быть, это брат познакомил Ай Хоу с ними, но, во всяком случае, хоть он поселился у нас всего полгода назад, казалось, будто он прожил в нашем кампунге много-много лет.

Однако Ай Хоу как был, так и остался самым настоящим китайцем. Когда я впервые увидел его, он картавил, коверкал слова и вместо «р» произносил «л». Он и теперь картавит, хотя времени прошло уже немало — я перешел в четвертый класс английской школы. Ай Хоу не привык носить рубашку — как все бечаки, он ходил всегда в одной майке. Потому-то он и вздыхал так тяжко каждый раз, когда мать принималась за свои уговоры, пытаясь заставить его надеть малайскую рубаху.

— Жарко, сестрица,— оправдывался он, и у него это выходило очень смешно: «Залыко, сестелиса».

Брат не очень-то одобрял старания матери.

— Да пусть он ходит в майке, мать, чего ты пристаешь к нему,— говорил он.

---

[1] Магриб — закат; время вечерней молитвы у мусульман.

— Нет, ты не прав, Хасан. Ведь я о нем же забочусь, боюсь, как бы японцы не признали в нем китайца,— возражала мать.

Но я чувствовал, что брат отлично понимает, ради чего она старается...

А мать просто сил не жалела, чтобы сделать из Ай Хоу настоящего малайца. Не раз она даже советовала ему присмотреть себе в нашем кампунге какую-нибудь вдовушку. «Если тебе приглянется кто-нибудь, не стесняйся, только скажи мне, а уж я все устрою»,— говорила она ему.

Брат подшучивал над ее рвением, а однажды сказал:

— Я ведь привел Ай Хоу к нам в дом не затем, чтобы обратить его в ислам, мать, а чтобы спасти ему жизнь... Сама понимаешь, японцы...

Но мать оборвала его:

— Ну ладно, хватит. Не понимаю, почему ты так боишься, что Ай Хоу станет правоверным мусульманином?

Прожив у нас полгода, Ай Хоу понемногу привык к рису, приправленному острым самбалом, перестал есть палочками и научился есть руками, научился сидеть на циновке, скрестив ноги, приветствовать каждое утро нашего муллу, учителя корана Па Салеха, и пользоваться в уборной не бумагой, а водой. Помню, как расстроилась однажды мать, узнав, что Ай Хоу поужинал у китайцев, в тот вечер он пригласил меня посмотреть китайский фильм.

Я и сам не знаю, зачем рассказал ей об этом: то ли по наивной детской болтливости, то ли потому, что уж очень сильно она рассердилась на меня

за позднее возвращение — ей пришлось встать, чтобы открыть нам дверь.

— Что это ты гуляешь до полуночи, Сем? — ворчала она.

— Я вернулся бы, мам, раньше, да ждал, пока Ай Хоу поест,— оправдывался я.

— Поест?! Чего это ему вздумалось есть, он же ужинал перед уходом,— изумилась мама.

— Не знаю, чего он там... Может, свинину,— вырвалось у меня.

Мать ничего не сказала в ответ, но утром я слышал, как она ругалась с братом:

— Раз он снова начал есть свинину, нечего ему делать в нашем доме...

А брат защищал Ай Хоу:

— Да пусть его, мама. Что плохого-то в этом? Ведь китайцам не возбраняется есть свинину.

— А я не хочу, чтобы он это делал! Ведь он уже надел нашу одежду! Да и люди, если узнают, что скажут?

Она угомонилась только тогда, когда брат пообещал ей уговорить Ай Хоу не притрагиваться больше к греховной для мусульман пище.

Но вообще-то мать любила и жалела Ай Хоу. Ведь он много помогал ей по дому: рубил хворост для очага, ходил в лавку за продуктами, подметал полы, сажал цветы возле дома — короче говоря, был легок на подъем и всюду успевал.

На базар в город он не ездил, да и брат строго-настрого запретил ему уходить далеко от дома, потому что японцы нередко хватали в городе китайцев. Однажды мы не на шутку перепугались. Была уже глубокая ночь, и в кампунге стояла

тишина. Внезапно нас разбудил рев грузовиков. И тут же послышались громкие голоса японских солдат прямо перед нашим домом. Они остановились совсем рядом, в переулке. А через некоторое время мы услышали выстрелы и взрывы. Брат испугался и быстро спустился под дом, где прятался Ай Хоу.

— Хоу, ты здесь? Ты не спишь, Хоу? Где ты?—тихонько звал брат.

— Да, да, Сан, сыдесь. Хоу понимая. Хоу зная, сыто плисыли япониси. Хоу все понимая...

Наутро мы узнали, что японцы дочиста обобрали все огороды вокруг нашего кампунга. «Жаль,— подумал я,— долго мне теперь не придется лакомиться зелеными бобами». Ведь я часто «пасся» на этих огородах.

Но самое главное—Ай Хоу остался цел и невредим, и мы благодарили бога.

Однажды Ай Хоу тяжело заболел. Он лежал на своем топчане, бледный, осунувшийся... Тогда очень трудно было достать лекарства, и брат обошел всю округу в поисках китайских трав и каких-то знахарских снадобий, которые могли бы помочь Ай Хоу. Но ему не становилось лучше. Уже около недели он не вставал с постели, и мать ухаживала за ним. Один раз утром, когда я совсем было уже собрался в школу, Ай Хоу позвал меня:

— Сем... Сем...—услышал я его слабый голос.

Я спустился к нему и остановился возле топчана.

— Сем мозет помоть для Хоу?—умоляюще спросил он.

— Конечно, Хоу, конечно, помогу! Ты хочешь, чтобы я принес тебе фруктов? Чего тебе купить, скажи, Хоу?

— Нет, Хоу не хотеля фылукытов. Не хотеля, Сем.—Он взял меня за руку и притянул к себе.—Сем ведь была у Хоу в доме на Сунгэй-роуд?—спросил он тихо.

— Да, Хоу. Я же часто туда ходил с тобой раньше.

Его вопрос почему-то испугал меня. Конечно, я знал, где этот дом—длинный старый барак, забитый сломанными бечами и колесами от них. На нарах вечно лежали или сидели люди, курившие длинные трубки с опиумом.

— А Сем помниля такого человека—Чонг?—продолжал Хоу.

Конечно, я его помнил. Чонг был немного моложе Хоу и всегда заменял его на работе, если тот болел.

— Сем, а Сем! Ходи к Чонгу, Сем! Поплоси Чонга дать Хоу такая стука...—И он жестом показал, какая «штука» ему понадобилась.

— Трубка... Хоу, я знаю, тебе надо принести бамбуковую трубку! Вместе с табаком, да?—быстро-быстро заговорил я, стараясь убедить его, что сделаю для него все: я не мог без жалости смотреть в его печальные глаза!

Около полудня, когда кончились занятия в школе, я отправился в барак. Но там было пусто. Чонга не было, и двое или трое китайцев, которых я там встретил, не знали, где он. Я обратил

внимание, что эти люди были бледны и чрезвычайно худы, но никто не лежал на циновках и не курил опиум.

Я поспешил домой и сразу же прошел в каморку Ай Хоу. Выслушав меня, он тяжело вздохнул. Лицо его еще больше пожелтело и осунулось.

— Ну ничего, Сем, сыпасиба... ничего, сыпасиба...— только и смог он вымолвить.

Однако вскоре он начал поправляться. Что явилось тому причиной, я не знаю, только ему стало лучше. Правда, он был все такой же тощий, быстро уставал и сделался вроде бы еще молчаливее.

А мать все не отказывалась от своих планов относительно старого Ай Хоу. Однажды вечером я увидел, как она тихо спустилась в подпол, и двинулся за ней — бочком, бочком... Ба! Наш учитель корана Па Салех! Я наблюдал за ними, стоя у двери.

— Хоу, сестрица хочет поговорить с тобой кое о чем.— В голосе матери слышалось смущение, и она прятала свое лицо, делая вид, будто ищет, на что бы ей сесть. Па Салех стоял за ее спиной, неловко покашливая и поправляя свою белую шапочку.

Ай Хоу молча поднялся и сел на топчане, скрестив ноги. В его глазах отразились удивление и испуг при виде сопровождавшего мать Па Салеха.

— Да, да, сестелиса... Ты хотес говолить с Ай Хоу... Сто-нибудь слутилася?

— Да нет, Хоу, ничего не случилось, не волнуйся... Ты ведь уже стар, Хоу, и давно живешь в

нашем доме, и я вовсе не хочу, чтобы ты куда-то переселялся от нас. Оставайся и живи здесь до конца дней своих,— сказала мать, поняв, чего испугался Ай Хоу.

Он лишь молча кивал головой. Па Салех отошел в сторону и все покашливал, глядя в окошечко, будто вовсе не интересуясь тем, что происходит за его спиной. А мать, изобразив на лице широкую улыбку, говорила:

— Я очень рада, Хоу, что дела твои пошли на поправку. И мне приятно, что ты привыкаешь жить по-малайски: стал носить нашу одежду, есть руками...— Она немного помолчала, а потом продолжала, не переставая улыбаться:— И может, скоро станешь ходить в мечеть...

Ай Хоу все так же неподвижно сидел на топчане, плотно сжав губы, и только переводил взгляд то на мать, то на свою старую, изодранную майку.

— Я сшила тебе еще одну малайскую рубашку,— продолжала мать.— А вот Па Салех приготовил для тебя шелковую.— И она оглянулась на муллу, как бы желая услышать подтверждение. Тот, поняв намек матери, поспешно побежал наверх, в дом, и через несколько секунд возвратился с газетным свертком в руках.

— Вот. Это тебе, Хоу! Па Салех дарит тебе атласную малайскую рубаху,— сказала мать, протягивая Ай Хоу сверток.

Тот взял его из рук матери и положил рядом с собой, не разворачивая.

— Ну вот, Хоу я уже сказала, что ты старый человек. И я не хочу, чтобы ты уходил от нас.

Живи здесь всегда. А я и Па Салех уже давно думаем о твоей судьбе. И мы так считаем: лучше тебе все-таки перейти в ислам. Ведь это совсем просто, Хоу. Надо только выучить несколько слов по-арабски,— говорила мать, а сама все улыбалась.

Па Салех только головой кивал, поддакивая матери, и смотрел на Ай Хоу взглядом, полным надежды.

Ай Хоу задумался. Испуг его давно прошел; он тоже кивал головой, слушая мать. И я видел, как облегченно вздохнула она, а потом и Па Салех — наверно, обрадовались, что наконец-то Ай Хоу не ответил им свое обычное: «ай-а-а... мынога тлудына эта, сестелиса... мынога тлудына...»

Ай Хоу только сказал:

— Погоди, сестелиса, погоди. Дай мне обдумать все до конца... да...

Мать и Па Салех были счастливы. Ну как же: Ай Хоу на этот раз не отверг их предложения! С того вечера они каждый день вдвоем обсуждали в деталях, что да как нужно приготовить и сделать, чтобы обратить Ай Хоу в мусульманскую веру. Мать хотела устроить небольшое угощение, созвать гостей в честь такого события. Они уже и мусульманское имя для Ай Хоу выбрали. Оба — и мать и Па Салех — согласились, что лучше всего назвать его Ахмад — в честь единственного сына Па Салеха, который еще до войны дважды совершил паломничество в Мекку.

Мать, конечно, не удержалась, чтобы не рассказать брату о результатах своего визита к Ай Хоу. И, видя что тот по-прежнему не одобряет ее затею, она попыталась убедить его:

— Но ведь он теперь хочет принять ислам. Хасан! Он сам сказал мне и Па Салеху о своем согласии!

— Так ты же, мать, с ножом к горлу пристала — переходи да переходи в ислам! Ну оставь ты его в прежней вере: ведь он же китаец! И никуда от этого не денешься. Да и что плохого в том, что он молится своим богам и находит в этом утешение? А уж если тебе так хочется помочь Ай Хоу, так нашла бы какое-нибудь средство, чтобы его не тянуло курить опиум.

— И почему ты против того, чтобы Ай Хоу стал мусульманином? — рассердилась мать.

— Да не понимаешь ты, мать. Дело не в том, что он согласился принять ислам, а в том, что в душе-то он все равно останется китайцем,— возразил брат.

— Но разве плохо, если он станет совсем-совсем малайцем?! Ведь тогда уж японцы наверняка не тронут его,— настаивала мать.

— Да неужели ты всерьез думаешь,— возмутился брат,— что, как только он перейдет в ислам, японцы тут же станут считать его малайцем? Это с его-то акцентом неграмотного бечака?! Ты что, не знаешь, почему я привел его к нам и укрыл здесь? Разве ты не видела у него на груди татуировку: дракон, тигр, лев и кошка?

И правда, у Ай Хоу все тело было разрисовано — там были и звери и люди. Вот как раз за такими-то «мечеными»[1] китайцами, сказал нам

---

[1] Речь идет о татуировке, которую наносили китайцы — члены тайных обществ.

брат, больше всего и охотятся японцы. Однако ничто не могло убедить мать расстаться со своими планами. Брату не оставалось ничего иного, как только сказать: «Ну, да поможет тебе Аллах!»

Сам же Ай Хоу, по-видимому, ничего брату об этом не рассказывал и жил так, словно и не думал о предстоящих в его жизни переменах.

Но бог снова наслал на него болезнь. Ай Хоу заболел еще тяжелее, чем в первый раз. Брат ходил расстроенный. Однажды он взял меня с собой и повел в барак на улице Сунгэй, где раньше жил Ай Хоу. Теперь там вообще не было ни души. Тогда брат зашел в ближайший домик, к бывшим соседям Ай Хоу. Что он им сказал, я не знаю, потому что он говорил с ними по-китайски, но я видел, что брат бережно положил в карман какой-то маленький кожаный мешочек. И как только мы пришли домой, он сразу направился к Ай Хоу.

Я понял, что брат купил ему опиум. Но и от этого Ай Хоу не стало лучше. Наоборот, состояние его ухудшалось, и теперь он уже совсем не поднимался с постели. Мать места себе не находила: рушились все ее благочестивые намерения и планы! И однажды она сказала мулле:

— Как вы думаете, Па Салех, не лучше ли нам поскорее совершить обряд и обратить Ай Хоу в ислам, пока с ним ничего не случилось?

Но Па Салех посчитал, что это дело следует прежде обсудить с братом — ведь он старший мужчина в доме. Однако когда мать заговорила об этом с братом, тот наотрез отказался:

— Не хочу я влезать в это дело, мать! Если Ай Хоу хочет принять нашу веру, устраивай все сама.

Я лично не собираюсь ничего ему навязывать. И особенно сейчас: ведь он болен, ему нужны лекарства, а не обрезание.

Но мать уперлась на своем и решила довести дело до конца, не считаясь с мнением брата.

— Пока он еще жив, я должна исполнить его желание. А он хочет попасть в рай,— настаивала она.

Я подумал: «Наверное, это она сама хочет попасть в рай».

Однако то ли потому, что брат решительно отказался помочь ей, то ли она сама почувствовала, что не права,— мать все никак не могла решиться на последний обряд по обращению Ай Хоу в мусульманскую веру. А тут еще брат как-то сказал ей:

— Может, он оттого и заболел опять, что ты все время пристаешь к нему, совсем замучила беднягу.

По-видимому, эти слова подействовали на мать — она стала еще лучше ухаживать за Ай Хоу. Как-то вечером она снова пригласила Па Салеха.

— Наверно, мы переусердствовали,— сказала она мулле,— слишком упорно настаивали, вот ему и стало хуже...— И мать стала допытываться у Па Салеха, можно ли принуждать человека принять ислам.

Тот ответил, что, если такое принуждение применяется с хорошими и чистыми намерениями, оно дозволено.

— А вот Хасана больше беспокоит,— продолжала мать,— что Ай Хоу курит опиум, чем то, что он не успеет обратиться в ислам...

Она стала расспрашивать Па Салеха, что говорит наша религия по поводу курения опиума. Мулла объяснил, что ислам не запрещает верующим курить опиум, если только это не приносит вреда здоровью.

— Если бы курение опиума было грехом, я и сам был бы грешником, ведь я курю табак,— добавил мулла для вящей убедительности.

Однако оба они — мать и Па Салех — явно чувствовали себя виновными в том, что Ай Хоу стало так плохо: теперь он не только головы от подушки не поднимал, но все время жалобно стонал — видно, очень болело где-то у него внутри.

Целую неделю Па Салех дня не пропускал, чтобы не навестить больного в его каморке. Мать же стала еще заботливее ухаживать за Ай Хоу: варила ему не рис, как всем, а рисовую кашу, купила специально для него сладкий соевый соус.

Но бедному Ай Хоу с каждым днем делалось все хуже: он таял на глазах, лицо его резко осунулось и побледнело, щеки совсем ввалились...

Через две недели он умер.

Похоронами занимался брат. Он собрал всех живших у нас в кампунге китайцев, и они похоронили Ай Хоу по-своему, на китайском кладбище близ кампунга. Мы с братом пришли проводить Ай Хоу в последний путь.

Мать и Па Салех были очень опечалены смертью старика. Мать даже плакала, когда тело Ай Хоу клали в гроб.

Месяц спустя брат рассказал мне, что Па Салех отговорил мать устраивать поминки по Ай Хоу, раз тот не успел при жизни стать мусульманином.

Но мать больше не горевала. Я понял это из ее слов, которые однажды вечером она сказала мулле:

— Все-таки, Па Салех, я надеюсь, что наши труды не пропали даром, и, хотя не довелось нам довести до конца это богоугодное дело, думаю, Аллах укажет Ай Хоу дорогу в рай: ведь умер-то он в ночь на пятницу, в канун святого для мусульман дня!



Усман Аванг



Моему будущему ребенку

ПЕШКИ

Дневальный грубо оборвал наш сладкий предутренний сон, с его грезами, пришедшими на смену дремотным мечтам.

Мы жили в длинном деревянном бараке с дощатыми стенами и кровлей, выложенной черепицей. Внутри барака были поставлены в два ряда койки, на каких обычно спят хадрамаутцы[1] — деревянные каркасы, обтянутые сетками, сплетенными из грубых толстых веревок в палец толщиной.

На эти упругие, пружинящие койки мы стелили циновки из пандановых листьев[2] и заваливались спать, чаще всего поздно вечером, а то и днем, чтобы отдышаться после дежурства (работы у нас

---

[1] Хадрамаутцы — арабы, выходцы из Хадрамаута (Аден). Незначительная, довольно состоятельная прослойка населения Малайи.

[2] Пандан (панданус) — родовое название тонкоствольных деревьев и кустарников, растущих в тропиках восточного полушария.

хватало — попробовали бы вы патрулировать на велосипедах, пешком или на джипе, прочесывать джунгли или мелколесье, заканчивая маршрут обычно в каком-нибудь малогостеприимном поселке мирных огородников).

Эти койки с веревочными животами облюбовали наши злейшие враги — клопы. Мало того, они даже навязывались нам в попутчики, затаившись в складках одежды, и в самые неожиданные минуты добирались до кожи и жадно тянули из нас соки своими тоненькими острыми хоботками. Они наливались кровью и становились похожими на семена саги [1], когда же они попадали к нам в руки и мы давили их, они лопались, испуская отвратительное зловоние.

Уныло выстроившиеся в ряд койки и вся обстановка нашего жилья напоминали больницу. Две длинные шеренги коек, а посредине проход. Вечерами казалось, что ты и впрямь попал в палату заштатного госпиталя.

Итак, дневальный шел вдоль прохода, крича во все горло. Тяжелыми башмаками «полис» он колотил по ножкам койки, если ему казалось, что кто-то не торопится вставать.

— Эй вы! Подъем! Подъем! — голосил он.

Мы сомкнули веки лишь за несколько часов до побудки, и теперь нам слепил глаза свет лампы, включенной дневальным, хотя в ней было от силы двадцать пять ватт. Ох, как не хотелось нам открывать глаза! Мы отчаянно щурились и все до

---

[1] Сага — название дерева, а также кустарника с ярко-красными семенами, заключенными в стручки.

единого ненавидели дневального в этот миг. Но ни один из нас даже не огрызнулся. Ни один!

Было бы из-за чего шуметь. Дело обыкновенное, ко всему этому мы уже привыкли, с тех пор как стали полицейскими и нас натаскали по всем правилам армейской науки. Да что там! Когда настанет наш черед дневалить, мы будем делать то же самое, что и он, а как же иначе?

А снаружи гуляет холодок. Крадучись, он проникает в наш барак, пощипывает кожу и постепенно пробирает до самых костей.

После вчерашней поверки (а поверка бывает у нас каждый день, в двадцать один ноль-ноль) нам объявили: в два часа всем быть в управлении в походном снаряжении, при оружии.

И само собой разумеется, живыми, а не мертвыми.

Когда кончилась поверка, я наполнил свою флягу крепким сладким черным кофе и купил несколько пачек сигарет «Раф райдер». Если в лесу у нас кончались сигареты, у всех потухал взгляд, и стоило где-нибудь по соседству показаться тоненьким колечкам дыма, тающим в воздухе, как мы бросались туда словно одержимые, и скопидому, которому удалось утаить от товарищей свои запасы, приходилось капитулировать.

И вот мы собрались в управлении — люди, одетые в зеленую, под цвет листвы, форму. Клубы дыма волнами плывут над защитными беретами. Каждый сжимает в руках оружие. Дула карабинов глядят в разные стороны.

Никто не говорит нам, куда нас отправляют в такую рань, а сами мы и подавно не знаем, где

окажемся, какой лес будем прочесывать, кого схватим, кого уложим на месте из карабинов, которые держим сейчас в руках.

— Дул, ты во сколько явился? — дружелюбно окликает своего приятеля парень с чуть раскосыми глазами и малость горбатым, как у араба, носом.

— Часов в одиннадцать. За весь вечер так ничего и не подвернулось. Посидел в парке — вот и все дела! Скука. А знаешь, я опять встретил ту вдовушку, помнишь, приглянулась нам прошлым вечером? — ответил Дул.

Откинув назад голову, он прислонился затылком к толстому — в один обхват — каменному столбу и смотрит куда-то далеко, в пустоту. Может, ему представляется женщина, о которой он говорил, или он просто припоминает события вчерашнего вечера.

— Ну и ты, конечно, не растерялся? — допытывается его товарищ.

— Э, ее увел один белый. А фасону! На нас и не глянула — что ты! Думает, уже стала мэм.

— А белый что — солдат?

— Не знаю, он был в гражданском. Ну женщина, скажу я тебе! Ты бы посмотрел, как она расправилась со своим пивом!

— Что там еще за вдова, ребята? — вмешался в разговор новый голос.

— Ты что, Ям не знаешь? Вдова Мансура, помнишь, его подстрелили еще в сорок восьмом...

— Сержант Мансур? Это тот, которого перевели с главной квартиры?

— Он самый!

И мне вспомнился человек, о котором они говорили.

Сержант Мансур был переброшен в наше отделение из Куала-Лумпура года два назад. Уже месяцев шесть, как его убили во время перестрелки в лесу. Его жена, молодая женщина с двумя золотыми зубами, вернулась было к себе на родину, в деревеньку на реке Уданг неподалеку от Малакки. Но уже несколько месяцев спустя ее снова увидели в порту, а вечерами она начала прогуливаться в городском саду. Часто она показывалась там с маленьким мальчиком, но это не был ее сын. У нее детей не было, хоть она и пережила двух мужей. Когда они с Мансуром поженились, у нее только-только кончился срок иддаха [1]. Ребята рассказывали, что, прежде чем пожениться, они уже знали друг друга очень близко. Эта-то тесная дружба и привела их к имаму [2], который прочел над ними разрешительную молитву.

У Мансура было двое ребят от первой жены, но, с тех пор как она умерла, прохворав бог весть сколько чахоткой, бабка, мать сержанта, забрала к себе внучат, чтобы выпестовать их и отдать в школу. Говорят, старуха не надеялась, что сержант Мансур сумеет правильно воспитать своих детей, особенно если возьмет вторую жену и у малышей появится мачеха. Так уж у нас принято думать: мачеха родной матери не заменит.

---

[1] Иддах — стодневный срок после смерти мужа, во время которого вдова-мусульманка не имеет права снова выйти замуж.

[2] Имам — глава мусульманской общины.

— А я уже трахнул ее разок. Бабенка что надо! Хочу, говорит, накопить побольше денег, потом куплю савах.[1] Ну как же, состарится, будет на своем поле хозяйничать. И на жизнь хватит, и работенка не пыльная.

Вновь вступивший в беседу говорит не спеша, обстоятельно. Его зовут Махмуд; он толстый и низенького роста, и мы без церемоний называем его Махмуд Жир, потому что среди наших ребят много Махмудов. Это он тащит на себе ручной пулемет, когда мы шатаемся по лесам.

— У ее отца был раньше савах, да он заложил его одному индийцу. Время было тяжелое: засуха, рис не уродился. А теперь пиши пропало — поле осталось за ростовщиком. А эта Ям и правда ничего! Первый сорт! Засмеется — такие у нее ямочки на щеках!

Махмуд довольно захихикал.

Дул, на свою беду затеявший разговор о вдовушке, был сражен наповал. Ведь он по всем статьям должен был обойти Махмуда Жира. Он по справедливости должен был первым забраться в постель к Ям, тем более что он и званием старше Махмуда, а значит, и получает больше. Дул заморгал ресницами, потом вздохнул тяжело и протяжно.

«Ну погоди, я еще возьму свое», — утешает он самого себя. Шепот его почти беззвучен и замирает, не достигая слуха собеседников, расположившихся чуть поодаль.

Наконец разговоры прекращаются. Они стихают все как-то внезапно, словно по команде.

---

[1] Савах — орошаемое рисовое поле.

Это появилось начальство, и нам дан приказ разобраться по отделениям. Приказ так резок и внушителен, что мы все сразу превращаемся в сложную машину, которая, как только нажмут на рычаг — о, этот волшебный рычаг! — приходит в движение и действует четко, безотказно, послушная малейшему его желанию.

Нам порой казалось странным, отчего мы в самом деле так исполнительны и послушны, почему трепещем, едва услыша приказания офицеров, дрожим при одном их виде. Но иногда в глубине души шевелилось чувство, которое называют ненавистью,— чувство, отчаянно рвавшееся наружу, и тогда мы видели в наших начальниках, особенно в тех, кто не скупился на разносы, врагов и мечтали только об одном — чтобы они исчезли с наших глаз.

Снова поднялся шум, неожиданно, словно голова раксасы [1], выросшая из-под земли. Нам приказали рассаживаться по машинам. Они уже ждали нас во дворе управления, возле футбольного поля, где мы чаще занимались шагистикой и военными упражнениями, чем спортом.

Каждый бросился к машине, которую он считал наиболее удобной и внушительной. Крытый форд, напоминавший маленький автобус, сразу обступили и, толкаясь, полезли в него, словно обезьяны, за которыми по пятам гонится человек. Приступом брали и оба джипа. Только самые робкие или нерасторопные ребята не спеша разобрали вин-

[1] Раксаса (от санскритск. «ракшас») — мифический великан.

товки и направились к большой трехтонке с открытым кузовом.

Несколько минут спустя снова показались офицеры — среди них один белый, начальник управления,— и не торопясь прошествовали к своим машинам. Воплощенное достоинство и самообладание, каждый спокойно распахнул дверцу машины и исчез в кабине.

Мы ехали сперва по безлюдному в эту пору приморскому шоссе. Один только раз нам попалась кучка людей в грязных лохмотьях, которые суетились на дороге, разгребая содержимое мусорных бачков. Они выбрасывали мусор на асфальт и сосредоточенно копались в отбросах. Дорога была запакощена хламом, вытряхнутым из бачков. Тут же рылись собаки. И тощих людей в вонючем тряпье, и собак словно связывала общая судьба — судьба существ, влачащих одинаково жалкое существование, черпающих жизненные силы из одного источника и питающихся одной и той же пищей.

Беспрерывные сигналы наших машин разрывали предрассветную тишину, и свет фар полосовал темноту, окутавшую дорогу, которая уходила далеко в джунгли. Холод пронизывал до костей. Резкий ветер хлестал по лицу. Теперь машину трясло и подбрасывало, мы то и дело сталкивались друг с другом, на чем свет стоит понося наших шоферов. Но голоса наши перекрывал оглушительный рев моторов, и водителям все равно ничего не было слышно.

Из поселка китайских огородников, притулившегося у подножия горы с лысой верхушкой.

донесся петушиный крик. Мы пробирались сквозь перелесок, истекающий росой. Теперь мы, понятное дело, держали язык за зубами и были готовы к любым случайностям. Наши карабины были заряжены, наши сердца трепетали, и мы настороженно прислушивались к каждому звуку.

Временами в тайниках наших душ пробуждалась тоска. Ее усугубляли картины прошлого и воспоминания о людях, которые долгие годы жили бок о бок с нами и которых мы любили. Лица матерей, баюкавших нас, когда мы были детьми, лица братьев и сестер, связанных с нами нежными узами дружбы, несмотря на вечные ссоры, всплывали в нашей памяти. Разве можно забыть все то, чем мы обязаны им?! И снова возникала мысль: «Что будет с ними, если меня убьют в этом лесу?!»

Грусть овладевала нашими сердцами, накладывала свой четкий отпечаток на все наши чувства.

«Если меня убьют, мои дети останутся сиротами, жена — вдовой. Тяжкое бремя обрушится на них. Ох, и нелегко будет жене! Ей придется зарабатывать на хлеб себе, ребятишкам... Может быть, мои дети станут на каком-нибудь углу с протянутой рукой... Может быть, жена моя пойдет на улицу... О господи, убереги ее, избавь от унижения: не дай ей дойти до такого падения! Боже многомилостивый, спаси их!»

Так или примерно так думали и молились мои товарищи, те, кто уже обзавелся семьей, те, кто ставил сегодня на карту свою жизнь ради существования близких, да, только ради них. И никого больше! Если они погибнут, то, конечно, погибнут ради своих детишек и жен.

Пусть газетные писаки трезвонят, что мы сражаемся, защищая свободу родины, а после нашей смерти уверяют, будто мы погибли, как герои; в те минуты, когда мы ставим на карту свою жизнь, в наших чувствах и мыслях только они — наши товарищи по несчастью, наши матери и жены с детишками...

Ах, мы всего лишь автоматы, которые начинают работать, стоит только нажать на спуск! Мы не знаем, кто те люди, с которыми будем драться, которых мы перебьем, если они не перестреляют нас; мы никогда не думали о них раньше, они просто не приходили нам на ум. Как-то вдруг, сразу, они сделались нашими врагами, и мы стали стрелять в них. Зачем?

А ночь длилась, длилась, и только обильная роса сулила рассвет. Наш отряд все двигался и двигался вперед...

Стрельба началась неожиданно и сразу с обоих флангов. Внезапное нападение, что ни говори, застало нас врасплох. Все попадали наземь, стараясь укрыться за корневищами деревьев.

Завязалась ожесточенная перестрелка.

В эти напряженные минуты мы забыли обо всем на свете. Перед глазами у нас уже не стояли лица матерей, братьев и сестер. Никто не представлял себе в эту минуту надгробный памятник или собственный гроб, торжественно плывущий к могиле под траурные залпы. Мы только стреляли и досылали патрон, стреляли и заряжали винтовку — и так без конца. Пули сновали повсюду, срывали листья деревьев, расщепляли ветки, с лета зарывались в землю. В наших сердцах не было страха.

Вдруг противник прекратил стрельбу так неожиданно, что всем стало не по себе. Потом перестали стрелять и мы.

В угрюмом небе, проглядывавшем сквозь листву, мы видели предрассветные звезды, еще боровшиеся с бледными всполохами рассвета. Звезды словно насмехались над людьми, сажавшими пули друг в друга под холодным небосводом.

По небу лениво двигалось пушистое облачко.

В пяти шагах от того места, где я распластался на влажной земле, у подножия толстого дерева уткнулся в землю Дул, схватившись за бок рукой. Недалеко от него лежал навзничь дядя Брагим. Его винтовка валялась тут же. И больше ничего не мог я разобрать в этих обманчивых сумерках, окутывающих землю в тот час, когда ночь борется с зарей.

Никто из наших не решался подняться. Встать в такую минуту — значит дать изрешетить себя. Что встать — мы даже дыхание сдерживали, будто его могли услыхать те, другие!

И опять нас охватила тоска. Она точно впитывалась в нас вместе с росой. Мы и сами не заметили, как она вновь завладела нашими смятенными душами. Так вот что готовила судьба Дулу, высокому тощему пареньку, который еще несколько часов назад, захлебываясь, рассказывал о Ям и мечтал скоротать с нею ночку!

А что успел повидать на своем веку дядя Брагим, уставившийся в небо остекленевшим взглядом? Он был уже немолод. Пожалуй, он был ровесником моему отцу. Сколько же лет он прослужил в полиции? У нас его окрестили «фараоном», и

эту кличку молодежь поминала кстати и некстати. Парни, которые годились ему в сыновья, научившись в школе болтать по-английски и прослужив без году неделю, стали полицейскими инспекторами и теперь покрикивали на дядю Брагима: «У-у, фараон! Службы не знаешь! Дубина! В деревне твое место!» А дядя Брагим — он давно привык к брани и разносам — только молча глядел в землю. И хотя ему было тяжко терпеть такое от парней, которые были много моложе его, дядя Брагим всегда исправно нес службу. Если нужно было, например, охранять дом какого-нибудь резидента, дядя Брагим вытягивался в струнку: четыре часа, ни на минуту не присаживаясь, он стоял на посту или расхаживал взад и вперед с карабином через плечо — дисциплина прежде всего!

И в серьезных переделках дядя Брагим был не последним: его можно было послать с обыском к огородникам или отправить в лес, чтобы он убивал там людей, к которым никогда не питал никакой вражды... И подумать, что через шесть месяцев — согласно положению о полицейской службе — дядя Брагим должен был уйти на пенсию, а перед тем получить трехмесячный отпуск с сохранением жалованья!

Получить пенсию для таких, как дядя Брагим, старых полицейских — единственная цель службы. Они могут вернуться к себе в село, чтобы копаться на собственном савахе или ладанге[1]. Жалованье свое они обычно откладывают, и после многолетней службы худо-бедно, а каждый из них

---

[1] Ладанг — суходольное поле.

может купить себе участок земли, а то и два. Ради этой земли они и служат из последних сил, а тем временем подрастают сыновья, оглянуться не успеешь — сын уже жених и окончил народную школу[1]. Наступает и для него время искать свое место в жизни, и очень часто сын тоже становится солдатом или полицейским и, словно следуя неписаному завещанию, идет дальше по родительской стезе. А дочери, пока служит отец, успевают расцвести, тоже окончить школу, где их обучали грамоте и научили читать нараспев все тридцать джузов корана[2]. Еще немного, и они покинут родительский кров. Кому же, как не отцу, подыскать для дочери пару?

Вот о таком скромном житейском счастье и мечтал дядя Брагим, отец троих детей. Старший уже прошел отборочную комиссию в полицейском комиссариате; средняя дочка была на выданье, ее сговорили с парнем из той же деревни, но со свадьбой решили подождать до приезда дяди Брагима; младшая девочка была еще подростком...

И я снова посмотрел на коченевшее тело дяди Брагима.

Заря стыдливо выглянула из-за небесного занавеса. По ее золотистому лику рассыпались стайки облаков. Казалось, они цеплялись за верхушки тронутых оранжевым заревом деревьев на вершине холма. Ветер не спеша слетал вниз по склону,

---

[1] Народная школа — бесплатная общеобразовательная школа, в которой обучение ведется на малайском языке.

[2] Для удобства чтения вслух коран разделен на тридцать частей (джузов).

играл листвой и, проносясь над землей, тормошил лежавших на ней людей.

Тут-то и добрались до нас сержант Раис и Махмуд Жир со своим пулеметом, насилу продравшись сквозь путаницу сучьев, веток, корней и листвы. Они так торопились, что едва переводили дух.

Опустившись на колени, сержант собрал нас вокруг себя и заговорил прерывающимся от волнения голосом:

— Мы обознались, ребята... Они тоже обознались... Но они виноваты сами — это они начали первыми! — Хотя он никак не мог отдышаться, слова его звучали отчетливо.— Мы напоролись на наш «лесной отряд». Они шли оттуда, сверху. Капрала Лимата убили. Еще двое ранены. Хорошо хоть вспомнили про воки-токи [1]. Своих же людей и вот так...— сокрушенно заключил он и тяжело вздохнул.

Никто не произнес ни слова в ответ. Стоит ли рассказывать, что мы ощущали в ту минуту...

Незаметно прошла ночь.

Потом наступило утро во всем его великолепии.

А мы плелись обратно и тащили на себе изрешеченные трупы наших товарищей и беспомощных раненых, истекающих кровью.

И не было больше задора, ничего не оставалось от ночной шумихи, и не было больше наших товарищей и соратников; мы несли их бездыхан-

---

[1] Воки-токи — миниатюрный переносной радиоприемник и радиопередатчик.

ные тела. Они погибли от дружеской руки, от нашего же оружия, от пуль, которые раздали таким же, как они, парням, чтобы они убивали других людей — людей, которых они не знали.

Когда о сегодняшней истории станет известно, все будут проливать слезы, а государственные мужи наперебой начнут выражать глубокое соболезнование. Тем дело и кончится.

И все та же вражда будет стоять на пути к миру, желанному миру.

А как же мы, ввязавшиеся в эту игру? Мы снова будем ходить на волосок от смерти ради горсточки риса.

ЧУВСТВО ДОЛГА

Находиться на своем посту в любое время, днем или ночью, под проливным дождем или палящим солнцем уже давно стало для него привычным делом. Никто его не замечал. Никто и никогда не приходил с проверкой, не пытался вникнуть в суть его работы, такой трудной и ответственной. К нему обращались только тогда, когда что-нибудь случалось.

Однажды он патрулировал отведенный ему район города. Одетый, как всегда, в свою обычную униформу и черную каску, полицейский шел, медленно переступая ногами в тяжелых и огромных блестящих ботинках. Он думал о жизни, о счастье, но городская суета постоянно отвлекала его, не давая сосредоточиться.

Дойдя до самого крупного столичного кинотеатра, полицейский остановился, затем неторопливо подошел к большому автомобилю, стоящему у тротуара неподалеку от входа в кинотеатр. Этот сверкающий на солнце красавец автомобиль — конечно, американский и последнего образца — давно вызывал его восхищение. Он постоял, любуясь великолепной машиной, заглянул внутрь, посмотрел на номер. Ему показалось, что где-то он уже видел эту машину. И вдруг вспомнил: ну конечно же, он видел ее возле полицейского управления — начальник раз или два уезжал в ней.

Несколько прохожих подошли поближе, несколько человек обернулись, проходя мимо. Все понимали, почему полицейский заинтересовался этой машиной.

А он тем не менее продолжал ждать хозяина автомобиля.

— Он там,— сообщил какой-то мужчина, показывая на двери магазина.

— Он надо оштрафовать. Он думаль, он мольшой господин,— со злорадством произнес какой-то китаец.

— Он богатый есть человек, большой господин,— подхватил другой.

Вокруг полицейского собралось уже немало людей. Наконец из магазина вышел хозяин автомобиля, китаец. Он шел неторопливым, размеренным шагом, в движениях и осанке его чувствовалась самоуверенность. Китаец был весьма грузный мужчина, огромный живот выпирал из дорогого костюма, как муравейник.

— В чем дело? — спросил он, подойдя к полицейскому, и попытался изобразить улыбку, но улыбка не получилась.

Полицейский только молча наклонил голову.

— Тауке...[1] — внезапно вырвалось у него.

Толстый господин застыл у дверцы машины.

— Здесь нет стоянки, вы нарушили правила...— начал было полицейский, но осекся под пристальным взглядом китайца.

В толпе послышался смешок. Полицейский засопел: ему явно не понравился этот смех.

— Позвольте ваши водительские права,— произнес он, чувствуя, как замирает сердце, и зная уже почти наверняка, кто этот господин.

— Да стоит ли из-за такого пустяка? — отозвался толстяк и распахнул дверцу машины.

— Но вы нарушили правила,— упавшим голосом повторил полицейский.

Он все еще надеялся, что ему предъявят права. И еще ему хотелось, чтобы поскорее разошлась толпа зевак — в этом окружении он чувствовал себя очень неуютно. Стараясь действовать не спеша, он вынул блокнот и карандаш и записал номер машины.

— Ваши права.— Полицейский был очень настойчив.

Лицо толстяка побагровело, а глаза стали злыми. Все смотрели на него, и он почувствовал стыд и досаду.

---

[1] Тауке́ — обращение к мужчине китайской национальности, человеку состоятельному — предпринимателю, чиновнику и т. д.

— Лучше этого не делать. Я знаком с вашим начальником.— Слова толстяка прозвучали как угроза.

В памяти полицейского опять всплыло: точно, именно эта машина несколько раз появлялась возле управления, он вспомнил, как начальник садился в нее. Конечно же, они знакомы.

— Это моя работа, тауке. Закон гласит, что я должен привлечь вас к ответственности. Пожалуйста, ваши права.— И он протянул руку.

Толстяк пришел в ярость, А что, если попробовать всучить деньги, может, тогда его отпустят? Тауке полез в толстое, разбухшее от денег портмоне. Пальцы его ощутили прокосновение хрустящих бумажек. Однако, помедлив немного, он извлек из другого отделения водительские права и протянул полицейскому.

— Если меня вызовут в полицию, я буду звонить вашему начальнику.— Важный господин уже открыто угрожал.

У полицейского все похолодело внутри. А если и впрямь тауке позвонит начальнику? Но пути к отступлению уже не было. Толпа продолжала глазеть на него, следя за каждым движением и словом. Взгляды, казалось, пронизывали его насквозь...

Записав в блокнот необходимые данные — имя, адрес, номер водительских прав, срок действия, номер машины — и указав еще место и время происшествия, полицейский вернул права негодующему владельцу и вежливо поблагодарил. Но тот сердито выхватил у него документ и сел в машину.

— Назовите мне ваш служебный номер,— потребовал он и дорогой красивой ручкой записал что-то на полях газеты.— Я сегодня же позвоню в управление.

С этими словами тауке повернул ключ зажигания, дал газ, и машина, сорвавшись с места, помчалась по улице с таким ревом, что все с удивлением оглядывались на нее.

В толпе зашумели, послышалась ругань.

— Он думаль, он много мольшой человек,— проворчал пожилой китаец в майке.

— Вот-вот. Богатый есть человек всегда так,— отозвался индиец, который наблюдал за всем происходящим, не слезая с велосипеда.

— Все они нехороший есть человек. Машин мольшой, деньга мольшой, каждый день води женщина. Езди своя машина много мыстро, хотель задави другой человек,— сказал опять пожилой китаец и сплюнул.

Едва передвигая ноги, полицейский покинул место происшествия. В висках у него стучало, в голову лезли недобрые мысли. Несколько китайских ребятишек играли на тротуаре в догонялки. Одна девочка, самая младшая, вдруг упала и заплакала.

Эта сцена напомнила полицейскому дом и детей. Может быть, сейчас они тоже вот так же играют, а может, младшенькая уже спит. Он любил смотреть на нее, спящую — ее прелестное личико становилось таким спокойным и безмятежным.

«Плохо мне придется, если тауке раздует эту историю и меня вышвырнут с работы»,— подумал полицейский.

Перед глазами возникло простое, ничем не примечательное лицо жены, длинные волосы, которые она распускала после купания.

— Ты вымыла волосы? — обычно спрашивал он, наблюдая, как жена вытирает их полотенцем. А она шутя щипала его.

Сейчас она, наверное, возится с ребятишками. Проказник Зул, конечно же, капризничает, и тогда мать легонько шлепает его, а он орет еще больше.

Ему вспомнилось, как перед окончанием училища учитель законоведения наставлял его: «Перед законом все равны. Нет ни любимых, ни друзей, ни братьев. Если даже провинятся собственные отец с матерью, то и они не должны избежать наказания». Так говорил учитель. И полицейскому запомнились эти слова. Но разве только ему одному давали такое напутствие? Все его сослуживцы слышали то же самое десятки, а может, и сотни раз. И слова эти в конце концов превратились для всех в пустой, ничего не значащий звук.

А для него они все еще имели смысл. И теперь он хотел исполнить свой служебный долг. Не судить, нет. Ведь решать, кто прав, а кто виноват,— не в его власти, это дело судьи или прокурора.

Рабочее время кончилось. Надо было возвращаться в участок, сдать дежурство и доложить о том, что у него есть один штрафник. Недавнее происшествие запечатлелось в памяти до мельчайших подробностей. Полицейский опять подумал о жене и детях. Что будет, если тауке возбудит против него дело? Ведь во всем будет виноват он один! И опять в ушах прозвучали слова учителя: «Правый — всегда смел, неправый — всегда трус».

— Докладывайте,— обратился к полицейскому дежурный сержант.

И сразу же в висках застучало, лоб покрылся испариной, но полицейский, собравшись с духом, стал докладывать.

Дома его радостно встретили детишки. Они, как всегда, стали кричать и ссориться, кому сегодня достанется расшнуровывать отцовские ботинки, кому снять длинные черные краги, а кому расстегнуть блестящий кожаный ремень.

Они жили в бараке для полицейских с длинными коридорами и общей кухней, которая находилась довольно далеко от их комнаты. Когда он пришел, жена как раз готовила. Она не появилась до тех пор, пока не закончила все, и только тогда внесла кастрюли и сковородки.

Вечером ему предстояло еще четыре часа дежурства. Он вышел из дома, когда детишки уже сладко спали, но жена не ложилась — ей надо было закрыть за мужем дверь.

К тому времени он успел обрести равновесие. В участке он не услышал никаких разговоров о сегодняшнем происшествии, и к нему вернулось душевное спокойствие.

Следующее утро началось, как обычно, с надраивания ботинок. Жена помогала ему и специальной пастой начищала до блеска пуговицы мундира. Неожиданно в бараке появился посыльный.

— Начальник тебя вызывает, Джид,— сказал он полицейскому.

У того замерло сердце.

— Когда?

— Прямо сейчас.

Он торопливо натянул мундир и, отказавшись от кофе, предложенного женой, и не успев по обыкновению попрощаться с детьми и потрепать малышку по щечке, вышел из дома.

Сердце стучало так, будто готово было выскочить из груди. «Конечно же, вызывают из-за вчерашнего»,— подумалось ему, и тревога охватила его.

Кабинет начальника был довольно просторным. Начальник-англичанин сидел за большим столом, на котором громоздились кипы папок и бланков. На краю стола стоял небольшой термос с открытой крышкой. Не обращая внимания на вошедшего, начальник продолжал что-то писать. Полицейский вытянулся по стойке «смирно», как полагалось по уставу. Наконец начальник кончил писать и отложил бумаги в сторону. Потом взял тоненькую папку, раскрыл ее и молча, рассеянно стал листать.

— Вчера ты оштрафовал одного человека, так?— внезапно спросил он, не отрывая глаз от папки.

— Да, господин начальник,— кратко ответил полицейский. В голосе его звучала тревога.

Англичанин поднял голову и пристально посмотрел на полицейского.

— За что?

— Автомобиль... м-м-м... Машина... За неправильную парковку машины, господин начальник.

— Давно служишь в полиции?

— Девять лет, господин начальник.

Начальник опять замолчал и снова стал листать папку. Полицейский скосил глаза на нее и сразу

узнал — это было его досье. В папке хранились все сведения о нем: его рабочая характеристика, описание его личных качеств, подробное изложение всего, что есть в нем хорошего и плохого. В груди опять заныло. Если его уволят, куда он денется с семьей? Возвращаться в деревню, где у них нет ни дома, ни земли, ни рисового надела? Жена, как и он, сирота. Их дядя уже стар, и ждать от него помощи не приходится.

— Мне нравится, как ты работаешь. Строго следишь за соблюдением правил. Я знаю этого тауке, он жаловался на тебя. Но ты был прав. Хорошо бы все мои подчиненные так работали.

Слова подействовали на полицейского, как удар тока, и от растерянности он чуть было не бросился благодарить начальника. Он понял, что все его страхи были напрасны, опасность миновала. И радость переполнила его.

Начальник сделал какую-то пометку на листке, затем сказал:

— Ты свободен.

Четко исполнив поворот «кругом», полицейский вышел. По дороге домой он забежал в лавку и купил детям три плитки шоколада.

СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ

Тебе, кого презираю, но жалею...

В кампунге все уже привыкли к ее выходкам и вроде бы не обращали на них внимания. Идет она, бывало, по улице и от нечего делать орет всякие непристойности — и никого это ни капельки не

трогает. И на фабрике, где она работала, знали, какой у нее грязный язык, да поделать с этим ничего не могли. Бесстыдство ее переходило всякие границы, и законы приличия втаптывала она в грязь, как забравшаяся в огород свинья топчет всходы.

Однажды довелось мне повстречаться с ней на дороге — я растерялся и почувствовал, как меня охватывает липкий страх, растекаясь по всему телу. А она молча прошла мимо... Только походка ее, как мне показалось, стала напряженнее, и она сильнее завихляла бедрами.

Дома я рассказал об этой встрече матери.

— Боюсь я ее, мам. Как ведьма она, честное слово.— Я заглянул матери в глаза и повторил: — Ей-богу, я ее боюсь.

Но мать не придала значения моим словам.

— Да никакая она не ведьма, сынок. Такая же женщина, как и я. Ну погляди на меня и сравни, разве она отличается чем-нибудь от меня? Отчего же ты ее боишься?

Я и сам не понимал причину своего страха и не смог бы ее объяснить. Я только спросил:

— Если она такая же, как и ты, то почему она так ведет себя?

— Мина обычная женщина, как все, поверь, сынок. Только осталась одна, без мужа. Вдова она...

— Ну и что? Раз вдова, так можно шляться без дела и безобразничать?

— Да нет, Маджит, она стала такой не потому, что она вдова...

— Тогда почему же?

— Ну, сынок, это тебе еще рано знать, ты еще мал. Ступай-ка лучше, малыш, поиграй на улице.

Я не стал больше приставать к матери. Отправился к старшей сестре и попросил у нее мороженого — я знал, что в холодильнике у нас мороженое всегда есть, потому что отец покупал его каждый день. И сестра, конечно же, не отказала: она, как и мама, очень любила меня.

Недели не прошло, как я позабыл о встрече на дороге и о своем разговоре с матерью. Я целыми днями играл с соседскими ребятами, которые собирались в нашем дворе, и ребячьи заботы целиком поглощали мои мысли и время.

Однажды, когда с утра зарядил дождь, я предложил мальчишкам пойти к дядюшке Али. Дела Али день ото дня шли лучше, кофейня его стала самой популярной в кампунге, так что другие уже и не пытались соперничать с ней. И тут я снова увидел эту женщину. Она сидела на лавочке возле кофейни и оживленно болтала с мужчиной средних лет. При нашем приближении она прервала разговор и уставилась на меня таким острым, пристальным взглядом, словно хотела проглотить. Страх пронизал меня с головы до ног, я хотел убежать, да не смог: дождь вдруг хлынул как из ведра.

— Ты сынок че[1] Лемана? — неожиданно спросила женщина. А я не мог и звука вымолвить в ответ, только низко опустил голову и уставился на свои грязные сандалии.

---

[1] Че (сокращение от «инче») — обращение к уважаемому человеку.

— Везет твоему папаше! — продолжала она.— Счастливчик! Денежки у него не переводятся, раскрасавица жена, дочка — тоже загляденье и мальчик вот есть! — И она захохотала так громко, что я прямо окаменел от ужаса. «Как ведьма над своим мертвым детенышем!» — подумалось мне.

— Я, знаешь ли, люблю мальчиков! Ха-ха-ха! А как ты думаешь, что слаще всего на свете? — спросила она, продолжая хохотать. Я понял, что она от меня отстала и обращается к своему собеседнику. Сидевший рядом и не проронивший пока ни слова мужчина ответил:

— Да ведь много чего найдется...

— Много? Ну, нет, совсем не много. И всего-то одно-разъединое! — отозвалась Мина и снова залилась оглушительным смехом, от которого у меня мурашки по телу побежали.— Нет,— не унималась она.— Самое сладкое — это хороший мужик!

И еще она сказала... Нет, я не могу повторить всего, что она говорила, такие это были грязные слова! Потом она опять захохотала, а вслед за ней и тот дядька, что сидел рядом, а затем и хозяин кофейни, дядюшка Али, затряс своими усищами. Из ребят тоже кое-кто захихикал — поняли, наверное, о чем эта тетка болтала.

— А знаешь ли ты, что я и твой папаша,— на сей раз она обращалась ко мне,— были когда-то в оч-чень близких отношениях? Да-да, милок, в таких же близких, как он сейчас с твоей мамочкой! Именно в таких! — Она опять впилась в меня глазами.— Но тебе это, конечно, не известно, мамочка твоя тоже ничего не знает, да и другие — тоже! Может, даже и аллах не знает, потому

что и сама-то я тоже знаю не все. Знает обо всем один только твой папочка! Одному ему все доподлинно известно... Ха-ха-ха!

Я растерялся... Кое-что из сказанного дошло до меня: у нее с моим отцом что-то было! Но что?!

— И я до сих пор люблю мужиков! Таких кобелей, как твой папаша... Или как вот дядюшка Али.— И я снова услыхал опротивевший мне и все так же нагонявший на меня страх хохот.

Дядюшка Али вдруг перестал смеяться и застыл с таким растерянным видом, будто его поймали на чем-то нехорошем. Потом, словно опомнившись, он сделал вид, будто не слышит, о чем болтает эта женщина, и поспешил скрыться в кофейне. А вдова не унималась:

— Оч-чень мне нравится дядюшка Али! Такой здоровый! Посильнее твоего папаши будет. Ха-ха-ха!

Тут я как припущусь! Бежал не переводя дух до самого дома. И все время вдогонку мне несся хохот этой женщины...

Мама принялась бранить меня за то, что я весь вымок. Но когда я рассказал ей, что́ мне пришлось выслушать от этой тетки возле кофейни дядюшки Али, она перестала ругаться и задумалась. Лицо у нее стало серьезное и печальное-печальное...

В этот вечер я рано ушел в свою спальню. Сестра прибиралась на кухне, мать с отцом тихо разговаривали. И вдруг мне послышалось, будто мама всхлипнула, а потом заплакала. Ну конечно, так и есть — мама плачет!

— Если бы ничего не было, не стала бы Мина

просто так трепать языком,—услыхал я мамин голос сквозь рыдания.—Почему ты сам не рассказал мне тогда об этом, почему?—причитала она. Отец не издал ни звука.—Ты спал с ней раньше, спал! Я теперь точно знаю! А если это не так, ответь, почему она тогда так внезапно, ну прямо ни с того ни с сего, вышла замуж за шофера из твоей конторы? Это ты приказал ему жениться на ней! Ну что, не правда?!

— Мне не хочется ворошить прошлое, Салма,—услыхал я голос отца.—Успокойся. Хватит. Не стоит прислушиваться к тому, что болтает эта женщина. Я думаю, Маджит, наверно, что-то напутал...

— Да что там он мог напутать?! Ведь он ребенок малый, ему всего восемь, он только слово в слово повторил то, что говорила Мина. А она не станет говорить о том, чего не было!—Мать раздражалась все сильнее, голос ее становился громче. Сестра отозвалась из кухни, подумав, очевидно, что мать зовет ее. На некоторое время в гостиной все стихло. Потом мама велела сестре идти спать. И я снова услышал, как она сказала отцу:—Теперь понятно, почему она сразу же после свадьбы уехала из кампунга с этим твоим шофером, почему у нее родился ребенок через шесть месяцев после замужества, Это был твой ребенок! Твой! Твой!—Мама зарыдала в голос. Мне стало жалко ее. Потом голоса стихли, и я слышал только приглушенные рыдания матери. Незаметно для себя я уснул...

Примерно через неделю я услыхал, что с Миной произошла страшная история. Ее нашли в каком-

то пустом доме без сознания. Одежда на ней была разорвана, и она лежала почти голая. И хотя ни один человек не видел и не знал, кто и что сделал с ней, по кампунгу пополз шепоток, будто здесь замешан мой отец. Смысл всех слухов сводился к тому, что отец-де подкупил нескольких парней, и они совершили над Миной жестокое насилие. А пошел он на это якобы из-за того, что Мина в свои похабные разговоры впутала его имя; особенно, дескать, задело его то, что она приплела его к своим собственным грязным похождениям... Говорили, будто отец хорошо заплатил этим «молодцам» и велел им заставить Мину прекратить безобразничать и орать непристойности в кампунге. Еще говорили, будто отец сказал парням, что похождения Мины с дядюшкой Али и другими мужчинами позорят весь кампунг, как и всякие непристойности и гадости, которые она болтает, приплетая к ним еще и его имя — имя уважаемого в кампунге человека.

Никаких последствий это событие не имело — не было проведено даже расследование. Возможно, его начали, но потом дело это просто-напросто замяли. Сделать это было легко: ведь Мина была известна как женщина дурного поведения, с дурным языком...

Долго после этого я ничего не слышал о ней. Куда она исчезла, где пропадала? Жизнь в кампунге шла своим чередом, и люди вроде даже позабыли об этой истории. У всех были свои заботы, и дни текли за днями, как и раньше, без каких-либо происшествий.

И вдруг словно из-под земли в кампунге вновь

появилась Мина. Но это была совсем другая Мина: по-другому держалась, по-другому вела себя. Казалось, что все это время, пока она пропадала, ее заново переделывали, отливали в новую форму, которая изменила и ее характер, и поведение, и все повадки. Вернувшаяся в кампунг Мина словно накопила заряд какой-то дикой, необузданной силы, которая так и била из нее. Казалось, Мина возвещала о своей любви к жизни и о решимости драться за жизнь и за свою правду не только языком и каждой частицей своего женского естества, каждым нервом своего организма — всем, что осталось в ней живого после того, как ею насладились, а потом втоптали в грязь мой отец, дядюшка Али и другие мужчины. Все поняли, что Мина сошла с ума...

Я уже не был восьмилетним мальчиком, ведь со времени исчезновения Мины прошло несколько лет. И я больше не боялся ее. Чувство страха сменилось чувством жалости к бедной вдове. Теперь я видел в ней просто слабую женщину, похожую на мою мать, которую очень любил. Иногда мне в голову приходили такие мысли, что и рассказать страшно — я ставил маму на место Мины и думал: а что, если бы не Мина, а она, моя мамочка, стала такой? От этих мыслей душа моя разрывалась, и я весь дрожал...

Мина-сумасшедшая — так теперь звали ее все. Я — тоже. И только мои родители не произносили этих слов. Казалось, они вообще не проявили к появлению Мины никакого интереса. Но я-то знал, я видел по их лицам, что их больше, чем кого-либо в нашем кампунге, интересовала Мина.

Сумасшествие Мины проявилось очень своеобразно. Она говорила теперь не умолкая. Говорила, говорила, будто хотела выговориться, пока жива. И частенько в ее речах звучало имя моего отца. Рассказывала она и о том, какую жестокость сотворили над ней те парни... и при этом опять упоминала имя моего папаши.

Однажды я увидел на перекрестке толпу возбужденных ребятишек. Они прыгали, громко смеялись. Я шел как раз в ту сторону и, приблизившись, увидел, что ребятня окружила Мину. Боже, что за вид был у нее! Одежда грязная, рваная — старый-престарый кайн и кебайя[1] без единой застежки — это тряпье не выполняло своего предназначения: белья под кебайей не было, и то, что женщине полагается прятать от посторонних глаз, было выставлено на всеобщее обозрение.

— Ищу себе мужика...— бормотала Мина.— Вы все тут маленькие мужички... Только мне нужен настоящий мужик, вроде дядюшки Али... Ох нет, не Али мне нужен, мне нужен такой, как че Леман!.. Ха-ха-ха!

Господи, опять она поминает имя моего отца! И хотя теперь это уже не задевало меня, как в детстве, я все же решил держаться от Мины подальше.

— Че Леман... да-да, че Леман! Ведь вы все хорошо его знаете, правда?

— Знаем, знаем! — хором отвечали окружившие ее мальчишки, покатываясь со смеху.

— Че Леман — это мой муж. Я ведь спала с ним!

---

[1] Кебайя — женская кофта, застегивающаяся спереди.

Мы были одни, совсем одни, только он и я, он и я... ха-ха-ха! — И вдруг, задрав кайн, она закричала: — Че Леман, иди сюда, иди, миленький мой!

Ребятню мигом как ветром сдуло — видно, мальчишкам стало стыдно, а может быть, они испугались... Я медленно побрел своей дорогой. Эта сцена совсем выбила меня из колеи.

По кампунгу снова поползли слухи. Люди передавали друг другу слова Мины. Все понимали, что между Миной и моим отцом действительно что-то было...

Наверное, из-за этого отец стал редко приезжать из города домой. Говорил, будто там у него какие-то важные торговые дела. И мама стала теперь совсем другой — ходила печальная, будто в доме траур. То и дело присаживалась где-нибудь и надолго задумывалась. И почти совсем перестала выходить из дому. Поэтому и соседи тоже стали редко навещать нас. Дом наш напоминал мне теперь каменную пещеру...

В один прекрасный день отец приехал из города и велел матери собирать вещи.

— Завтра переезжаем.

— Куда? Зачем? — встревожилась мать.

— В город. В городе нам будет жить лучше. Дом у нас уже есть.

Мама, как всегда, не стала ни возражать, ни расспрашивать отца и пошла укладываться. Мне с сестрой она велела самим собрать свои вещи. Наш ближайший сосед и друг семьи папаша Семан пришел нам помочь.

Мы покидали кампунг без лишнего шума. Мало кто знал, что мы уезжаем. А мне было жаль

расставаться с родными местами — ведь здесь я не только родился и вырос, здесь я играл со своими сверстниками, здесь оставались мои друзья...

Сестра плакала, спускаясь с крыльца. Никто не знал, почему она плачет, но я догадывался: сегодня утром она просила меня отнести записочку Дахлану. Он был славный парень и хорошо относился ко мне.

Я думал: ну, переехали в город, теперь все, что было в кампунге, забыто. И конец всем сплетням про Мину и отца... Но не тут-то было! Ровно через десять дней после нашего переезда я услыхал о Мине такое, что потрясло меня прямо до слез. В этот день зашел к нам папаша Семан, как я уже говорил — наш ближайший сосед в кампунге и лучший друг нашей семьи. Не знаю, приехал он в город по делам или специально, чтобы сообщить эту новость, только он сказал, что Мины больше нет в живых!!!

Это было страшное известие. Ведь я знал, что совсем недавно, когда мы уезжали из кампунга, она была жива и здорова, если не считать ее помешательства.

— Да-да, ее нашли мертвой в пруду около мечети,— повторил папаша Семан. Я хорошо знаю этот пруд — из него обычно берут воду для омовений перед молитвой.— Захлебнулась, говорят,— добавил он.— Похоронили ее рядом с могилой ее ребенка.

Я задумался. Вот теперь, действительно, с Миной все кончено: ушла из жизни... Видно, на роду ей было написано прожить столько, и ни дня больше. Видно, не суждено ей было долго но-

сить в себе силу для борьбы после того, как надругались над ней хулиганы, нанятые, как говорят, моим отцом! А может быть, она уже почувствовала себя отмщенной и решила не позорить больше имя моего отца, раз уж она заставила нас переехать в город. Так или иначе, я буду молиться за нее. Да простит ей аллах все прегрешения, коль грешна она перед ним, и да упокоится она с миром рядышком со своим дитятей, которому не довелось ни познать материнской любви, ни ответить на нее своей любовью.

Прошло несколько лет после смерти бедной женщины. В нашем доме вновь воцарилось благополучие, словно ничего и не было. Мать с отцом, по-видимому, вполне привыкли к жизни в городе. Настал день, когда сыграли свадьбу моей сестры с Дахланом. Свадьба была пышная, много гостей приехало и из кампунга.

За день до того, как Дахлан увез мою сестру — свою жену — в кампунг, чтобы начать там с нею совместную жизнь, он рассказал мне ужасную историю. И снова речь шла о Мине. Видно, конца этому никогда не будет...

— В кампунге болтают,— сказал Дахлан,— будто Мина умерла не сама. Убили ее вроде...

Я чуть со стула не свалился. Дахлан, заметив, какое впечатление произвели на меня его слова, спросил, словно сожалея о том, что рассказал мне все это:

— А ты что так испугался, Маджит?

— Да нет, не испугался,— еле выдавил я из

себя.— Просто уж больно неожиданная новость. Кто же мог ее убить?

— Отец твой.

— Отец?!

— Не знаю, кто это на самом деле сделал, но люди говорят так...

— Как? Как говорят люди?

— Ну, что твой отец приехал однажды под вечер в кампунг и стал разыскивать Мину. Встретил будто бы ее возле мечети... А на другой день люди нашли ее труп у берега...

Отец не поехал провожать молодых в кампунг, сослался на дела. Провожала их только мама, так как я тоже был занят. Мне надо было срочно ехать в полицейское управление, чтобы пройти отборочную комиссию. Только через два года довелось мне снова побывать в родном кампунге. Повод был печальный: моя сестра родила мертвого ребенка, и я ездил хоронить его. Отец с матерью тоже, конечно, поехали.

Когда похоронная процессия прибыла на кладбище, один из односельчан показал мне могилу Мины. Могила была совсем запущена, заросла травой, надгробный камень покосился и съехал в сторону, холмик почти сравнялся с землей...

Когда отец наклонился над только что засыпанной могилкой внука, я подумал, что он наверняка знает, где похоронена Мина. И наверняка у него должно быть очень скверно на душе при воспоминании о ней!

А я и теперь не могу забыть всего, что произошло. Отец мой достиг еще более высокого положения, и, кажется, люди еще больше уважают его, но,

как ни странно, чем выше поднимается он в обществе и чем больше уважения оказывают ему люди, тем чаще вспоминается мне Мина. Бедная вдова, она вышла на борьбу со злом, вооруженная одним лишь острым языком,— и это против жестокости такого всемогущего человека, как мой отец, всеми уважаемый и почитаемый че Леман!



Крис Мас



ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ

По понедельникам министр приезжал задолго до начала работы. Это было хорошо известно всем в министерстве, от генерального секретаря до последнего клерка. По понедельникам все являлись заблаговременно. Однако Билл на этот раз не спешил. Он долго полоскался под душем, потом сел завтракать. Сегодня понедельник был не совсем обычный. Только в половине девятого Билл выехал из дому. Его маленькая двухцветная машина марки «метрополитен» спускалась по извилистому шоссе к центру города. Она двигалась медленно не только потому, что была еще совсем новенькой и необкатанной, но и потому, что ее владельцу не нужно было торопиться.

Два-три больших автомобиля просигналили ему сзади, чтобы он уступил дорогу, и лихо обогнали его. Ну и пусть. Два месяца назад у него тоже была большая машина. Тогда он обычно сидел сзади, откинувшись на спинку сиденья, а вел машину Амат, который почти двенадцать лет

служил у него шофером и отличался внимательностью и осторожностью. Теперь Амат возит министра. Билл продал свою машину.

Он вспомнил, как признателен был министр, когда Билл попросил его взять к себе Амата, после того как продал машину. Вспомнив об этом, Билл снова подумал о том, что на начальство такие мелкие, ничего не стоящие услуги действуют безотказно. Билл, конечно, все заранее обдумал как следует, но министру наверняка не было известно, что он продал большой автомобиль и купил вместо него маленький лишь для того, чтобы избежать ненужных кривотолков, и потом, зачем заставлять министра думать над тем, как не уронить свой престиж перед служащими, особенно перед европейцами. Билл решил, что при случае нужно и впредь проявлять такие вот невинные знаки внимания — это поможет ему завоевать симпатии министра. Ведь для министра вопрос об опытном личном шофере имел немаловажное значение: сейчас у него эта должность как раз была вакантной. За последние два года ни один шофер не проработал у него более четырех месяцев.

Амат же был очень доволен, ибо он поднялся на ступеньку выше — до шофера министра. Правда, Билл иногда с грустью думал о том, что будет с Аматом и его семьей через два-три месяца. Не исключено, что министр не изменил своей давней привычке менять шоферов. И, вспомнив о своенравии министра-малайца, Билл ухмыльнулся.

Маленький «метрополитен» медленно петлял по улицам, направляясь не к министерству, а в сторону аэропорта.

Было еще рано. Самолет, на котором прилетал министр, должен был прибыть в 9.15. Оставалось еще двадцать минут. Биллу не о чем беспокоиться: министр никогда не возражал, если он был без пиджака, только в рубашке с галстуком. Министр не из тех, кто обращает внимание на одежду служащих. Да и остальное начальство, вероятно, не будет в претензии: ведь министр возвращался не из-за границы, а всего лишь с острова Пинанг, где он проводил субботу и воскресенье.

Несколько молодых малайцев — служащих авиакомпании «Малейен эйруэйз» и «БОАК» сидели у дверей аэропорта. Ни один из них даже не взглянул на Билла. Таможенный чиновник, стоявший у газетного киоска, с пренебрежением оглядел его с головы до пят, и Билл поморщился, ощутив неприятный холодок. Многие малайцы недолюбливают европейцев. Билл шел широким размеренным шагом по гулкому, выложенному кафельными плитками залу, сделав вид, будто не заметил презрительного взгляда таможенника.

Несколько китайских семей сидели за столиками в ресторане. Судя по всему, это были зажиточные семьи. Видимо, они ожидали прибытия родных с острова Пинанг. Самолет из Сингапура совершил посадку уже давно, и в здании аэровокзала было тихо и немноголюдно.

Билл заказал стакан пива. Ничего, что еще утро и что лицо, конечно же, побагровеет, зато по телу разольется приятное тепло и исчезнет скованность, которая обычно возникает у него при

встрече с министром. Сегодня очень ответственный день. Если министр в добром расположении духа, то Билл сможет посвятить его в свои давно вынашиваемые планы. Сейчас он совершенно четко представлял себе, чего хочет, особенно после вчерашнего разговора с Бобом.

Он выпил полстакана пива и решил заглянуть в туалет. Однако, едва закрыв за собой дверь, почему-то остановился и стал разглядывать свое лицо в зеркале. Лицо было удлиненное, суживающееся к подбородку. Маленький рот с опущенными уголками придавал ему несколько угрюмое выражение. Зато с нескрываемым удовлетворением Билл изучал свой высокий выпуклый лоб и аккуратно приглаженную прическу. Если бы его рыжие волосы не были так коротко подстрижены, то голова казалась бы несоразмерно большой, слишком крупной для такого узкого и длинного лица. Голубые, глубоко спрятанные глаза и пристальный взгляд выдавали настоящего англичанина. Но нос мог бы быть покороче: слишком уж он длинный и тонкий, да еще к тому же с горбинкой. Совсем как клюв попугая. Правда, густые усы несколько сглаживали этот недостаток.

Внезапно Билл вспомнил, как посмотрел на него таможенный чиновник. Малайцы обычно слепо верят примете, что у человека с кривым носом и «душа кривая». Он быстро вышел из туалета и решил было допить свое пиво, но тут объявили о прибытии самолета с острова Пинанг, и Билл, поспешно уплатив за недопитое пиво, вышел из ресторана. Он постоял немного, потом, надев темные очки, стал смотреть в небо. Как

только самолет пошел на посадку, Билл поспешил к дверям таможни. Шаги его гулко разносились в полупустом зале, сутулая долговязая фигура раскачивалась в такт шагам. Он попросил разрешения пройти в помещение для высокопоставленных лиц. Ему разрешили, так как служащим аэровокзала было известно, что этим самолетом прибывает министр, и они знали, что белый господин работает в министерстве.

Уже не раз Биллу приходилось встречать министра на веранде этой комнаты. Здесь собралось несколько человек — чиновников иммиграционной службы. Странно, что не было ни одного журналиста, которых в таких случаях тут суетится немало. Билл краем глаза осматривал чиновников одного за другим. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. Вошел министр. Он был без вещей — ни портфеля, ни папки. Билл даже слегка растерялся: нечем помочь.

— С благополучным возвращением, сэр,— сказал Билл, выпрямившись и сделав несколько шагов к стеклянной двери.

И когда министр, проходя в помещение, ответил на его приветствие, Билл отступил на шаг и еще более выпрямился. Он вытянул свою тонкую длинную шею, слегка наклонил голову и, стоя так, выслушал несколько коротких фраз, которые произнес министр. Все давно привыкли к манере Билла вытягивать шею и наклонять голову при разговоре с министром — тот был значительно ниже ростом, чем его неизменный секретарь. К тому же министр имел обыкновение говорить невнятно и при этом смотрел обычно куда-то в

сторону, так что Биллу приходилось напряженно ловить каждое его слово.

Министр замолчал, и Билл, втянув шею, как черепаха втягивает голову в панцирь, снова выпрямился.

Служащие аэропорта и чиновники иммиграционной службы, оказавшиеся поблизости, приветствовали министра. Он отвечал им кивками головы и заученной улыбкой. Рабочие аэровокзала почтительно уступали ему дорогу. В таможне чиновники произвели досмотр багажа и сообщили, что все в порядке, предварительно придав своим лицам подобострастное выражение. Губы их шевелились, как бы произнося неслышное приветствие. Министр, улыбаясь, вышел. Тот самый таможенник стоял около багажных весов, и Билл спиной почувствовал, что тот снова смерил его взглядом от головы до пят. И снова Биллу стало как-то не по себе, как мусульманину, которого лизнула собака.

— Проверьте, чтобы все было готово к совещанию.

— Хорошо, сэр.

Билл ускорил шаг, остановился, наклонился, сдвинул пятки вместе, выпрямил колени и, не разгибая спины, протянул руку, чтобы открыть дверцу автомобиля.

Усевшись в машину, министр отрывисто произнес:

— Я буду в одиннадцать.

— Хорошо, сэр.

Автомобиль, сопровождаемый взглядом Билла, выехал за пределы аэропорта. На капоте развевался флаг Малайской федерации. Билл хорошо пом-

нил те времена, когда на капоте машины его начальника развевался другой флаг — флаг Великобритании.

— Прямо домой, Амат!

— Слушаюсь, туан[1].

— Что нового дома?

— Все в порядке, туан.

— Сколько раз, Амат, я тебе уже говорил, чтобы ты не называл меня туаном!

— Слушаюсь, господин. Не буду.

— Кто-нибудь приходил?

— Да.

До самого города министр больше ни о чем не спрашивал, и Амат вел машину, внимательно следя за движением транспорта на шоссе. Но думал он о министре. Почему нельзя называть его туаном? А как же тогда он должен его называть? Просто «инче»? За два месяца работы у министра он уже столько раз пробовал называть его туаном, и каждый раз министр поправлял его. Но ведь даже в газетах иногда так пишут. И служащие и начальство тоже иногда называют его так. А супругу его как называть? Тоже «инче»? Неясно. Поэтому вот уже два месяца Амат вообще никак не называет жену своего хозяина. Но он держится в их присутствии чрезвычайно почтительно. А в общем-то вывод ясен: если муж не желает, чтобы его величали туаном, видимо, и жена — тоже.

— Поставь эту машину на место. На службу повезешь меня на маленькой.

— Слушаюсь.

---

[1] Туан — почтительное обращение к белому.

Большой автомобиль с флажком скрылся в гараже, а министр исчез в доме. Женщина средних лет с полным лицом бесшумно появилась сзади.

— Госпожа уехала молиться в Петалинг Джая.

— А, ну ничего. Принесите мне стакан холодного молока.

— Слушаюсь.

Министр легко взбежал по лестнице на второй этаж. В доме стояла тишина. Через пять минут снова раздались шаги по лестнице, и министр спустился вниз с толстым портфелем. Войдя в гостиную, он уселся в свое любимое кресло, рядом с которым на маленьком столике его уже ждал стакан молока. Он осушил его залпом. Тотчас же появилась полнолицая служанка, которая приняла пустой стакан из рук министра.

— Если бы случилось так, что я перестал быть министром, что бы вы делали, мамаша Ях?

— Наверно, то же самое,— не раздумывая ответила она, унося стакан.

Министр открыл портфель и достал из него бумаги. Умная женщина. Она, конечно, не уйдет. Так и будет у них служанкой. И наверно, останется жить в этом доме. Министры приходят и уходят, а прислуга остается прислугой. И будет попрежнему жить в большом доме.

От служанки мысли его перенеслись к жене, потом к Амату и уж потом к текущим делам. В папке не хватает материалов. У Билла несомненные способности к подхалимажу, а вот работать он не умеет. Сегодня заседание, а в папке не хватает половины материалов. Он, конечно, не удосужился

положить их в портфель в субботу. О чем он только думает? И зачем он приходил сюда? Ведь кто-то приходил? Конечно, это был он. Амат же сказал...

Зазвонил телефон. Министр на миг оторвался от документов, что-то сказал в трубку, затем снова вернулся к бумагам. Лицо его выражало недовольство.

Этот европеец весь какой-то колючий. И взгляд у него острый, и нос, и вообще все черты лица какие-то острые, да и язык иной раз — тоже. Он считает, что мы должны всему у него учиться. Забыл, верно, что теперь у них здесь уже совсем не то положение, что раньше. Да, этот Билл острый как бритва. Думает, наверно, мы не чувствуем, какой он скользкий. Принимает нас за идиотов. Он думает, все забыли, что он в свое время приехал сюда в качестве служащего колониальной администрации.

Министр бегло просматривал бумаги, но мысли его были по-прежнему заняты этим европейцем, этим Биллом, который готовил бумаги.

Половина одиннадцатого. Министр сложил бумаги в портфель.

Он стремительно направился к двери. У подъезда стояла большая машина с флагом.

«Я же просил подать маленькую! Ах, да!» Он вспомнил о жене. Это она, судя по всему, взяла машину. Смелая стала, сама машину водит. Интересно, с кем это она уехала? Надо полагать, с женой какого-нибудь министра или другого начальника.

Он сел в машину, и Амат повел ее в город, вниз по извилистому шоссе. Он не стал утруждать себя

объяснениями по поводу маленькой машины: господин министр, как видно, и сам все уже понял.

В кабинет Билла приносили все новые и новые документы. На одном из них, отпечатанном на бледно-сиреневой бумаге, стояла пометка «срочно». Но Билла занимало совсем другое — через час заседание, очень важное. Нужно перетянуть Касима в министерство, иначе не удастся использовать его богатый опыт. Боб тоже в принципе согласен, но при условии, что его назначат на должность, связанную с разработкой проекта. Если бы Боб занимался этим проектом, то все работы были бы быстро завершены, да притом еще сэкономлены государственные средства. Только европейцы-эмигранты способны провернуть подобное дело. Малайцы — простаки, им бы только поскорей занять какую-нибудь должность. Они думают, что уже могут работать самостоятельно. Нет, нет, им еще рановато. И я, и все мы, служащие-европейцы, должны позаботиться о том, чтобы после провозглашения независимости в этой стране не забыли о нас, учителях и покровителях. Пусть они еще долго нуждаются в нашей помощи и пусть с каждым днем крепнут наши связи. Ведь это выгодно не только нам, но и им. Но местные этого не понимают. Они слишком самоуверенны.

Правда, следует признать, что шеф — человек не глупый. Если он потребует, чтобы малайцы принимали участие в разработке проекта, другие члены комитета могут пойти у него на поводу. Будем надеяться, что хотя бы Линь и Рамасами

выступят с возражениями. Ведь известно, что китайцы и индийцы очень ревниво относятся к малайцам, а это на руку нам.

Он снял телефонную трубку.

— Дайте кабинет помощника.

Мозг его напряженно работал, взгляд острых глаз был устремлен в пространство.

— Алло, кабинет помощника? Проверьте, чтобы подготовили зал заседаний.

— Сейчас сделаем.

— Хорошо.

Взгляд его упал на папку, в которой лежал сиреневый листок с пометкой «срочно». Он погладил его рукой.

— Да, да, все будет в порядке,—еще раз ответили ему по телефону.

Он положил трубку и занялся срочным документом. Открыл папку. Прочитал одну строку, другую. Снова закрыл. «Потом займусь, вечером».

За стеной стучала пишущая машинка, но она не заглушала шагов входивших в приемную людей. Внезапно все смолкло, затем послышались приветствия: «Доброе утро, туан!», «Доброе утро, туан!», “Good morning, Sir!” Приехал министр. Билл поправил рубашку, галстук, ремень. Еще раз проверил, все ли документы он приготовил для заседания. Потом сел, встал и снова опустился в кресло. Надо собраться с мыслями. Через пять минут он вышел из кабинета и направился в зал заседаний.

Здесь все уже было готово. Билл обошел зал, внимательно оглядев всех собравшихся. Вошел

господин Дато[1] Хамид. Его сопровождали Азмад, Линь, Кадир, Рамасами, Тан, Муту и Шариф. Билл бросил несколько фраз членам коллегии, затем вышел и направился к министру. Однако перед кабинетом его остановил личный секретарь министра и сказал, что шеф велел никого к нему не пускать.

Билл растерялся от неожиданности, однако тревога и страх взяли верх над растерянностью. Такого еще не бывало. Министр знал о заседании. До начала оставалось всего пять минут. Обычно в это время министр вызывал его к себе для уточнения каких-либо вопросов. А сейчас он даже не желает его принять.

— Министр занят?

— Да.

— Кто у него?

— Его превосходительство депутат законодательного совета.

Билл изменился в лице. Высокий лоб покрылся морщинами, глаза, казалось, ввалились еще глубже, а нос стал еще более хищным.

— А когда его превосходительство договорился с министром о встрече?

— Сегодня утром по телефону.

— Он сам говорил с министром?

— Нет, я по его просьбе позвонил министру домой, поскольку его превосходительство должен уехать сегодня днем. Министр согласился его принять и велел мне известить его превосходи-

[1] Дато — титул высшего чиновника в Малайзии; после присвоения становится частью имени; жену его соответственно именуют Датин.

тельство, что ждет его в десять сорок пять, так как в одиннадцать часов у него заседание.

— И действительно, на одиннадцать часов назначено заседание. Члены коллегии уже сидят и ждут.

Билл произносил слова так, словно говорил сам с собой. Секретарь не ответил ему.

Билл собрался было выйти, но, едва переступив порог, вернулся обратно и остановился около секретаря. Вид у него был озабоченный. Казалось, он ждал, что произойдет нечто неожиданное, непредвиденное.

Он почувствовал облегчение, когда дверь кабинета наконец открылась. Беседа его превосходительства с министром была окончена. Билл поклонился его превосходительству, и тот ответил кивком головы. И, уже взявшись за ручку двери, его превосходительство обернулся к Биллу. Билл почувствовал, что тот смотрит на него таким же взглядом, как смотрел таможенник в аэропорту. Его превосходительство улыбнулся и вышел. А Билл все еще не мог избавиться от неприятного осадка.

Министр вышел в приемную, и Билл сразу же выпрямился и, слегка поклонившись, произнес:

— Доброе утро, сэр!

Сам не зная почему, он сказал «доброе утро» по-малайски, а «сэр» по-английски. Увидев Билла, министр улыбнулся. Трудно сказать, что он при этом имел в виду, но похоже, что именно так судья улыбается подсудимому. Порывистым движением министр выхватил папку с документами из рук Билла.

Билл почувствовал себя в роли слуги, в котором не очень-то нуждаются и который существует только для того, чтобы носить портфель своего господина.

Он проводил министра до зала заседаний и поспешил опередить его, чтобы открыть дверь, но министр сам взялся за ручку двери. Члены коллегии встали, и министр приветливо с ними поздоровался. Билл молча закрыл дверь...

В клубе, как обычно, было многолюдно. Его посетителями были молодые служащие и коммерсанты, главным образом европейцы. Иногда здесь можно было встретить высокопоставленных чиновников-малайцев и иностранных дипломатов. Здесь царила атмосфера западного аристократического клуба. Молодые служащие-малайцы, недавно окончившие учебу, говорили, что это типичный колониальный клуб, тогда как молодые европейцы и малайцы-чиновники с положением, завсегдатаи этого клуба, чувствовали себя наследниками колониальных традиций. И не только здесь. На площадках для игры в гольф, в домах пожилых служащих-европейцев обстановка также мало чем отличалась от милой их сердцу жизни, что была до провозглашения независимости. Но молодых европейцев не особенно влекло к игре в гольф, и они редко бывали в семьях старых служащих. Большинство молодых людей еще не успели обзавестись семьями, а если кто-то из них и был женат, то обычно не решался привезти жену в эту уже почти не экзотическую страну.

Билл отыскал Боба, который сидел за столиком в укромном уголке, и подсел к нему.

— Все провалилось,— сказал он.

— Я уже знаю,— ответил Боб.— Вчера сюда заявился государственный секретарь с депутатом законодательного совета.

— Сегодня утром депутат беседовал с министром,— сказал Билл.

Боб выбил трубку о каблук.

— Касим провалится со своим государственным проектом. Они еще нас поищут! — обнадеживающе добавил Билл.

— Эти люди не понимают, что им предстоит еще долго у нас учиться. Обрели независимость, видите ли!

Уголки губ Билла, опущенные вниз, опустились еще ниже.

Бокалы убрали и подали суп. Билл и Боб взялись за ложки.

— На этот раз мне здорово не повезло,— сказал Билл.— Они все свалили на меня. Наверно, депутат успел еще вчера переговорить с каждым в отдельности.

— Что же они сказали?

— Вначале министр, по-видимому специально, велел мне изложить положение дел, а потом — выразить свою точку зрения. Я начал с того, что работа по осуществлению этого проекта очень важна и трудна, а в заключение предложил твою кандидатуру на должность руководителя.

Он замолчал и опустил ложку в тарелку с супом.

— А дальше?

— Они не очень-то распространялись. Дато Хамид прямо заявил, что, по его мнению, эту работу следует поручить Касиму. А министр добавил, что Касим — уроженец Малайи и поэтому ему, мол, ближе интересы малайского народа. И потом, он опытный работник и имеет высшее образование.

Боб рассмеялся.

— Ему ближе интересы малайского народа,— повторил Билл, презрительно усмехнувшись.— Над чем ты смеешься?

Боб ответил вопросом на вопрос:

— И все согласились?

— Сразу.

Суп ели молча. Официант ждал, чтобы подать второе блюдо. Молодой малаец сел за соседний столик. С ним была молодая дама — высокая, стройная европейка с бледными губами.

Боб и Билл молча принялись за второе. Время от времени дама за соседним столиком с раздражением говорила о жаре.

Билл тихо сказал:

— Она еще не знает, как жарко в этой стране европейцам.

— Но она же не работает,— ответил Боб.

Оба невесело улыбнулись. Тонкие губы Билла стали еще тоньше, как бы подчеркивая острый взгляд и хищный орлиный нос.

— Мне кажется, нам следовало бы поглубже вникать в чувства и настроения малайцев. Может быть, они, так же как и мы, любят свой народ и свою родину,— неожиданно сказал Боб.

Эти слова поразили Билла, как удар грома или как в свое время его поразило известие о том, что русские запустили первый искусственный спутник Земли. Его большие, глубоко запавшие глаза чуть не вылезли из орбит.

— Что с тобой? Ты прямо готов проглотить этот обеденный стол,— удивился Боб.

— Да что там стол, я готов проглотить всю эту страну и тебя с твоими идеями. Что ты такое говоришь?

— Ты что, забыл об Индии, о Суэцком канале, о Гане и обо всем прочем? Посмотри на эту девицу. Она кое в чем побольше нас смыслит.

— Я ничего не забыл и все понимаю. Но разве не мы должны поставить на ноги это молодое государство? Ведь у нас самые добрые намерения, а малайцы не хотят нас понять.

— Я не вижу ничего плохого в том, что проектом будет руководить малаец,— сказал Боб.

— Я тоже не против,— отозвался Билл, вытирая вспотевший лоб. Он казался себе сейчас одиноким странником в пустыне.

Выйдя из клуба, Билл ссутулился. Он подумал, что шоферы машин, стоявших у клуба, смотрят на него точно так же, как смотрел таможенник в аэропорту. Он зашагал вдоль улицы по направлению к Дому Правительства, и его сутулая долговязая фигура напоминала сейчас кривую жердь. Голова была опущена.

На перекрестке возле сквера его обогнал молодой малаец в голубых дакроновых брюках и при галстуке. Не поднимая головы, Билл бросил беглый взгляд на парня — он посмотрел на него, как

кот на воробья. И нахмурился. Интересно, на какой основе эти малайцы могут построить свою независимость, на каких традициях? Что у них есть, кроме их мифического Ханг Туаха? [1]

— Здравствуйте, туан,— услышал он вдруг знакомый голос.

Он повернулся и, узнав Амата, поднял голову и остановился.

— Ты что здесь делаешь?

— Сижу, туан. Жду министра.

— Министр здесь?

— Да, туан.

Ему показалось немного странным, что министр приехал за десять минут до начала работы министерства и на три четверти часа раньше, чем имел обыкновение приезжать.

— Как дела, Амат?

— Все хорошо, туан.

— Работа нравится? Ты доволен?

— Нравится, туан. Начальник такой, что лучше не надо. Велел мне звать его просто «инче».

— Как это можно! Ты должен звать его туаном. Он ведь даже выше меня рангом, ты знаешь?

— Да, конечно.

— Ты слушай меня — ты должен называть его туаном. Понял?

— Так как же я могу, раз он мне не велит?! Он малаец. Он ведь и прежних своих шоферов повыгонял за то, что они относились к нему, как к европейцу. Мне очень трудно, туан. Я ведь привык

---

[1] Ханг Туах — герой средневековой малайской героической эпопеи.

уже работать с белыми людьми, а белых всегда положено называть «туан».

— Ну как знаешь.

И Билл торопливо зашагал к лифту.

Лифт был переполнен. Здесь были хорошенькие девушки, работавшие на радио, и несколько служащих. Он разглядывал их с высоты своего роста. Он был здесь выше всех. Раньше он всегда чувствовал себя выше, но сейчас этого чувства не было. Сердце подсказывало ему: наверно, Боб прав. Возможно, Амат прав, и та белая приятельница (или жена?) молодого малайца тоже права. Он оглядел стоявших в лифте служащих, взглянул на лифтера. Нет, никто не смотрел на него тем взглядом, которым окинул его таможенный чиновник сегодня утром в аэровокзале.



А. Самад Саид



ВОЙНА И ЛЮДИ

Взрыв снаряда в ночи заставил вздрогнуть Сю Лань. Вот уже несколько месяцев подряд сердце ее все ноет и ноет беспрерывно, а сейчас прямо-таки сжалось в болезненный комочек: ведь кто-то опять попал под осколки... Перед ее глазами пронеслись страшные картины: туловище старика с оторванными руками и ногами, ребенок с кровавым провалом вместо рта, обгоревшие тела людей, лужи крови... Снова один за другим прогремели взрывы — семь, не то восемь вдалеке и один совсем рядом! Господи! Когда же наконец кончится эта жестокая, ненавистная, проклятая война!

Отец спал. Дышал он ровно и тихо. Сю Лань приподнялась на своей постели, чтобы взглянуть на него. Лицо отца показалось ей каким-то помятым и старым; усы и борода спутались, волосы на голове давно не стрижены. А рядом с отцом пусто... Мама, родная, дорогая мамочка! Нет тебя больше...

7—712

Это случилось три дня назад. Мать придавило балкой в убежище, где они все искали спасения от обстрела. Там же ее и похоронили. На душе у Сю Лань было мучительно горько. Уже несколько раз она просила отца похоронить мать в более подходящем месте. Отец соглашался: да, надо бы. Только время уж больно было неподходящее...

«Влезай, дочка, скорее, скорее!» — услышала она вдруг голос матери. Сю Лань вспомнила, как мать зашлась в надрывном кашле, а сама она стала быстро-быстро протискиваться в длинную траншею убежища мимо тесно прижавшихся друг к другу людей — стариков, детей, женщин. Она-то успела влезть, а вот мама... Взрывом бомбы сорвало дверь убежища, рухнул стояк, и мать, не успевшая отскочить, оказалась под ним. Сю Лань не помнит точно, как все произошло. Когда она пришла в себя, мать уже больше не кашляла: она лежала неподвижная, с остекленевшими глазами. А ноги ее обуглились...

По щекам Сю Лань покатились слезы. Она вытирала их маленьким грязным платочком: три дня в доме никто не брался за стирку. Чтобы не шмыгать носом, Сю Лань зажала его, боясь, что ее плач разбудит отца. Но он все равно услышал. Открыв глаза, он посмотрел на Сю Лань.

— Опять не спишь?

— Нет, папа.

— Чего же ты? Ведь ночь на дворе, поздно.

Сю Лань не ответила. Она не хотела, чтобы отец видел ее заплаканные глаза, но отблеск луны, внезапно упавший в раскрытое настежь окно, осветил блестевшие на щеках слезы.

— Ты плачешь?

— Нет, папа, нет,— поспешно ответила Сю Лань, пытаясь сдержать дрожь в голосе.

— Почему ты плачешь?

Сю Лань промолчала. Отец тихо встал, протирая сонные глаза. Подойдя к Сю Лань, он глубоко вздохнул и снова потер глаза, стараясь прогнать остатки дремоты. И тут оба вздрогнули: совсем рядом разорвался снаряд. А потом послышался плач ребенка — где-то совсем близко. Протяжно залаяла собака, и лай ее был скорее похож на вой — тихий, жалобный...

— Ну, что с тобой, Сю Лань?

— Маму вспомнила...

Отец ничего не сказал. А что он мог сказать, когда и сам ни на минуту не мог забыть жену. Если он давал волю воспоминаниям, у него вновь и вновь болело сердце. Болело и от этих воспоминаний, и от мыслей о судьбе дочери, и от раздумий о том, что же будет с ним самим. Не настанет ли через день-два и его смертный час? А может быть, это случится уже сегодня ночью, сейчас? Он без конца задавал себе этот вопрос и сам отвечал на него.

— Не надо, не плачь, Лань. Война кончится через несколько дней. Один приятель сказал мне, что японцы уже вошли в Джохор. Теперь недолго ждать. А когда война кончится, мы похороним маму как следует...— Так говорил своей дочери Сю Фэн, а у самого перед глазами все время стоял печальный образ жены...

— Японцы уже в Джохоре? — переспросила Сю Лань.

Отец не успел ответить: снова раздался оглушительный взрыв. И лишь когда все стихло, Сю Фэн ответил ей.

— Теперь уже скоро?..

— Да, скоро.

Сю Лань и отец помолчали. То, что сообщил отец, хоть немного, но все же утешило Сю Лань, успокоило ее.

— Ты давно не спишь?

— Часа два.

— Почему?

— Глаза не закрываются, папа.

Отец промолчал. Слышно было, как он вновь глубоко-глубоко вздохнул. Потом он несколько раз потер рукою лоб и обвел взглядом комнату. Все здесь было не так, как прежде: не убрано, неуютно. Грязные рубашки висят где попало, стулья покрылись пылью и сдвинуты со своих мест, на столе стоят пустые консервные банки, а в углу, где висят несколько мешочков с рисом и сухой рыбой, уже начал вить свою паутину паук.

В такое время незачем и прибираться, подумал Сю Фэн. Сам он часто отлучается из дома, чтобы добыть пропитание — как знать, может, где-то на дороге и настигнет его смерть. А может, она поджидает его дома? Все равно по нескольку раз в день надо бегать в убежище — эту тесную яму.

Однако последние два дня они не прячутся в убежище. Оно почти доверху залито водой, вонючей, покрытой грязной пеной. В воде полно мусора и отбросов. Над ямой вьются тучи комаров, а у ее краев кишмя кишат крысы и лягушки. Сю Фэн и Сю Лань считают, что нет смысла прятаться:

снаряды и бомбы рвутся беспрестанно, осколки летят со всех сторон, и, если спасаться в убежище, надо сидеть там день и ночь.

Сю Фэн встал, ощущая слабость. Ему хотелось спать. Он подошел к дочери. Сю Лань сидела на постели понурив голову. Сю Фэну хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, что именно. Глубоко вздохнув, он лишь ласково поглядел на нее и отошел к окну. На лицо его упал яркий отблеск луны. Он даже зажмурился — настолько сильно ударил в глаза этот свет. Потом зевнул.

То, что он увидел в окне, наводило тоску. Небо, такое чистое, ясное и, должно быть, очень красивое, то и дело озарялось всполохами взрывов. С диким свистом пролетали снаряды, один за другим, без конца. Они несли ужас, разрушение, смерть.

Сю Фэн посмотрел вниз. На углу улицы, где раньше стояло три дома, сейчас чернели лишь обуглившиеся остовы. Вокруг — кучи обожженного кирпича. В стенах четырех домов, расположенных по соседству, зияли трещины; еще один взрыв — и эти дома тоже рухнут. Прямо перед окном было здание школы. В нескольких местах снаряды повредили его, но оно упрямо стояло, не поддаваясь. А на площади перед школой как раз было убежище... Сю Фэн теперь мысленно называл его могилой! Он был уверен, что там и сейчас находятся люди — сидят сутками, не уходят домой. Не так давно они тоже прятались там, но теперь он понял, что это ни к чему. Если и в убежище может угодить бомба, то какой смысл там прятаться?

Сю Фэн обернулся и посмотрел на дочь. Сю Лань сидела теперь уже не в кровати, а на циновке, под столом, который сейчас служил ей укрытием! Сю Фэну снова захотелось сказать что-нибудь бедной девочке, но он не смог даже пошевелить губами. Он опять выглянул в окно. На сей раз взгляд его упал на мечеть, расположенную рядом со школой, и заскользил дальше. За мечетью было кладбище...

Раньше мечеть тоже служила убежищем. Как только раздавался вой сирены, возвещавший о начале воздушной тревоги, все жители соседних домов бегом бежали к мечети. Они спасались от смерти, спасались от крови и боли. Они надеялись укрыться в мечети, около нее, на могилах позади мечети... Но снаряды и бомбы два раза попадали в мечеть. И у многих из тех, кто искал спасения от смерти у бога, оторвало руки, ноги... А других и вовсе разнесло на куски или они сгорели дотла! Теперь люди уже не ищут прибежища в мечети. И вообще все уже устали бегать в поисках укрытия, потому что сирена теперь воет почти беспрерывно, а снаряды и бомбы рвутся, не ожидая, когда сирена возвестит тревогу. Люди подчас даже и не успевают добежать. Одни гибнут по пути к мечети, другие — на могилах кладбища, третьи — не дойдя до двери собственного дома... Бегать уже больше не нужно. Незачем. Смерть все равно найдет свою жертву. Каждому только одно и остается — ждать своего часа.

В памяти Сю Фэна всплыли картины, вызвавшие острую горечь и боль. Он вспомнил, как умирала жена, как сам он едва не погиб от пули,

как сгорел его близкий друг в автобусе, который он вел по городу... Вспомнил и многое другое...

Вдруг его внимание привлекли какие-то тени, мелькающие перед мечетью. Он вгляделся попристальнее. Какой-то человек двигался медленно, низко пригнувшись к земле. А потом он увидел еще две маленькие фигурки, нагонявшие первую. Когда свет луны озарил их, он узнал Рахину, жену Сапуана, и двоих ее детей, Сабту и Иснин.

Сапуан — его друг. Он тоже водитель автобуса. На прошлой неделе их уволили с Букит Тимах, и Сю Фэн предложил Сапуану поселиться у него в доме. Тот с благодарностью согласился, так как его дом разбомбили. Осколком задело и самого Сапуана, но рана, к счастью, оказалась пустячной. А если бы дело обернулось иначе, что сталось бы теперь с его женой и двумя малышами?

Где-то совсем близко раздался взрыв. Снаряд разорвался над крышей школы. Черепица брызнула во все стороны, а потом стала падать на землю. Стены школы тоже поползли вниз. Сю Фэн увидел, как жена Сапуана с детьми распластались на земле — Рахима легла между своими мальчиками, прижав их руками к земле. Снова завыли снаряды. Пламя взрывов вспыхивало то тут, то там. Сю Фэн не на шутку забеспокоился. «Зачем это им понадобилось выходить из дому? Неужели они решили опять идти прятаться в мечеть?»

Бомбы и снаряды не разбирают, где люди, а где неживые предметы.

Мысли путались, мешались, шумели в голове Сю Фэна. Он посмотрел на луну. Круглая, красивая. Рядом с ней плывет длинное облачко. И на

минуту потеплело на сердце Сю Фэна... Однако когда он снова взглянул вниз, на развалины, сердце опять тревожно забилось. «Смерть, смерть, смерть!..»

Сю Фэн вздрогнул, услышав шаги босых ног за спиной, и резко обернулся. Это дочка подошла к нему и стала рядом. Только сейчас он увидел, как она выросла — совсем почти девушка. Он заглянул ей в лицо. Сю Лань стала такой хорошенькой! Но глаза ее полны печали и горя.

— Все горюешь?

Сю Лань не ответила, но Сю Фэн понял, что ей тяжело. Он хотел было еще что-то спросить у нее, но потом передумал. И снова стал глядеть в окно.

Жена Сапуана с детьми уже приближалась к дому, сейчас они, по-видимому, умирают от страха. То и дело, когда раздавались взрывы, они падали на землю и как будто вжимались в нее, а потом опять вставали и шли дальше — осторожно, боязливо.

— Папа,— услышал Сю Фэн тихий голос Сю Лань между бухнувшими несколько раз подряд взрывами. Два последних раздались совсем рядом. Сю Фэн повернулся к ней. Наверное, дочь хочет сказать ему что-то очень важное — он понял это, взглянув на нее: в глазах дочери, которая так незаметно для него вдруг выросла и похорошела, стоял немой вопрос.

— Ты что, Лань?

Сю Лань ответила не сразу. Она тоже следила за женой Сапуана и детьми: они были уже возле дома. Потом перевела взгляд на отца и долго

смотрела, как бы изучая его лицо. Она почувствовала, что отец ждет ее вопросов.

— Это правда, что война скоро кончится?

Отец облегченно вздохнул. В глазах его засветились искорки радости. Он пригладил поредевшие волосы, покрутил усы, потянулся, зевнул.

— Да, теперь уже скоро.

— Ты думаешь, еще день-два — и все? — спросила Сю Лань, пытаясь улыбнуться жене Сапуана: Рахима как раз в это время подняла голову и посмотрела на их окно, но улыбку Сю Лань ей вряд ли удалось разглядеть.

— Конечно. Ведь говорят, что они уже в Джохоре...— ответил отец, приветствуя взглядом жену Сапуана, входившую в дом.

Сю Лань помолчала. Она слышала шлепанье босых ног внизу и знала, что это ходят Рахима и дети. Потом послышался плач младшего. Он просил есть, а Рахима принялась уговаривать его.

— Ты боишься, да, Сю Лань? — спросил вдруг отец. Сю Лань еле заметно кивнула.— Тебе тяжело? — Она снова кивнула.— Тяжело, потому что мама?..

Сю Лань всхлипнула. Сю Фэн умолк. Он пожалел, что спросил дочку об этом: ведь он хорошо знал, отчего Сю Лань тяжело.

Ему самому не легче. Он очень любил покойную жену. С самого начала, как они зажили общим домом, они, можно сказать, ни разу не ссорились, а если и возникали иной раз споры, то дело не доходило до взаимных обид. Жена была спокойной, уравновешенной и очень доброй женщиной.

Она любила людей и жалела их. Но бомбам нет до этого дела!

Вспомнилось ему, как волновалась жена накануне того дня, как ее настигла смерть. Она, точно так же, как Сю Лань, все время спрашивала, когда же кончится война. «Господи, хоть бы дожить до конца!» — воскликнула она однажды после разговоров о непрекращающихся атаках японцев. Эти разговоры всегда страшно волновали ее. «Не бойся. Господь сохранит нас»,— сказал ей в тот раз Сю Фэн, пытаясь ее успокоить. На нее жалко было глядеть — так сильно она похудела. «Я не теряю надежды,— ответила жена. И после долгого раздумья добавила: — А если и суждено умереть, то лучше уж сразу. А не так, как Вак Насир, которому оторвало руку и повредило голову...» — «Ну, не думай об этом, не стоит. Господь милостив, он спасет нас»,— сказал Сю Фэн.

От этих воспоминаний ему стало еще горше. Почему именно таких-то вот людей и губят бомбы? Почему они не убивают злых, скверных, тех, кто мучает других?

Ему очень хотелось спать. Он зевнул. В задумчивости посмотрел на мечеть. Сейчас она выглядела какой-то одинокой. И снова перед ним возник образ жены. «Если я погибну...» — отчетливо услышал он ее голос. «Нет! Нет! Я же сказал, что господь сохранит нас!» — «Но ведь господь вправе и взять наши жизни. Ведь это он решает, не правда ли?» — сказала жена. Она, видимо, даже и не подозревала тогда, почему эти странные мысли неотступно приходят ей на ум. На душе у Сю Фэна стало тоскливо, воспоминания о событиях недав-

них дней разрывали ему сердце. С любовью посмотрел он тогда на жену. Обняв ее за плечи, Сю Фэн попросил: «Не думай об этом, этому не бывать». Жена не ответила. Однако он и сам почему-то испытывал какую-то смутную тревогу. «Но,— снова начала жена,— все же, если... ну, к примеру... если я умру...» — «Милая, ну не надо!» — «Скажи...» — «Ничего я не скажу, ничего!» — умоляюще воскликнул он. Они оба помолчали. Мэй Фэй явно хотела высказать ему свои чувства. А у него сердце разрывалось от тревоги. «Сю, скажи,— снова начала Мэй Фэй, она поняла, что Сю Фэн на этот раз не станет останавливать ее.— Скажи, если я умру... ты обещаешь, что не оставишь дочку и позаботишься о ней? — Сю Фэн кивнул.— Мне мало одного твоего кивка, я хочу, чтобы ты сказал, что будешь заботиться о ней как следует!» С затуманившимися от слез глазами Сю Фэн ответил: «Да, любимая, обещаю. Не беспокойся об этом. Но уверяю тебя, с тобой ничего не случится. Верь мне!» — «Ты обещаешь, что она по-прежнему будет учиться в школе?» — «Да».— «Ты обещаешь, что будешь кормить и поить, обувать и одевать ее?» — «Не тревожься. Ведь я же отец ей. Конечно же, я все сделаю, как нужно. Не надо бередить себе душу. Тебе, наверное, нездоровится? Выпей-ка лекарство, которое я купил». Мэй Фэй улыбнулась. Ей хотелось, чтобы улыбка ее была радостной, но она вышла печальной и слабой. И все же Мэй Фэй хотела, чтобы он прочел в ее глазах любовь. Сю Фэну хорошо был знаком этот взгляд!

Это была ее последняя улыбка. На другой день

Мэй Фэй погибла — осталась в убежище, в этой яме, которая так долго служила укрытием ей, всей их семье и многим другим. «Мэй Фэй! Мэй Фэй!» — кричал он тогда. Голос его был полон любви, боли и... надежды. Но Мэй Фэй так и не отозвалась больше.

Слезы застлали глаза Сю Фэна. Внезапно он очнулся, почувствовав, что дочка тронула его за плечо. Он обернулся. Ему стало стыдно, и он попытался украдкой смахнуть слезы, но Сю Лань уже все поняла и сама стала вытирать ему глаза.

— Папа, ты вспомнил маму? Да?

Если бы Сю Фэн и хотел, он не смог бы скрыть, что творилось у него в душе. И дочь угадала, что́ он чувствовал в эту минуту. Он кивнул. Ответить у него не было сил. Глаза его снова наполнились слезами.

— Твоя мама была очень доброй. Она любила и жалела людей.— Голос Сю Фэна прерывался от волнения.— Почему же, за что ей выпало умереть такой жестокой смертью?

Страшный взрыв потряс воздух. Отец и дочь вздрогнули. Они увидели, как рухнула стена школы. Взрыв этот словно был ответом на вопрос Сю Фэна.

Когда стихло эхо взрыва, они услышали плач детей Сапуана — оба ревели в голос. А издалека доносился, как бы вторя крику детей, прерывистый вой собаки.

Сю Лань взглянула на отца. В ее взгляде был невысказанный вопрос.

— Папа,— тихо позвала девочка.

Отец медленно поднял голову и выжидательно

посмотрел на нее. Он видел, что ей хочется сказать ему что-то важное. И на душе у него вдруг стало так тревожно, так тоскливо! Сразу вспомнилось, как жена незадолго до смерти все спрашивала, когда же конец войне. И в его голове вновь молотом застучал вопрос: «Что ждет нас завтра, что с нами будет завтра?»

— Папа,— снова позвала Сю Лань.

— Да, дочка?

— Скажи мне, это правда, что война скоро кончится?

— А почему ты все время спрашиваешь про это?

— Это правда, папа?

— Я думаю, правда.

Сю Лань умолкла. Ей показалось, что не настал еще момент, когда она может высказать то, что ее так тревожит.

— Ну, что с тобой?— спросил Сю Фэн.

— Вчера всю ночь мне снилась мама. Ужасный сон. Я знаю, что маме плохо лежать в этом убежище. Мы должны похоронить ее в другом месте,— сказала Сю Лань.

— И мне снилось то же самое. Я помню, все время помню об этом. Не тревожься. Мы вместе с тобой предадим ее тело земле, как положено,— похороним там, где ей будет хорошо. Но только еще не настало для этого время.— Так говорил Сю Фэн, ощущая ту же тревогу, что билась в сердце его дочери.

Чем ближе было утро, тем чаще слышались взрывы и вой снарядов. И тем тяжелее становилось на душе Сю Лань и Сю Фэна, на душе у всех,

кто ненавидел эту проклятую войну. Каждый задавал себе один и тот же вопрос: «Когда моя очередь? Когда пробьет мой смертный час?» И каждый молился: «Господи боже! Ты велик и всемогущ! Спаси и сохрани меня в этом аду!» И каждый на что-то надеялся...

Приближалось утро. Война грохотала все яростней...

КАНАВА

Четыре утки копошатся в неподвижной, черной, пенистой воде сточной канавы. Маленькие канавки тянутся от домов Камалы Би, Киах Кедемпол, Захарах Булат и Абдула Карима, Маримуну, Кадира Махмуда, Манисах, Абдула Рахмана, Хаджи Мусы и сливаются в одну, извилистую и длинную, исчезающую в зарослях кустарников. В кустах — мокрые обрывки газет, ветхое грязное тряпье, жестянки из-под молока, дающие приют тысячам комариных личинок, острые осколки бутылок и затхлые, заплесневелые объедки риса, рыбы, овощей и кокосов.

Одна из уток усердно баламутит черную стоячую воду, и все новые, и новые пузырьки всплывают на ее пенистой поверхности. Потом утка принимается вертеть грязным растрепанным хвостом, бить крыльями, и следом за ней остальные тоже вертят хвостами и бьют крыльями, шумно крякая и вытягивая шеи.

Абдул Карим, муж Захарах Булат, останавливается посмотреть на расшумевшихся уток, но, заметив неподалеку группу ребятишек, присевших на корточки по нужде (это дети Палимах, Мурада

Паноу и его собственный сын), чувствует, как тошнотворный комок подкатывается к его горлу. Дети швыряются комьями земли, не обращая ни малейшего внимания на то, что их тощие чесоточные тела и кучки засыхающих на жаре испражнений густо облеплены мухами. Им ужасно весело.

— Эй вы,— кричит Абдул Карим,— ну-ка перестаньте! С головы до ног в грязи, фу!

Все дети, кроме трехлетнего сына Абдула Карима, сконфуженно опускают головы.

— Стыд и срам,— отчитывает сына Абдул Карим, выкатив глубоко посаженные глаза и по привычке, доставшейся ему в наследство от деда, высовывает кончик языка.

Утки, напуганные криками Абдула Карима, поспешно ковыляют на другой конец канавы к груде отбросов, над которой вьются несметные полчища мух. Там они снова принимаются за дело и разгоняют мух, наполняющих жужжанием воздух. Впрочем, через минуту мухи уже снова плотно облепляют кучу.

Сын Абдула Карима гогочет во все горло и как ни в чем не бывало продолжает швырять землей в своих приятелей. Сын Мурада Паноу, которому песок попал в глаз, громко вопит на весь квартал — утки шарахаются в одну сторону, мухи — в другую, и даже сам Мурад Паноу, мирно дремлющий под боком своей жены Киах Кедемпол, слышит этот крик, несмотря на ее богатырский храп.

— Пойди-ка взгляни, с чего это твой сын раскричался,— говорит Мурад Паноу жене, не без опаски трогая ее за плечо.

Из обильной плоти Киах Кедемпол можно выкроить двух таких Мурадов Паноу. Она лениво переворачивается на другой бок и храпит еще громче.

— Ты слышишь, посмотри, почему твой сын ревет на улице,— повторяет Мурад Паноу и снова трясет жену за плечо.

Киах Кедемпол отталкивает Мурада Паноу, приоткрывает глаза; но тут же снова закрывает их и лениво бормочет:

— Он такой же мой сын, как и твой. Сам посмотри.

И, повернувшись спиной к мужу, она опять обнимает подушку, испещренную причудливыми разводами засохшей слюны. Мурад Паноу некоторое время глядит на жену, презрительно морщит губы, теребит усы и наконец произносит:

— Эх-хе-хе, чем толще, тем никудышней.

Тут жена наконец поворачивается к нему, и Мурад Паноу спешит удалиться.

На улице Абдул Карим продолжает на все корки распекать своего сына. Лицо у него такое свирепое и он выбирает такие слова, что двое специалистов по сидению на корточках решают, что лучше удалиться. Остается только сын Мурада Паноу, который по-прежнему орет благим матом и яростно трет глаза. Сын Абдула Карима молчит, опустив гладкую, как колено, голову. Над левой бровью у него красуется здоровенный нарыв.

— Ну так что? Ты будешь над людьми издеваться?

Мальчик молчит. Его голова все ниже клонится на грудь, где отчетливо выступают ребра. Отвислый живот начинает вздрагивать.

Мурад Паноу выскакивает из дому в батиковом кайне своей жены и, на ходу закручивая его, бросается к плачущему сыну.

— Что случилось? — спрашивает он, осматривая глаз мальчика.

— Песок попал,— прерывисто всхлипывает тот.

Тут только Мурад Паноу замечает Абдула Карима-младшего, а потом и самого Абдула Карима, направляющегося к сыну с явным намерением разделаться с ним по-свойски.

— Не надо! Не бейте его. У этих сорванцов не поймешь, кто прав, а кто виноват,— говорит Мурад Паноу, снова принимаясь тщательно обследовать глаз своего сына. Но тут в дверях появляется его толстуха жена, до которой наконец долетели пронзительные крики чада.

— Ай-ай-ай-ай-ай! — вопит Киах Кедемпол, закатывая глаза.— Кто бьет? За что бьет?

Мурад Паноу велит ей отправляться домой, но она словно и не слышит его.

— Кто смеет бить моего мальчика! — кричит Киах Кедемпол, размахивая руками, каждая из которых наверняка потолще ляжки ее мужа.

Она явно нарывается на скандал. Муж урезонивает ее, и, поскольку песчинка уже вынута из глаза ребенка, его увещевания имеют некоторый успех. Их сын хохочет, глядя, как его толстуха мамаша размахивает руками. А она, вконец расстроенная, удаляется в дом и плюхается на кровать.

— Эй, толстуха,— сердится Мурад Паноу.— Ты никак опять спать улеглась!

Его сын в восторге.

— Папка, лупи мамку! Папка, лупи мамку! — приплясывая, кричит он.— Папка испугался, папка испугался!..

Мурад Паноу снова появляется на улице. Сын Абдула Карима исчез, но сам Абдул Карим все еще стоит на том же месте и, сгорбившись, следит за утками (сейчас к ним присоединилось еще несколько кур), которые ворошат (а куры тем временем клюют) отбросы, облепленные воинственно жужжащими мухами.

— Ну и грязища здесь,— говорит Мурад Паноу, обращаясь к Абдулу Кариму.

— Да-да,— отвечает тот и на мгновение замолкает, следя за петухом, гоняющимся за курицей.— Всем вместе надо бы взяться,— продолжает он,— а то все здесь грязью зарастает, мухи разводятся, комары, микробы. Люди болеют. Верно?

Мурад Паноу согласно кивает и тоже глядит на петуха, деловито преследующего курицу.

— Вся беда в том, что единодушия нам не хватает,— произносит он.— Я уж не говорю семья с семьей — мужья с женами, и те ужиться не могут. Каждый только и думает, как бы норов свой показать. Пусть все, мол, знают, что и он шишка на ровном месте. До сих пор канаву вычистить не соберутся.

Мурад Паноу, как обычно, начинает одну из своих речей. Он возвышает голос против этих «тутошних», которые загордились, потому-то, мол, никому и дела нет до грязной канавы. Пускай, мол,

дети гадят, где бог на душу положит. Он клеймит сплетников (разумеется, о присутствующих не говорят) и выносит приговор всему кварталу — этому обиталищу множества мух, множества комаров, множества крыс и множества микробов.

В своей речи он обрушивается на нравы и обычаи жителей квартала. Те, кто на деле хотят показать, на что они способны, считает он, должны прежде духовно очиститься, а начать нужно с очистки канавы, уборки мусора, ликвидации консервных банок, полных дождевой воды, а еще надо и залить керосином места скопления комариных личинок. И пора покончить со сплетнями!

— Взгляните! — торжествующе произносит он.— Сколько здесь нечистот. Ваш ребенок гадит здесь, и ребенок Камалы, и ребенок Абдула Рахмана, и, наконец, ребенок Манисах тоже. Даже старики и те по ночам справляют тут нужду.

(Разумеется, в этом перечне из скромности опущены его сын и он сам.)

Продолжая свою речь, Мурад Паноу отмечает совершенно нетерпимую халатность и попустительство в отношении этого явления. Слегка поскоблив старый стершийся пятак, он снова пускает его в оборот, напомнив о том, какое ликование вызвала у местных жителей весть об очистке канавы и как быстро оно улеглось, лишь только дело коснулось сбора необходимых для этого средств.

— Если так пойдет дальше,— произносит он, слегка повышая голос,— мы будем вечно жить в грязи среди множества мух, множества комаров и множества крыс. А ответьте мне, кто окажется

виновным, если муниципальные власти нагрянут сюда с ревизией? Мы. Кто окажется виновным, если правосудие призовет нас к ответу? Мы, и только мы.

Он извлекает из складок кайна сигарету и сжимает ее бледными пересохшими губами. Другую протягивает Абдулу Кариму, пристально следящему за петухом и курицей, наконец-то на минуту приутихшими.

Не спуская глаз с кур, Абдул Карим берет протянутую сигарету. Теперь они оба следят за курами. Петух снова пускается в погоню за курицей, и они исчезают за приземистым бараком, в который народу набито как сельдей в бочке — одиннадцать семей, что-то более шестидесяти человек.

Мурад Паноу всматривается в черную пенистую поверхность канавы. Квартет уток, копавшихся в затхлой жиже, занялся теперь жестянками из-под молока. Одна из уток засовывает клюв в банку и подталкивает ее перед собой, нарушая покой сотен плодящихся в свое удовольствие личинок. Войдя во вкус, она принимается за дело с таким рвением, что даже кончик ее хвоста дрожит.

— Вы только взгляните сюда,— говорит Мурад Паноу, указывая жилистой рукой на груду отбросов, облепленных мухами.— Сколько раз я убирал эту мерзость, однако Захарах Булат, Камала Би и им подобные по-прежнему продолжают выбрасывать сюда мусор. Есть ведь выгребная яма чуть подальше, но им лень идти, этим лентяям. Об одних развлечениях думают.

— Да-да...— соглашается Абдул Карим.

— А поди скажи кому — в ответ одна ругань. Сколько ни объясняй, что отбросы — рассадник мух, комаров, крыс и микробов, никому до этого дела нет. Что же прикажете? Ходить за каждым и упрашивать? Глухие, глухие — вот они кто.

Абдул Карим слушает молча. Он замечает своего сына: тот — по-прежнему без штанов — выбежал невесть откуда и носится по двору, а потом проворно взбирается на молодую вишню и качается, повиснув на тонкой ветке.

Абдул Карим снова набрасывается с бранью на сына и хватает хворостину, намереваясь как следует отлупить его, но мальчишка удирает, вопя во все горло:

— Черномордый папка — хо-хой, черномордый папка — хе-хей, черномордый папка — ха-ха!

— Больше так продолжаться не может,— повторяет Мурад Паноу.— Мы должны вычистить канаву. Тогда власти не смогут привлечь нас к суду. Исчезнут мухи, комары, крысы. Да, да, да, мы должны вычистить канаву. Мы должны снова созвать собрание. Мы должны потребовать, чтобы Хаджи Муса собрал людей.

— Угу,— говорит Абдул Карим, сплевывая догоревшую сигарету. Тотчас же две курицы наперегонки бросаются к дымящемуся окурку.

Мурад Паноу продолжает свою речь. Он готов признать, что у жителей квартала действительно нет денежных средств. Ему известно, что никто из них не занимает высокооплачиваемых постов. Одни работают рассыльными, другие шоферами, кули или в лучшем случае учительствуют в какой-нибудь здешней школе с дырявой крышей. Тем не

менее если б каждый согласился поступиться хоть одной-двумя монетами в месяц, то, по его глубочайшему убеждению, можно было бы привести в порядок и канаву и выгребную яму. А еще лучше было бы всем, как один, выйти на воскресник.

— Но нет,— гневно восклицает он,— нет, нет и нет! Каждый день только и слышишь, что новые ссоры. Скандалят из-за отбросов, из-за нечистот, из-за детей. Друг друга сплетниками обзывают. И благо бы только жены, а то ведь и мужья не отстают. Куда все это годится?

Абдул Карим качает головой, покрытой короткими редкими волосками.

Абдул Карим считает, что их кварталу нужен настоящий староста. Такой, чтоб и слово у него было твердым и чтобы люди его уважали, доверяли ему.

Он замолкает и после короткого воздушного боя с мухами продолжает развивать свою мысль.

— С таким старостой горы своротить можно,— говорит он.— А то ведь здешний народ, знаете, какой! Пока жареный петух не клюнет, ни за что не возьмутся.

Оба задумчиво молчат.

Абдул Карим глядит на своего сына, который снова лезет на дерево. Мурад Паноу — на своего, карабкающегося туда же.

— Вот посмотрите,— говорит Мурад Паноу.— Только что ссорились — и уже помирились. С этими детьми вечно так. И нечего из-за них шум поднимать. Но здешние этого не понимают. Чуть что, делают из мухи слона.

Абдул Карим и Мурад Паноу переглядываются. Они понимающе улыбаются друг другу и смотрят на долговязого и тощего Кадира Махмуда, который только что показался из уборной. Его место тотчас же занимает изнывавшая от нетерпения матушка Абдула Карима.

— Поглядите-ка на этого Кадира Махмуда. На кого он похож? Все ночи не спит. А из-за чего? — спрашивает Мурад Паноу и тут же сам себе отвечает: — Из-за грязной канавы, из-за грязной уборной, из-за того, что все здесь грязью заросло. В чистоте откуда взяться микробам? Нет микробов — нет и болезней. А если бы не болезни, разве был бы он таким худым?

— Да-да-да,— соглашается Абдул Карим и для вящей убедительности кивает головой.

А речь продолжается.

— Эта уборная, эти кусты, эта канава — не пора ли уже с ними покончить? Но нет! Никто и палец о палец не ударит. Все здешние такие. Все они сони, лентяи и олухи.

— Да-да-да,— еще решительнее кивает Абдул Карим.

Мурад Паноу считает, что подобное попустительство просто безрассудно. Необходимо как можно скорее взяться за работу. Ведь известно, что муниципальные чиновники держат под неослабным контролем районы барачной застройки в черте города. Если до властей дойдет, что квартал находится в таком состоянии, их, жителей квартала, могут привлечь к суду, а уж там, если им не повезет, все бараки будут снесены.

— Разве они не знают,— напоминает Мурад Паноу,— что эти дома не предусмотрены планом?

— Да,— снова соглашается Абдул Карим — все, что вы говорите, совершенно справедливо. Тут он замечает свою жену, Захарах Булат — с ведерком в руках она идет сушить белье.

— Ладно, завтра вечером созовем народ на собрание. Пора наконец поговорить обо всем. Пора выбрать нового старосту. Наш Хаджи Муса ломаного гроша не стоит. Он хоть и человек набожный, а порядочный...

— Верно, верно,— быстро перебивает Абдула Карима Мурад Паноу.— Я тоже думаю, что пора собрать собрание. На что нам этот Хаджи Муса.

Оба замолкают, и каждый думает, что именно он-то и есть тот самый надежный человек, который достоин стать старостой.

— Да ты, никак, еще не умывался? — спрашивает жена Абдула Карима, размахивая кайном, приготовленным для просушки.— Солнце-то вон уже где! Сразу, сразу иди, а то потом не умоешься. Смотри, какая очередь собралась. Ты что, на работу не собираешься? Чем тут языком болтать, лучше бы денег раздобыл.

— Иду,— отвечает Абдул Карим.— Пойду умоюсь,— говорит он Мураду Паноу.— Эту бабу не переговоришь. Что она понимает в наших делах? Вся семья у них как на подбор — трепачи: бабка, мать, теперь вот она. Небось и деды-прадеды такие же языкастые были.

Абдул Карим замолкает, заметив, что жена смотрит в его сторону. Он уходит, еще раз бросив взгляд на дальний конец канавы, где громоздится

здоровенная гора отбросов, где полощутся и роются в мусоре четыре утки и где в полных воды жестянках плодятся комариные личинки.

«Фу, грязища,— думает он,— и народ здесь такой же — грязнули. Дубье стоеросовое».

В глубине души он уверен, что к нему все это не имеет ни малейшего отношения.

Мурад Паноу возвращается в дом. Он с раздражением смотрит на свою безмятежно храпящую толстуху жену.

— Э-хе-хе,— говорит он.— Чем толще, тем ленивей.

Он укладывается подле жены и засыпает. Сквозь сон до него доносится плач сына. Мурад Паноу открывает глаза и толкает жену:

— Пойди-ка взгляни, с чего это твой сын раскричался.

Киах Кедемпол переворачивается на другой бок и лениво бормочет:

— Он такой же мой сын, как и твой. Сам смотри.

Оба засыпают.

Мухи и комары садятся на них. Под деревянным топчаном пищат и скребутся мыши. А на улице по-прежнему копошатся в грязи утки. Петух снова гоняется за курицей. И все громче и громче звучит детский плач.



Шахнон Ахмад



НАВАЖДЕНИЕ

СРЕНГЕНГЕ

Казалось, что с каждого лица на меня уставились тысячи глаз. Да чтоб они сгнили! Разве я не пытался им втолковать снова и снова: «Я не холоп! Не холоп! И не хочу быть холопом!» Но они по-прежнему пучатся на меня и прыгают, и я снова читаю в них вопрос: «Ну а кто же ты тогда?»

Ох, какая черная туча взбирается на небо!

Мне представляется наша деревня. Куда ни посмотришь — всюду поливные поля. Рис уже убрали, и там, где он рос, на приволье жируют змееголовы. Побеги травы то там, то тут выглядывают из воды, покрытой рябью. Нашу хибарку с двух сторон обступили деревья. Кого-то зовут вдалеке, и раскатистое эхо подхватывает голос, пока он не глохнет в ущельях Сренгенге. Мать уже колдует над кокосовым молоком и клейким рисом. «Знаешь, отец, там за домом растет семейка бамбуков. Пошел бы ты да срубил их. Вот и хорошо.

Надо только будет взять кокосового волокна да ободрать волоски с молодых побегов бамбука»[1]. Завтра утром, едва взойдет солнце и цыплята поднимут писк в курятнике, в дом нагрянут ребятишки с сияющими ясными глазами. А вечером повсюду начнут рваться шутихи, и гуси будут вытягивать шеи и испуганно шипеть.

Я протер глаза.

Да посмотри же вокруг хорошенько! Сюда. Или сюда. Ты что, ослеп? Или оглох? Вот твой каменный дом, а вокруг теснятся его каменные близнецы, десятки, тысячи домов. И люди, которые мечутся, сбиваются с ног, стремясь к неизвестной цели. И еще собаки, мусорные бачки, автомобили, бутылки, дым, церкви, забегаловки, секс, нечистая сила и смерть!

И вот тысячи глаз уже снова смотрят на меня — и злоба разгорается в них еще сильнее. Их становится все больше, две, четыре тысячи, миллион! Они бегают, эти глаза, и слипаются друг с другом, образуя отвратительное живое месиво!

— Дьяволы! Будьте вы прокляты, окаянные! Тьфу, тьфу на вас!

Я воткнул в пепельницу окурок, дымившийся в моей руке, и глянул в окно. Какая-то парочка взасос целовалась на веранде соседнего дома.

— Тьфу ты, черт! Чтоб вам провалиться, бесстыжие!

— Что случилось?

---

[1] В сосудах из молодого бамбука варят рис в кокосовом молоке. Это кушанье готовится по случаю ид аль-фитра — мусульманского праздника разговения.

Какое милое лицо у моей жены! И какие ясные глаза! Она обеспокоенно заглядывает в комнату, ей необходимо узнать, что со мной стряслось. А вот и мой старший сын. И еще, и еще, и еще одна детская рожица.

— Что случилось?

Господи, какие ясные, какие лучезарные глаза, и как я их всех люблю! И в одно мгновение исчезает миллион гляделок, свирепо пялившихся на меня, и я вижу перед собой только пять пар глаз, не замутненных ни одной нечистой мыслью. Я вижу в них любовь, одну любовь, и ничего больше.

А на небе по-прежнему клубятся тучи.

Я откашливаюсь и смотрю в сторону. Пытаюсь утереть глаза, но слезы набегают снова и снова. И тогда я опять поворачиваю лицо к своим домашним и пробую выдержать взгляд этих пяти пар глаз, устремленных на меня. Потом встаю и беру за ручку нашего младшего сына. Меньшой — так мы зовем его, я и моя жена. Я поднимаю его на руки и крепко прижимаю к груди.

В комнате становится заметно темнее.

— Мы так давно уже никуда не ходили!

Что-то дрогнуло в четырех парах глаз, которые смотрят на меня с порога. Я даже не мог разобрать, что в них изменилось. Ясно одно: они не хотят оказаться взаперти, в четырех стенах в такой день. Я понимал это. Меньшой старался вывернуться из моих объятий, и, хотя я не видел его глаз, я хорошо понимал, чего ему сейчас больше всего

хочется. Ему тоже неохота сидеть точно в клетке, когда у всех праздник.

Но куда мы можем пойти всей семьей?! Куда? Если посмотреть в окно — не увидишь ничего, кроме десятков, сотен, тысяч каменных коробок. Господи, да мы не знаем здесь ни одной души! А цвет кожи, цвет кожи всех членов моей семьи! Он не белый, но и не черный! А в наше время в мире различают только белый и черный цвета, а прочие не принимают в расчет. А уличное движение на шоссе? Рев и визг, не умолкающие ни днем ни ночью. И на каждом углу вас подстерегают дьявол и сама смерть.

И вот снова передо мною миллион глаз, и все они соединены с желудками, тысячи перепутанных, переплетающихся сосудов и жил тянутся от них вниз, напоминая внутренности лангсияра[1]. У-у, проклятые! Неужели вы не слышали, как я говорил вам: «Я не желаю быть ни холопом, ни господином!» Но кто же вы? Кто вы такие — ты и твоя семья?

— Свиньи! Проклятые свиньи! Вон, вон отсюда!

— Что с тобой?

Жена никак не может понять, что со мной творится. Дети, сгрудившиеся на пороге, стараются сделать вид, будто ничего не произошло. Меньшой, сидевший у меня на руках, посмотрел на меня сверху вниз, и в его зрачках я увидел свою

---

[1] Лангсияр (*малайск.*) — обитающий в джунглях злой дух женщины, умершей, по преданию, во время родов.

перевернутую физиономию. Я наклонил голову и поцеловал его в лоб.

Миллионы озлобленно сверливших меня гляделок снова исчезли из моего сознания. Я повернулся к окну. Парень с девушкой из дома напротив все еще не могли оторваться друг от друга, было видно, как конвульсивно движутся их руки, словно каждый из них пытался нащупать корень зла в другом.

Я встал. Старшие ребятишки, все с такими же ясными глазами, и жена бросились ко мне. И мы обнялись в едином порыве и прослезились, да что там — заплакали навзрыд. Ведь по правде говоря, все мы оказались между небом и землей: и на родине не остались, и здесь не пустили корней. И понятия не имеем, кто мы такие. По существу, мы разорваны на две части: телом мы здесь, душою — там.

— А почему бы нам не отправиться в деревню и не провести праздник вместе с дедушкой и бабушкой, старшим дядюшкой и старшей тетушкой, младшим дядюшкой и младшей тетушкой...

...почему бы нам всей семьей не вернуться в свой кампунг...

О-О-О!

О-о-о-! Какая у тебя новая кофта, матушка! А ты, отец, не можешь честь честью пойти сегодня в мечеть? Ну и выкинь это из головы, не расстраивайся! Иди-иди, поцелуй бабушке колени. Колени, тебе говорят. Ах ты, непослушный мальчишка,

зачем же ты целуешь бабушку в щеки и в нос? Ха-ха-ха-ха! Яти! Расколи это звено бамбука. Только осторожнее! У бамбука очень острые щепки. А ты, Аими, нарежь тоненькими ломтиками кетупат[1]. Добро пожаловать, старший дядюшка, заходите. Нет? Ну, ладно, тогда навестите нас после молитвы. Простите мне все грехи, тайные и явные. А что, у тетушки еще не кончилось «время воздержания»?[2] Ну, слава богу. А как назвали сына? О, это прекрасное имя! Ведь так звали друга самого пророка! А вот и дети пришли. Нуси! Принеси папин кошелек с мелочью. Так, вот тебе десять центов. А вот тебе. А вот и тебе. И будьте все здоровы. Яти! Скорее тащи сюда клейкий рис, сваренный в бамбуке, и кетупат. Накорми ребят, чтобы никто не ушел голодным. Да прихвати приправу из курицы и три пиалы. Эй, полегче там с шутихами! Засучите рукава, а то сами не заметите, как они загорятся! Да никак это младший дядюшка! Заходите, заходите. Простите, коли согрешил перед вами делом или помыслом. А где же тетя? Иншаллах[3], вечерком мы заглянем к вам в гости. Только не беспокойтесь, ради бога, и не вздумайте резать курицу. Поужинаем запросто, чем бог послал. Это верно, что Долах собирается жениться? Благодарение создателю! Хотел бы я

---

[1] Кетупат — рис с приправами, сваренный на пару́ в плетенке из листьев кокосовой пальмы.

[2] «Время воздержания» от некоторых видов пищи и ряда действий продолжается у малайских женщин с седьмого месяца беременности до сорок четвертого дня со времени родов.

[3] Если будет угодно аллаху (*арабск.*).

знать, кто же будет вашим сватом. Вот это да! Ну и повезло же вашему Долаху! Сколько вы хотите зарезать буйволов? Ничего себе! Да одними этими курами можно будет накормить всех гостей! Белое мясо, если его приготовить с сердцевиной бананового дерева и черешками таро, не отличишь от настоящей мясной приправы. Пальчики оближешь! А вот и старший дядюшка снова появился! А с ним и старшая тетушка! Ну, ни дать ни взять — новобрачные, честное слово! Покорнейше прошу прощения, дядюшка и тетушка. А это что же такое? Спасибо, большое спасибо. Отец там, в комнате. Да, немного прихворнул. Видно, в этот праздник ему не удастся помолиться вместе со всеми. Мама! Старший дядюшка и старшая тетушка приглашают тебя в мечеть. Пожалуйста, пожалуйста. О! Еще ребята! Здравствуйте. Это тебе десять центов. А это тебе. И простите, если чем вас обидел...

Неожиданно я снова поглядел в окно. Девушка с парнем из дома напротив никак не могли отлипнуть друг от друга. На подходе к нашему дому я заметил вдруг хорошенькую стервочку, торопившуюся куда-то по своим делам. И как ни старался, я не в состоянии был оторвать глаз от ее ножек, мелькавших мимо моего окошка. И сердце заколотилось у меня как сумасшедшее.

«Ее нужно немедленно изнасиловать!» — беззвучно завопил голос в глубине моей души.

— Еще бы!

А тучи все шли и шли, аспидно-черные тучи.

Они не заставили себя ждать с ответом, эти миллионы глаз, таращившихся на меня с неведомых лиц. Они уже были тут как тут, ходили ходуном и вибрировали. Но на этот раз из кишащей массы безумных глаз торчал палец и сбоку от него зияло отверстие бесформенного человеческого рта. В глубине этого отверстия я видел судорожно движущийся язычок, казалось, манивший к себе. И неожиданно этот бесформенный рот с крошечным красным языком втянул в себя бессмысленно торчавший палец и принялся сосать и жевать его.

— Еще бы! Ее непременно нужно изнасиловать!

...и я бесстыдно изнасиловал эту цацу. Я схватил ее в охапку и не чуя под собой ног понесся с ней в церковь. И голенький Иисус Христос, свисающий со своего креста, ухмыльнулся при нашем появлении. Я стащил с нее мини — не более двух пядей в длину. И кофточку без рукавов. И бюстгальтер. И трусики. И я дернул ее за руку, так что она повалилась на пол ничком, а я сам примостился возле нее на спине. Ох! Вот оно, наконец! И глаза, глазищи, гляделки вопили от радости так, что у меня звенело в ушах. В бесчисленных глазницах что-то двигалось, переплеталось, сталкивалось, приходило в неистовство.

Я поднял голову: Христос, распяленный для всеобщего обозрения на своем кресте, корчился от хохота. Я издал вопль восторга и сквозь этот вопль

и хохот услышал вдруг словно издали чей-то плач, плач в несколько голосов...

— Папа, папочка!

Да ведь это мы все еще обнимаемся и плачем, плачем вместе с женой и детьми.

— Папочка, куда мы поедем сегодня?

— Да куда хотите.

— Поедем в Берли Гриффин — посмотрим, как катаются на яхтах?

— Почему бы нет?!

— Или в Тиббинвилла — поглядеть на кенгуру и кукабарру? [1]

— Очень хорошо!

— Или в Вестерн-Крик и покатаемся там верхом на пони, правда, папа?

— Куда хотите. Бегите, нарядитесь во все праздничное.

Я поцеловал в макушку меньшого. Ребята помчались в душ. Возле меня осталась одна жена. На глазах ее еще не просохли слезы, и я любовался ее заплаканными глазами.

На улице начал накрапывать дождь.

— Мы отвезем их, куда они захотят, только бы вконец не испортилась погода,— прошептала жена.

Она стояла рядом, задумчиво глядя на меня. В душе низвергались на пол целые водопады. Жена вышла в спальню, и я слышал, как она открыла платяной шкаф. Я пошел в спальню следом за ней.

— Только вот погода мне что-то не нравится.

---

[1] Кукабарра — смеющийся зимородок, крупная австралийская птица.

Я посмотрел в окно. Небо не внушало никакого доверия. Дождь понемногу входил в силу. Вот ведь и погода здесь какая-то не такая, сумасшедшая. От нее можно ожидать каких угодно фокусов, особенно сейчас, в начале лета.

— Пускай они все-таки оденутся во все праздничное.

Я снова вернулся к письменному столу. В ду́ше все еще шумела вода. Парня и девушку с соседней веранды как языком слизнуло, должно быть, они спрятались в дом. Поднялся ветер: его настойчивый, доносящийся отовсюду свист переходил порой в завывания. Я схватил листок бумаги и авторучку и вывел в верхней части листа: «Холопы».

Ветер свистел и стонал за окном. Дождь не унимался. По улице несло невесть откуда взявшуюся старую газету. Вот она распахнулась, подлетела вверх и повисла на заборе соседнего дома, где только что демонстрировали свою любовь незнакомые молодые люди. Налетел новый порыв ветра, и газета снова раскрылась и взметнулась вверх. Потом она опустилась на мусорный бачок миссис Ферлонгер и прилипла к нему намертво.

Я перевел глаза со старой газеты за окном на листок бумаги, лежавший передо мной.

«Холопы».

Посмотрев еще раз на заголовок, я написал:

«По правде говоря, все мы до мозга костей холопы. Утром и вечером, днем и ночью мы занимаемся одним и тем же — лижем задницы...»

Резким движением пера я тут же вычеркнул только что написанные строки. Ну что за ди-

кость — утверждать, будто все мы холопы. Да кто же из нас лизал кому-нибудь задницу?! Я вычеркиваю нелепые строчки еще одной чертой, так что местами она сливается с первой, делая ее еще более внушительной, а местами заезжает поверх нее или соскальзывает вниз.

Холопов от этого, естественно, не становится меньше.

А в шум ветра и дождя врывается вдруг раскат грома. Молния раскалывает черное небо, и ливень обрушивается на землю потоками воды. Изо всех сил я стараюсь рассмотреть сквозь сетку дождя старую, никому не нужную газету, прилепившуюся к бачку миссис Ферлонгер. Дождь барабанит по крышке бачка как бешеный. Без сомнения, газету давно разнесло на клочки, от нее ничего не осталось.

ГРОМ

За дверью душевой утих плеск воды.

Я вымарал слово «Холопы», но потом снова написал: «Холопы».

«Поистине все мы холопы, хотя и самой высшей категории. Вопрос заключается лишь в том, кто признает за нами право на эту категорию...»

Потом быстро и безотчетно я вычеркнул и эти две фразы.

Холоп он и есть холоп.

Сверкали молнии, звучал боевой клич грома. С улицы до меня донесся вдруг вроде бы детский визг. Я не поверил своим ушам. Неужели миссис Ферлонгер сошла с ума и позволила своему ребен-

ку выйти в сад во время такого ливня?! Трудно представить себе мать, которая могла бы допустить что-либо подобное. И однако, нет никакого сомнения: в соседнем саду кто-то визжит. Я вскакиваю из-за стола и высовываюсь в окошко. Садик миссис Ферлонгер затопили потоки воды. Но что это, не сама ли это миссис Ферлонгер, согнувшись, стоит под дождем возле своего мусорного бачка? Да что же она там делает?! Когда она стоит так, сгорбившись и разыскивая что-то на земле, она так напоминает старую Ньянг Лиму...

Я уже забыл, какой это был день. Одно могу сказать наверняка: это была не пятница, как сегодня. Только не пятница. В тот день большой барабан нашей мечети не созывал верующих на молитву. На деревню обрушился ливень. Ветер оказался с ним заодно — он разворачивал в веер струи дождя, так что они переплетались, подобно внутренностям лангсияра, и с удвоенной силой хлестали первую попавшуюся им божью тварь. Ньянг сидела в средней комнате и баюкала нашего младенца, лежавшего в колыбели:

Качайся, золотой,
Не вывались, гляди,
К индийцу с бородой
В мешок не угоди.

Мой сын был парень с характером, он упорно таращил глазенки на сморщенное личико Ньянг, а та все пела:

Качайся, золотой,
Не вывались, гляди,

К индийцу с бородой
В мешок не угоди.

Но вот тоненькие веки постепенно опускаются, мальчик засыпает. Ньянг умолкает, и только дождь да яростный ветер безумствуют за окном. А вот и молния. Но что это — Ньянг встает, ее сгорбленная фигурка движется к кухонной двери. Ноги повинуются ей пока безотказно.

— Ты куда?

Не помню, кто задал ей этот вопрос. Может быть, мать, хлопотавшая на кухне. Может, отец из передней комнаты. А может быть, жена или я сам.

— Я закинула удочку на рисовом поле, надо посмотреть, не попался ли на крючок змееголов или налим.

— Да ты погляди, что творится на дворе,— пытается ее удержать кто-то из нас.

Но Ньянг — крепкий орешек, уж если она что-нибудь решила, ее не отговорить. Дождь так дождь. Буря так буря. Мелкими шажками она выходит через кухонную дверь и направляется к полю.

— Ньянг! Ньянг! Ньянг!

Вспышка молнии, оглушительный раскат грома. Ньянг как подкошенная валится наземь посередине усадьбы. А тем временем на ее приманку, может быть, клюет змееголов или налим... может быть...

— Миссис Ферлонгер! Миссис Ферлонгер!

Но мой голос не в состоянии пробить стену дождя. Впрочем, какое мне, собственно, до нее дело?! Будь что будет.

И я снова гляжу на бумагу, лежащую перед глазами. Холоп он и есть холоп.

— Папа!

Я обернулся к двери. Бог ты мой! До чего же хороши мои дети! Дочка в кебайе навыпуск и в длинном кайне, закрывающем лодыжки. Да и мальчишки ни в чем ей не уступают. Светло-зеленые рубашки цвета молодого банана. У всех троих одного цвета брюки, одинаковые сампинги[1] и черные шапочки, чуть-чуть сдвинутые набок. Ну, идите-ка сюда! Вот вам. Это тебе десять центов. Это тебе. Это тебе. А это тебе.

— С праздником, папа.

Так мы поздравили друг друга. И каждого я поцеловал в макушку.

— А где же мама?

И тут появилась моя жена. Она тоже надела кебайю навыпуск, и ее кайн спускался почти до пола. Как старательно она уложила сегодня волосы! Глядя на нее, я почувствовал, что передо мной самая прекрасная женщина на свете. Она шагнула вперед, опустилась на колени и протянула ко мне обе руки. Я крепко обхватил пальцами ее тонкие запястья, а она приникла лицом к моим коленям.

— Отпусти мне все мои грехи — явные и тайные.

— Отпусти мне все грехи — явные и тайные.

---

[1] Сампинг — длинная полоса материи, которая обматывается поверх брюк наподобие короткой, до колен, юбки.

Дети смотрели на нас во все глаза. Вдруг я ощутил что-то теплое и влажное на своих коленях. Жена всхлипнула. У меня запершило в горле, и мне стало жалко ее. Теперь и у меня по щекам потекли слезы. Я попытался заглянуть ей в лицо. Всхлипывания стали чаще, превратились в рыдания, и жена заплакала навзрыд.

А на улице дождь припустил тем временем еще сильнее. Хорошо еще, что миссис Ферлонгер не убило молнией, как старую Ньянг Лиму несколько лет назад. А прошлогодней газеты, прилепившейся к мусорному бачку, и след простыл. Я смотрю на бумагу посреди письменного стола. На листе красуется короткая надпись: «Холопы».

— Как только прекратится дождь, мы поедем.

— Куда, папочка?

— Куда хотите.

— А давайте поедем в гости...

Но тут я замолкаю. Жена выходит в переднюю комнату, дети гуськом следуют за ней. Я остаюсь один на один с листком бумаги. Холопу суждено оставаться холопом на вечные времена.

...Деревня как вымерла. Куда они все подевались?

— Мама! — гулко прозвучал и смолк мой голос, утонув в расселинах хребта Сренгенге.

— Отец! Старший дядюшка! Младшая тетушка!

Только солнце шлет на землю какой-то необычайно мягкий свет. Только ветер теребит листву вокруг нас.

— Мама! — кричу я изо всех сил. Крик мой повторяют и поглощают навсегда отроги Сренгенге.

Но деревня как была, так и остается мертвой.

А мы все, такие нарядные — я, жена, ребятишки,— прыгаем от радости, очутившись возле родного дома. Мы носимся вокруг деревни. Мы пускаем шутихи. Мы наслаждаемся чистым загородным воздухом.

- Мама! Отец!

Деревня мертва.

И мы снова скачем, снова бегаем вокруг деревни и пускаем ракеты, одну за другой.

— Э-ге-ге-ге-ге! — кричим мы хором.

Э-ге-ге-ге-ге! — подхватывает наши голоса Сренгенге и скрывает их в своих тайниках.

— Мама-а-а-а-а! Оте-е-е-ец! Э-ге-ге-ге-ге!

И вдруг мы оказываемся в кольце. Словно из-под земли вокруг нас вырастают тысячи и тысячи каменных домов вперемежку с деревянными домишками, крытыми листьями бертама[1]. Их обитатели — светлокожие и смуглые — высыпали наружу, они таращат на нас глаза и вопят истошными голосами. Лают собаки. Лошади вскидывают головы, и тут же неизвестно откуда взявшиеся буйволы, коровы, куры и утки. Церкви выстроились бок о бок с величественными мечетями. Кабаки с батареями бутылок, куда ни глянь — машины. Несколько парочек без всякого стеснения обнимаются на ступенях церквей и мечетей, а один хаджи, видимо утомившийся во время прогулки,

---

[1] Бертам — пальма Eugeissona tristis.

отдыхает, удобно облокотившись на уличное распятие.

А ближе всех к нам невозмутимо стоит совершенно голая красотка, и по обе стороны от нее теснятся отец, мать, старший дядюшка, старшая тетушка, младший дядюшка, младшая тетушка...

— Мама-а-а-а! Оте-е-е-ец!

А кольцо медленно сжимается вокруг нас, и нам остается только крепко обняться в этот час великого испытания нашей любви...

— Папа! Дождь уже кончился.

Я повернул голову. Меньшой в своем малайском наряде совершенно бесподобен. Глазенки у него так и сияют. А дождь и в самом деле кончился, хотя вдоль палисадника еще несутся потоки воды. Я крепко стиснул руками лоб и в последний раз бросил взгляд на бумажный листок посредине стола. Холоп, подневольный холоп, и больше ничего.

Тут я вскочил со стула, быстро вошел в комнату и торопливо облачился в свой новый малайский костюм.

— Ну, вы готовы? Тогда поехали встречать праздник.

— А где мы будем встречать праздник?

— В кампунге, вместе с дедушкой и бабушкой.

И когда мы переглянулись, в глазах у каждого светилась торжествующая улыбка.

Отец и старший брат по-прежнему в ссоре. Все еще дуются друг на друга. Ни один не хочет выбросить белого флага — ни отец, ни брат. Отец-то давно известен своим крутым нравом. Мать часто рассказывала мне, каким непокладистым он был еще смолоду. Упрется на своем — ни за что не уступит, даже если сам кругом виноват. А тут уж и говорить нечего — родной сын пошел против его воли! Да отец скорей умрет, чем пойдет на мировую. И у брата характер не лучше — тоже упрямый и неуступчивый. Верно говорят старые люди: у кривого дерева и ветви кривые. Помирить двух упрямцев нелегко. А помирить моего отца и брата, наверное, труднее, чем две воюющие державы.

Я в этой ссоре занял нейтральную позицию — не поддерживаю ни того, ни другого. Потому что понять, кто прав, кто виноват, невозможно.

Если отец дома, он все время ворчит:

— Не будь таким, как твой братец. Захотел, видишь ли, жениться на белой госпоже. А та, будь она неладна, оказалась бесплодной. Теперь приютил китайчонка какого-то. Что из этого выйдет, еще неизвестно. Конечно, жениться на белой госпоже — дело завидное. Да и чин у него сейчас большой. Только кого он должен за это благодарить? Меня! Уж как только я не изворачивался: по монетке откладывал, лишь бы только выучить его. И вот поди же, вырос — и позор на мою голову. Что теперь скажут родственники? Что скажут соседи? Куда мне лицо прятать? Ведь он совсем

голову потерял. Ты смотри не вздумай поступать, как твой брат. Захочешь жениться — женись на своей, на малайке.

Мать, слыша эти слова, лишь плакала, всхлипывая украдкой. То ли ей было обидно, что у нее такой сын, то ли не хотела она быть свекровью белой госпожи — не знаю. Но в глазах у нее все время стояла безысходная печаль, а на лице как бы застыло выражение постоянной вины. Ведь брат был ее первенцем, ее гордостью.

В нашем кампунге все превозносили моих родителей за умение воспитывать детей, и сам отец нередко говаривал друзьям, что сына его ждет счастливая судьба: «Мой сын уже в десятом классе, в английской школе. Скоро кончит. Говорит, что хочет стать начальником в малайских войсках. Начальники получают там не меньше тысячи».

И мать тоже — куда бы ни заходила, каких бы гостей ни встречала, только и было разговору, что о брате: «Мы скоро переедем из этого кампунга. Сын будет работать в большом городе. И мы хотим жить вместе с ним. Хватит нам с отцом гнуть спину».

Но вышло все совсем иначе. И теперь не бывало дня, чтоб отец не ругался, а мать не плакала.

Тайком от отца я частенько ездил к брату. Недаром говорится: сколько воду ни руби — не расколешь. Так вот и меня, несмотря на все разговоры дома, тянуло к брату. А на его жизнь было приятно посмотреть. В доме полный достаток. Отец с матерью, конечно, были бы счастливы, если б жили вместе с братом. Всякий раз, когда

я приходил, он непременно заводил разговор о родителях.

— Отец все еще злится на меня? — спросил как-то брат, когда мы вдвоем ехали по городу в его машине.

— Угу, — кивнул я.

— И все из-за того, что я женился на белой?

Я снова кивнул.

— Отцу не понять, — продолжал брат. — И матери тоже. Да и вообще всем нашим родственникам. Ты вот понимаешь. Белые — такие же люди, не хуже и не лучше нас, так ведь? А мне она нравится. Я люблю ее. И женился я на ней только после того, как она приняла ислам. Что же здесь плохого? Или стыдного? Чего хочет отец? Чтобы я женился на девушке, которую он сам мне выберет? Но ведь не ему жить с ней, а я сомневаюсь, может ли быть другом жизни человек, которого не любишь? Отец не понимает, что времена изменились.

Мне оставалось лишь поддакивать. Действительно, глупо следовать старому и отжившему адату[1], разделять людей по цвету кожи! Что плохого в том, что брат женился на женщине, которую любит? Неужели мы должны слушаться тех, кто никак не может порвать со старыми обычаями? Ведь жить-то нам, а не им. И поэтому, что бы нас ни ждало, все хорошее и все плохое будет касаться только нас.

Когда такие мысли приходили мне в голову, мне хотелось поскорее вернуться в кампунг и

---

[1] Адат — обычное право у народов, исповедующих ислам.

объяснить отцу, что чувствует человек моего поколения. Хотелось сказать ему: «Отец, ведь времена меняются. Ваша молодость прошла совсем в другое время. Что плохого в женитьбе брата? Мы не должны оглядываться на других. Как бы мы ни поступали — плохо ли, хорошо ли,— это касается только нас. А людям все равно. Когда мы смеемся — они смеются тоже. Но они смеются и тогда, когда мы плачем. Не нам решать, отец, кто будет женой брата, твоей невесткой. Важно другое — как живется брату. Счастлив он со своей женой? Хорошо ли живет? Есть ли мир в их доме?.. А кто его жена, какой национальности, какого цвета кожи — об этом не стоит беспокоиться».

Но захочет ли отец внять моим словам? Ведь говорит же брат: отцу не понять. Не поймет моих доводов и мать. Да и вообще, станет ли отец меня слушать? Он ведь ничего не смыслит в современной жизни. Он считает, что в брак вступают прежде всего для того, чтобы положить начало следующему поколению. А каким оно будет — зависит от семени, как от семени зависит рассада. И отец не отступит от своего мнения, если даже сам ангел спустится с небес, чтобы убедить его в обратном. Уж это я знаю точно.

Брат с женой живут в согласии. За все время, как он вернулся из Сэндхёрста, они ни разу не ссорились, а прошло уже четыре года. Сейчас брат дослужился до капитана. Я помню, как мы всей семьей ездили провожать его, когда он уезжал в Англию. После долгих сборов отец, мать и я отправились в Куала-Лумпур. Отец тогда даже всплакнул — я сам видел. «Будь умником, сы-

нок,— говорил он, обнимая брата,— и всегда помни о боге».

Мать, конечно, лила слезы не переставая. Прощание было печальным, но я помню, что, несмотря на это, мать и отец были бесконечно горды. Успех брата был и их успехом.

Через несколько дней отец получил письмо — брат сообщал, что он благополучно доехал до места, которое называлось Итонхолл. Стоя перед отцом, я громко и старательно читал.

«Ваш сын доехал благополучно. Молю бога о вашем здоровье...»— говорилось в письме. Я заметил, что при каждом упоминании о боге отец и мать молитвенно подносили руки к лицу. Затем отец аккуратно сложил письмо и спрятал в карман рубахи.

Потом мы получили второе письмо от брата. Оно пришло из Сэндхёрста, где брат проходил обучение,— там находилась самая большая в Англии военная академия. Лица родителей прямо-таки сияли от радости. В разговоре отец то и дело поминал: вот. мол, какой у него удачливый сын. А уж мать и подавно: к кому бы из соседей она ни зашла, непременно заговорит о сыне, что уехал в далекие края.

Третье письмо брата было адресовано мне. В нем он писал о той, которая стала потом моей невесткой. История эта, писал мне брат, началась уже давно. Он просил, чтобы отцу и матери я пока ничего не говорил. Я в ту пору был уже не маленький и понимал, что такое любовь. Несмотря на просьбу брата, я все же рассказал матери о письме. Она очень расстроилась. Тяжело вздохнув

и не скрывая своего беспокойства, спросила, говорил ли я что-нибудь отцу.

— Пока нет,— сказал я.

— Ну и не надо. Не говори ему об этом,— посоветовала мать.— Ведь он, когда узнает, с ума сойдет.

Я послушался. Но отец и без меня все узнал — брат сам написал ему.

— Ну-ка, что там такое? — весело сказал отец, протягивая мне письмо. А на лице матери были написаны испуг и волнение.

Не успел я дочитать письмо до конца, как отец вырвал листок у меня из рук.

— Дай сюда! — Он разорвал письмо в мелкие клочки и бросил на землю.— Беспутный! — кричал он.— Кто позволил ему жениться на этой неверной, проклятой аллахом?

На глаза у него навернулись слезы. А мать громко запричитала. С этого дня и пошел в семье разлад. Отец больше и слышать не хотел о брате. А мать сказала мне однажды: «Напиши ему, чтобы развелся с этой женщиной. Напиши скорее — пусть разведется».

Но я не успел этого сделать, так как брат вскоре сообщил, что через неделю он с женой возвращается домой, и просил. чтобы мы встретили его на аэродроме.

Я заволновался. Что-то будет, когда брат явится к нам с женой и встретится с отцом? И как белая женщина свыкнется с обстановкой в нашем кампунге, который славился лишь своей бедностью? И потом, как отнесутся наши родственники к женитьбе брата? И вот, когда я все это представил

себе, я понял, что отец прав. «Брат думает лишь о себе самом,— решил я.— Ему безразлично, какие неприятности он доставит всей нашей семье. Все начнут сторониться нас. Никто больше не придет к нам в гости, не захочет сидеть с нами за одним столом. Все будут указывать на нас пальцем: вот люди, которые взяли в дом белую. И станем мы белыми воронами. А все из-за упрямства брата, который ни с кем не пожелал считаться. Конечно, он волен делать все, что ему угодно, но надо и о родных тоже подумать. Конечно, каждому хочется свободной жизни, но зачем же лезть на рожон? Можно же соблюдать собственные интересы так, чтобы не наносить вреда родителям, родным, соседям...»

Я встречал брата на аэродроме один. Отец с матерью наотрез отказались. Я думал, что брат поймет отношение родных к его женитьбе, пожалеет о том, что сделал, и, может быть, поспешит к отцу, чтобы попросить у него прощения. Отец его, конечно же, простит, и тогда в нашу семью снова вернется мир.

Однако все вышло совсем не так, как я предполагал. Когда я рассказал брату о реакции родителей на его женитьбу, он заявил: «Ну и пусть злятся» — и домой не поехал... Лишь через несколько месяцев я получил письмо, в котором брат писал, что уезжает работать в Ментакаб, в штат Паханг. Он писал также, что был очень расстроен, узнав, что отец с матерью не пришли встретить его.

Надеясь смягчить сердце отца, я показал ему письмо. Но это не помогло. «О том, чтобы твой

брат вернулся к нам вместе с этой женщиной, не может быть и речи,— заявил он.— Я не хочу, чтобы в моем доме жили эти люди».

С тех пор я потерял всякую надежду на примирение. Родители по-прежнему жили в кампунге, а брат с женой — в Пинанге.

Я же продолжал работать в городе. Холостяцкая жизнь, которую я вел, ничем не связывала меня. Я был свободен как птица. Но когда в семье неладно, то трудно избавиться от тягостных мыслей, особенно если участники раздора — твой отец и брат.

Отец к тому же был уже немолод. Об этом тоже надо было подумать. Почти год он ни словом не упоминал о брате. И о невестке ни разу ничего не спросил, не знал даже, как ее зовут. Я заезжал к брату несколько раз. Неожиданно пришло письмо от отца (не знаю, кто писал его), где он просил меня срочно приехать. Я немедленно отправился в путь.

— Какие вести от брата? — спросил отец вечером после ужина.

— Никаких. Я уже два месяца не писал ему.

— Тогда завтра же напишешь брату письмо, передай ему, что против его жены я ничего не имею и больше на него не сержусь... Я требую только одного — пусть он возьмет вторую жену, и на сей раз это должна быть малайка. Ведь от его нынешней, сколько ни жди, детей не будет. А я уже стар. И мать тоже, сам знаешь. Мы хотим увидеть внуков, а потом можно и умереть. Без внуков нет радости...

Больше отец ничего не сказал.

Я понял, что настроение его изменилось, и теперь для него уже не так важно, откуда родом его невестка, какой национальности, какого роду-племени, он хотел лишь одного — иметь внуков. Но жена брата не могла родить! Она была бесплодна, и не было никаких надежд, что у нее хоть когда-нибудь появятся дети. Поэтому брат должен жениться на другой. Получает он вполне достаточно, чтобы содержать и вторую жену. Пусть решится хотя бы ради отца. Может быть, тогда отцу посчастливится приласкать внуков до того, как он сойдет в могилу.

— Хорошо,— ответил я,— завтра напишу.

Назавтра письмо было готово. «Брат,— писал я,— извини за долгое молчание. Твой младший брат, отец и мать живы и здоровы. Надеемся, что вы с женой также в добром здравии. Брат! Отец вроде бы не сердится больше на тебя за твою женитьбу. Он мне сам об этом сказал. Я тоже очень рад этому. Только они с матерью сейчас очень одиноки. А уж как бы довольны они были, если бы у них был внук. Брат! Мне кажется, что отец очень хотел бы увидеть внука или внучку. Потом ему и умереть будет не страшно. И он опасается, что твоя жена так никогда и не родит. Что станет с тобой в старости, если у тебя не будет ребенка? Отец прав: жить без детей все равно, что жить сиротой. Брат! Отец просит, чтобы ты взял в жены еще одну женщину, ведь тебе это не будет в тягость. И тогда, наверное, у тебя появится ребенок. Родители были бы очень рады. Ведь им осталось недолго жить, и мы должны выполнить любую их просьбу прежде, чем они закроют глаза».

Я надеялся, что теперь придет конец раздорам в нашей семье. Брат наверняка одумается и теперь уж не откажется выполнить просьбу отца.

Ответ пришел через неделю. Брат писал, что постарается выполнить просьбу отца: он возьмет вторую жену исключительно ради него. В тот же день я отправился к отцу с матерью — сообщить им радостную весть. Никогда прежде я не видел, чтобы отец так широко улыбался. Наверное, уже вообразил себя с внуком — эдаким симпатичным бутузом. Не сходила радостная улыбка и с лица матери. Видать, им очень хотелось внучат. А я молил бога, чтобы брат взял в жены малайку и чтобы она не оказалась бесплодной.

Я ждал еще одного письма. Брат должен был сообщить имя девушки и день свадьбы. Отец, конечно, захочет отпраздновать свадьбу по малайскому обычаю: с посылкой сватов, передачей обручального кольца, с церемонией жевания бетеля, с торжественным пиршеством, троном для новобрачных и чтением корана.

Когда же я прочитал письмо брата, меня словно громом поразило. Он отказывался жениться.

«Моя жена — она теперь сестра тебе — ни в чем не виновата. Она добрая и преданная женщина, и я с ней счастлив. Зачем же терзать ни в чем не повинную душу? Скажи, пожалуйста, об этом отцу, я очень прошу простить меня. Однако ради отца и матери я взял в свою семью приемного ребенка, мать его — китаянка. Я купил мальчика за

совсем небольшую цену: сто долларов[1]. Назвал я его Хасаном. Я передам его отцу с матерью на воспитание. Они, конечно, будут рады внуку, хотя он и приемный. Сообщи мне, пожалуйста, когда родители смогут взять мальчика?»

В голове у меня помутилось. До чего же бессердечным оказался брат! У матери сердце разорвется, когда она узнает об этом. А что будет с отцом? Когда он о женитьбе узнал, и то чуть не помешался, а теперь еще весть о приемном сыне, купленном за сто долларов! Сначала я хотел было скрыть это письмо от родителей, а потом решил, что нечего заставлять отца ждать вестей о свадьбе, раз ее вообще не будет. И я рассказал родителям обо всем.

— Что? Он купил китайчонка?! — застонал отец, когда я прочитал ему письмо брата.— О великий аллах! О боже праведный! Когда же ты вразумишь моего непутевого сына?

С этими словами он повалился на кровать и зарылся лицом в подушку. Никогда я не думал, что отец может так рыдать; совсем как мальчишка, которого высекли. Мать выбежала в другую комнату, и оттуда послышались ее стенания. Бездушие брата меня возмутило. Разве так должны дети благодарить родителей? Вновь разбередил зажившую было рану.

Чуть прояснившееся небо над нашим домом вновь затянули темные тучи. Я лично не видел ничего ужасного в том, что брат взял приемыша в

---

[1] Здесь и далее речь идет о малайзийском долларе, равном приблизительно 1/3 американского.

свой дом, но родителей это совсем выбило из колеи. Я во всем винил одного брата. Уговаривать его пойти навстречу родителям больше не имело смысла. Видимо, не стоило и приглашать его приехать, чтобы обсудить все честь по чести. Ему теперь лучше совсем отделиться от нашей семьи. Пусть живет как знает. А что касается раны в сердце отца, то никто в этом мире не мог бы, наверное, вылечить ее лучше, чем я — младший сын.

В том же месяце я сказал родителям, что намерен обзавестись семьей. Они отнеслись к этому положительно. Все обдумали и без долгих разговоров проделали необходимые церемонии. Свадьбу сыграли в том же году. Отец зарезал быка. Мать взяла на себя все хлопоты по хозяйству. Оба они так и сияли, когда я сидел на брачном троне. Брата не пригласили — отец не захотел.

В том же месяце аллах благословил нас, и моя жена стала часто жаловаться на тошноту и головокружение. Еще через пару месяцев ей захотелось чего-нибудь кисленького. А через девять месяцев после свадьбы родилась девочка. Хорошо помню, как, только что обмытую, розовую, отец осторожно положил ее к себе на колени и прижался носом к ее щеке. Потом ее точно так же приласкала и мать.

Так что теперь отец с матерью не зря живут на белом свете. Во всяком случае, внучки они дождались...

КАБАН

И опять Нибонг возвращался домой без кабана с желтыми клыками. С той ночи, как на небе появились рога молодого месяца, он исходил вдоль и поперек все ближние леса, но желанной добычи так и не повстречал. Хоть бы где след попался! Ничего...

«Если не найду зверя до того, как месяц станет полным, незачем мне жить»,—думал он. А зарок нарушить нельзя: это значило бы оскорбить предков.

Как всегда Нибонг возвращался домой под вечер. Он хромал — память о шипе салака[1] длиной чуть не в три четверти дюйма, на который он на днях наступил, шип глубоко вонзился в пятку, хоть она и была твердая как камень. Привязанная к грязной и измятой, но все еще крепкой набедренной повязке, ротановая плетенка прыгала в такт шагам. Время от времени Нибонг ощупывал плетенку и кивком головы подбадривал себя: пусть кабан с желтыми клыками пока не испробовал отравленной стрелы из его сумпитана[2], но возвращался он все же не с пустыми руками. Как ни резво прыгали тупайи по веткам, им не удалось уйти от его стрел. Правда, на сей раз попалось несколько рыжих рисовых тупай, но и они сгодятся для завтрашней ранней трапезы перед походом, и

[1] Салак—тропическое дерево с большими твердыми колючками.

[2] Сумпитан—оружие аборигенов малайских джунглей, представляющее собой трубку, сделанную из полого ствола; из нее охотник «выдувает» стрелу.

мать, и братья будут довольны. Нибонг знал, что леманг[1] из тапиоки, пахнущий листьями пандануса, был редким лакомством для матери. А еще вкусней будет леманг, если в него добавить мясо тупайи, пусть даже рыжей...

Боль в ноге все еще давала себя знать. Но вот вдалеке он увидел красный отблеск костра. А это значит, что скоро станет видна и высоко стоящая на сваях хижина. Дым от медленно горящего ствола дерева мербау причудливо извивался, подобно мыслям мужчины, у которого четыре жены. Нибонг прокричал горлицей, давая знать о своем возвращении. Бертам, старший из оставшихся дома братьев, стрелой метнулся ко входу и сбросил вниз плетеную лестницу.

Лестница еще качалась, когда Нибонг не спеша стал взбираться по ней. Малыши — его братья — выглядывали сверху, сейчас они чем-то напоминали ему обезьян.

— Есть? — спросила мать, остервенело расчесывая кожу на животе, обожженном листьями джелатанга[2].

Нибонг ответил не сразу. Наклонив голову, он, казалось, считал кольца-утолщения бамбуковых жердей, из которых был сделан пол ветхой хижины. Потом осторожно поставил в угол гладкий и ровный девятифутовый сумпитан, просунув его в щель между пальмовыми листьями, из которых

---

[1] Леманг — кушанье, приготовляемое на молоке кокосового ореха в стволе молодого бамбука, выложенного изнутри листьями растений.

[2] Джелатанг — тропическое дерево со жгучими листьями.

была сделана крыша. Закрепил в развилке углового стояка колчан со стрелами и, отстегнув плетенку с тупайей, швырнул ее Бертаму, который ловко поймал плетенку на лету. Клуби, другой брат, наблюдавший все это, радостно заулыбался, показав ряд ослепительно белых зубов. Внимательно следила за каждым движением Нибонга и мать. Когда он вновь затянул набедренную повязку, она повторила свой вопрос:

— Есть?

Отвечать Нибонгу не хотелось, и он лишь покачал головой.

— А я тебе с самого начала говорила,— проворчала мать, не дождавшись ответа на свой вопрос.— С самого начала говорила тебе, но ты меня не послушал. Смотри, скоро уже полнолуние, а никакого кабана с желтыми клыками и в помине нет. А раз нет кабана — нечего и мечтать о свадьбе с Джагонгой, ведь она дочь вождя темиаров, который живет в настоящем доме.

Нибонг в ярости ухватился за одну из бамбуковых жердей пола и сжал ее так, будто хотел задушить какое-то живое существо.

«Мать верно говорит,— подумал он.— Но где же взять этого проклятого кабана? Может быть, и в джунглях по ту сторону горы его нет? И почему это у темиаров положено именно такое свадебное подношение?»

— Почему это, мать? — вырвалось у него.

— Что почему?

— Почему именно кабана надо преподнести темиарам к свадьбе, если кто-то из наших, из негрито, захочет жениться на их девушке?

Ничего не ответив, мать вновь принялась почесываться.

— А, мать, почему?

Но мать словно онемела.

— А если захочет жениться кто-нибудь из племени кинтак?

Мать кивнула, не прекращая своего занятия.

— А из джахайцев?

Мать опять кивнула.

— А из мендрегов?

— Все равно. И кинтаки, и джахайцы, и мендреги, и даже кенсю. Чтобы получить девушку-темиарку, надо сначала убить кабана с желтыми клыками. Не убьешь — не отдадут тебе девушку. А ты и вовсе вздумал жениться на Джагонге — дочери Паласа, который не один раз спускался даже вниз по реке — продавать ротан на большом базаре.

— Но ведь...

— Вот тебе и «но», — проворчала мать. — Незачем больше встречаться с Джагонгой. Мало тебе девушек из нашего племени? Чем плоха Манггис, дочь Ток Пинанга, или Тебу, дочь Ток Пуйю, или Сирих, дочь...

Нибонг не стал дожидаться, пока мать прекратит свою воркотню. Он сбросил лестницу и, едва дождавшись, когда она, качаясь, коснулась земли, спустился. Над костром поднимался дым, Нибонг уселся поближе к огню. Стало жарко. Вокруг все постепенно тонуло в ночи.

«Мать с самого начала не соглашалась, — сверлила мозг Нибонга одна и та же мысль. — И вовсе не потому, что трудно достать кабана. Дело в другом — она против того, чтобы родниться с

чужаками, особенно с темиарами. Да ведь и не только одна она — всем нашим это не по душе. Не хотят пускать в свои семьи чужаков... А мне наплевать на это! Наплевать, что бы ни случилось. Ведь темиары, как и мы, живут в джунглях. А обитатели джунглей во всем равны... Придется идти против матери... Но Джагонгу я получу! Буду искать кабана, пока не найду. Завтра с зарей пойду опять. Все джунгли обшарю, как бы ни болела нога. Надо поискать в джунглях по ту сторону горы».

Нибонг отошел от костра и осторожно полез наверх. Ухватившись за бамбуковую жердину, служившую порогом, он заглянул в хижину. Братья уже спали, широко разметавшись во сне. Мать трудилась у очага, обжаривая мясо рыжей тупайи. Семь бамбуковых сосудов для леманга стояли у огня.

Нибонг ступил на пол хижины. Мать обернулась, но ничего не сказала. Рука ее опять заплясала, нарезая кусками мясо.

Уже закрывая глаза, Нибонг сказал — и голос его разорвал тишину:

— Завтра пойду опять.

Старуха перестала двигаться и долгим взглядом посмотрела на сына. Перед ее глазами встал вдруг образ мужа. Он был храбрым человеком и погиб в схватке с тигрицей — она раскроила ему череп, защищая своего детеныша. Мать помнила, что как раз тогда она носила под сердцем Нибонга...

Мать оставила нож, которым резала мясо, медленно приблизилась к сыну и положила руку ему на лоб. Нибонг открыл глаза и сел. Их взгляды

встретились. Мать поняла: сердце Нибонга твердо как камень — дальше уговаривать его бесполезно. Завтра только нужно будет молить бога, чтобы сын вернулся с добычей.

— Завтра, мама, пойду опять, — тихо прозвучал в темноте голос Нибонга, — и к ночи, наверное, не вернусь. Надо поискать в джунглях за горой.

У матери язык будто присох к гортани. Несколько слезинок упало на лицо Нибонга, но слова не шли... В джунглях по ту сторону горы как раз и настигла тигрица отца Нибонга...

— Когда же ты вернешься? — наконец спросила она каким-то чужим, хриплым голосом.

— Когда добуду кабана с желтыми клыками.

— Когда добудешь кабана?! Но ведь...

— Что «но ведь», мама?

Мать ответила не сразу. Она хотела напомнить, что в джунглях за горой звери часто нападают на человека. Хотела открыть сыну тайну — почему у него нет отца. Хотела отговорить его. Но язык не слушался ее. И вместо этого она сказала:

— Но ведь ты еще не сварил зелье?..

— Сварил, мать.

— И сумпитан тебе нужен новый.

— Этот еще годится.

— И ты пока еще хромаешь...

Нибонг не ответил и опять лег, закрыв глаза.

Непробудным сном спали младшие ребята. Только матери не спалось. Она погладила Нибонга по голове; потом тихонько легла рядышком. Пахнувший смолой дерева мербау дым костра время от времени попадал в хижину, проникая через щели в полу. Мать шептала про себя: «Ну что же! Завтра

приготовлю тебе на дорогу пять руасов[1] с лемангом», и слезы ползли по ее щекам...

Ночь овладела миром...

Едва утренняя заря окрасила небо, Нибонг был уже на ногах. Однако снаряжение на сей раз у него было необычное и готовилось долго. К набедренной повязке Нибонг прикрепил бамбуковый колчан с пятьюдесятью стрелами, пропитанными ядом. Пять руасов с лемангом он уложил в плетенку из коры лозняка так, чтобы на спине слева и справа была одинаковая тяжесть. Несколько раз Нибонг направлял свой сумпитан на вершину дерева и прицеливался, как бы проверяя глазомер. Младшие братья сидели словно пришитые к полу и, восторженно тараща глазенки, следили за тщательными приготовлениями старшего. Мать тоже наблюдала за своим первенцем, беззвучно шевеля губами и временами роняя слезинки на пол. Все молчали.

Когда Нибонг стал отвязывать лестницу, мать подошла к нему и положила руку ему на плечо. Он обернулся, увидел ее глаза и неожиданно для самого себя, обняв мать, заплакал вместе с нею. Расставаться было тяжело, но даже в этот момент Нибонг не мог забыть о далекой и желанной Джагонге. Он выпустил мать из объятий и потянулся за сумпитаном. Потом посмотрел на братишек, которые все еще сидели не двигаясь, и стал спускаться. На середине лестницы он остановился и еще раз взглянул вверх, откуда на него были устремлены три пары глаз.

---

[1] Руас — бамбуковый сосуд.

Костер на земле продолжал лениво гореть, и Нибонг подумал, что головешки еще не успеют превратиться в пепел, когда он вернется домой. Вернется с победой. Притащит на спине кабана.

С этими же мыслями он вошел в чащу. Под ногами было еще сыро. Позади остались мать и братья, хижина с висячей лестницей и неярко горевший костер.

Идти по чащобе одному было очень тоскливо. Но Нибонгу не в первый раз доводилось охотиться в одиночку, и он, прихрамывая, упорно шагал вперед и вперед. Он знал, что лишь тогда сможет жить спокойно, когда выследит и убьет кабана.

«В джунгли за горой я должен прийти до темноты»,— прикидывал он. Несколько раз он вздрагивал и останавливался, когда ветер доносил до него хруст упавшей ветки. Но воспоминания о красавице Джагонге в узкой набедренной повязке снова гнали его вперед: «В джунгли за горой я должен прийти до темноты...»

Когда подкрались и незаметно сгустились сумерки, Нибонгу пришлось улечься спать прямо в лесу, крышей было черное небо. Несколько раз он вскакивал и прислушивался в ночи, но тишина была такая, что у него сердце сжималось от тоски, и он опять ложился. Перед глазами его проходили картины: мать выглядывает из хижины, услышав крик горлицы; братья пристают к ней с расспросами; внизу, возле хижины, дымится негаснущий костер. На душе у Нибонга было неспокойно. А что, если ему не повезет не только завтра, но и послезавтра? Если вся неделя окажется невезучей? Ведь мать и ребята остались совсем одни. И в

сердце Нибонга шевельнулась тревога... Но как это случалось и раньше, и на сей раз победила любовь к Джагонге.

«Я непременно убью кабана! Взвалю тушу на плечи и поскорей домой. Там, у хижины, я сброшу его прямо на угли костра, красные, как семена дерева саго...» — Тут мысли Нибонга утонули в каком-то тумане. Ночь потихоньку отступала, занималось утро.

За весь следующий день — он пробродил в джунглях от зари до сумерек — следов кабана Нибонг так и не обнаружил. Даже малейшего намека на присутствие зверя не было. После того как Нибонг провел в джунглях еще одну ночь и холодный туман пробрал его до костей, чувства его и мысли стали раздваиваться. Яд, которым были пропитаны наконечники стрел, просочился сквозь дно колчана и стал капать... Леманг кончился... Лишь воспоминания о любимой Джагонге оставались по-прежнему ясными и цепко держали его в своей власти.

«Ну, завтра-то мне все-таки должен попасться кабаний след,— думал Нибонг,— и я пойду по нему, хотя бы мне пришлось карабкаться по крутым горам и острым скалам».

Но и завтра было все то же. Неудача неотступно шла рядом. За весь день — никаких следов зверя. Наступил новый день, но и он не принес ничего нового. Злой рок преследовал его.

Уже пять дней и пять ночей Нибонг шел через джунгли. Подошвы ног ныли все сильнее. Мысли о матери с братьями боролись с воспоминаниями о Джагонге.

«Джагонга будет моей, но для этого непременно нужен кабан... А что сейчас с матерью? Наверное, все прислушивается, не прокричит ли где-нибудь горлица... И как-то там братья? Небось ждут не дождутся чтобы спустить мне лестницу... Но только нет, не вернусь я без добычи. Мне нужна Джагонга. Я готов на все, лишь бы она стала моей женой!»

Вдруг что-то словно перевернулось в Нибонге, и он в ярости плюнул. Слюна была липкая и вязкая, как глина — во рту уже давно не было ни капли воды. «Нет! Я должен вернуться, чтобы увидеть мать и братьев! Чтобы увидеть горящий костер, свою хижину с веревочной лестницей! — И он снова плюнул.— Ведь Манггис не хуже, и Тебу, и Сирих тоже. Негрито вообще не хуже других. И девушку из своего племени легче взять в дом. Не нужно гоняться за этим проклятым кабаном с желтыми клыками!»

Мысли Нибонга смешались. Он стоял в нерешительности, а потом вдруг словно взбесившись переломил о колено сумпитан и зашвырнул обломки в лесные заросли. Он отвязал от набедренной повязки колчан и сделал с ним то же самое. Потом бросился к ближайшему дереву, отломил сук и стал как сумасшедший яростно рубить им воздух. Затем отбросил и этот сук. Нибонг решительно направился в ту сторону, откуда пришел,— к хижине, где остались мать, братья и где горел костер.

Вернулся он, когда солнце уже задевало за макушки деревьев. Крикнул горлицей, еще не видя хижины. А вот и она. Возвышается, как

гнездо гаруды[1]. Нибонг еще раз издал крик, но Бертам не спешил ему навстречу. Не показывалась и обезьянья мордочка младшего брата, Клуби. Лестница почему-то свисала до земли. Лежавший в костре ствол мербау по-прежнему дымился. Однако странная тишина стояла вокруг. Нибонг опять прокричал горлицей. Еще и еще раз. Никакого ответа — лишь жуткая тишина...

— Мать! Бертам! Клуби!

Тишина.

Нибонг схватился за слегка качавшуюся от ветра лестницу и хотел взобраться наверх. Но тут взгляд его упал на покрытую сыпью руку, которая торчала из кустов.

Одним прыжком он очутился возле кустов и увидел, что это была оторванная рука матери.

— Мать! — завопил он в отчаянии и стал дико озираться вокруг.

На залитых кровью пальмовых листьях лежал лицом вверх брат. Один бок у него был разодран, и видна была страшная рана. Сам не зная зачем, Нибонг схватил окровавленную руку матери и, не отпуская ее, подскочил к брату.

— Бертам! Клуби! — вновь разорвали тишину вопли Нибонга. Глаза его, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Он все смотрел вокруг, но нигде не было видно тела матери — ни головы, ни ног...

Вдруг невдалеке хрустнула ветка. Кто-то осторожно пробирался сквозь кусты. Кровь останови-

---

[1] Гаруда — мифическая птица, на которой, согласно древнеиндийским представлениям, ездил бог Вишну; в малайском фольклоре — исполинские свирепые птицы.

лась в жилах Нибонга. Он поднял голову и стал всматриваться в чащу. Стоп! В двадцати шагах от него из зарослей торчали желтые клыки и рыло, покрытое красной пеной. Так это он, кабан!

Кабан рыл землю, чутко насторожив уши. Машинально сунув под мышку оторванную руку матери, Нибонг медленно попятился назад. Ноги дрожали и плохо слушались его. Но он все продолжал пятиться. Вот и ограда. Нибонг выдернул тяжелый заостренный кол. Поднял его над головой, застыв на мгновенье в позе копьеметателя. И метнул! Кол просвистел в воздухе и врезался во что-то мягкое. Кабан повалился на бок и, визжа, задергался в судорогах. И вот уже все четыре ноги зверя мелко задрожали, и он стих.

Вокруг опять воцарилась мертвая тишина. Теперь ее уже никогда не разбудят голоса матери или братьев...

Нибонг медленно подошел к туше. Выдернул кол, угодивший прямо между страшных желтых клыков, пнул мертвого зверя и подволок его к медленно горевшему костру.

«Завтра оттащу тебя в дом Джагонги»,— беззвучно шептали его губы...



Анис Сабирин



САПОЖНИК А МЕН

А Мен появлялся каждое утро в восемь со своей холщовой сумкой, где лежал весь его сапожный инвентарь: молоток, гвозди, кусочки кожи и резины. А Мену уже за пятьдесят, он седой и тщедушный, а кожа желтая, темная, выжженная горячим солнцем. По выражению его лица можно понять, что человек он ровный и терпеливый. Движения А Мена, когда он достает и раскладывает по порядку свой инструмент, неторопливы и спокойны, он как бы говорит всем своим видом: у жизни свои законы и брюзжание и спешка ни к чему хорошему не приведут. Обувь, предназначенную для починки, он аккуратно раскладывал на ящике, стараясь сэкономить место, так как поверхность ящика не превышает пяти квадратных футов. А Мен примостился на уголке тротуара возле кофейни А Лима в расчете на то, что ее посетители, проходя мимо сапожника, вспомнят про свою обувь и, может,

захотят ее починить. «Чем платить за лицензию, лучше отдавать деньги хозяину кофейни»,— решил А Мен, так как ко всем своим достоинствам был еще и человеком рассудительным. С малых лет его учили покоряться всемогущему Тайбо-гуну[1], который мог послать людям и большие доходы, и страшные убытки, они же не могли ничего другого, как только молиться да курить ему фимиам.

Утром, как обычно, А Мен вытащил из сумки инструмент и сел, скрестив ноги. А Мен не любил тратить время попусту. Быстрей начнешь — быстрей закончишь. Правая рука его потянулась за молотком и гвоздями, а левая стала перебирать обувь, которую он наметил сегодня починить. Солнце поднималось тусклое и горячее и рассыпало свои лучи по улицам, запруженным машинами и кишевшим людьми, как муравьями. А Мен был рад этой суете и толчее.

С детства он привык находиться среди множества людей, которые двигались и шумели, вот так же, как эти. Со дня своего рождения до четырнадцати лет А Мен жил с матерью в Чайна-тауне[2], где они снимали комнату вместе с пятью другими китайскими семьями. В этой комнате (три на четыре ярда), расположенной над маленькой частной лавчонкой, ютились двадцать душ, и у каждого был свой хитроумный способ добывать

---

[1] Тайбо-гун — самое популярное среди малайзийских китайцев божество; считается покровителем первопроходцев.

[2] Чайна-таун — китайский район Куала-Лумпура.

хлеб насущный. Отец А Мена умер давно, когда малышу исполнился год. Братьев и сестер у него не было. Правда, ходили слухи, будто у него есть две старшие сестры, но они давным-давно были отданы каким-то малайцам за небольшую цену. Так и остались они с матерью вдвоем. Кормились тем, что мать перепродавала на рынке овощи, купленные по дешевой цене или подобранные за уличными торговцами. В целях экономии они ели не вареный крутой рис, а жидкую рисовую кашу. А Мену было всего пять лет, когда он научился торговать. Мать вручила ему «капитал» — пять долларов. На эти деньги он купил спичек и сигарет по дешевке, смастерил деревянный лоток и целыми днями бегал по улицам, предлагая прохожим свой немудреный товар. А так как А Мен оказался расторопным малым, то к вечеру у него в кармане была приличная выручка.

А Мен хорошо помнил свою мать — худую, высохшую, рано постаревшую. Она постоянно кашляла, особенно по ночам, когда все население ночлежки сладко похрапывало. Кашель усиливался, и тогда А Мен торопливо зажигал свечу и пододвигал матери плевательницу. Больная женщина со стоном сплевывала красную жижу. А мальчик вставал и приносил ей красненькие таблетки, купленные в аптеке, и стакан холодной кипяченой воды — только тогда ее переставал мучить кашель. Все это ничуть не нарушало сладкого сна других обитателей ночлежки: здесь по крайней мере еще шестеро страдали такими же приступами кашля и харкали кровью. Болезнь эта была здесь

настолько обычным явлением, что никто не обращал на нее внимания, да и А Мен тоже не тревожился за мать.

А Мен с детства привык быть благодарным за все, что давалось свыше Тайбо-гуном. Его мать была очень набожна, и каждый праздник они ходили вдвоем молиться, делали подношения богу, жгли ладан в его честь. Мать поучала мальчика: если он будет прилежно молиться, ходить в храм и жечь ладан по праздникам, Тайбо-гун пошлет ему удачу. И А Мен верил ей. Мальчишка торговал сигаретами и молил бога, чтобы люди покупали его товар. И бог, казалось, услышал его молитвы: торговля шла бойко. Каждый вечер А Мен возвращался домой смертельно усталый, но довольный и, торопливо перекусив чего-нибудь, засыпал. А потом начинался новый день, полный беготни, криков, просьб и приставаний к прохожим. Он имел ни малейшего понятия о школе. Как и всем его сверстникам, ему приходилось самому зарабатывать на жизнь. Одни помогали отцу с матерью, торгуя в разнос овощами и фруктами, другие пристраивались мыть чужие автомобили, третьи же наловчились обчищать карманы зазевавшихся прохожих.

Привыкший к атмосфере толпы, насыщенной горячим дыханием и криками, А Мен уже не мог обходиться без толпы. Поэтому-то он так радовался, глядя на проходивших мимо людей. Счастливая улыбка сияла на его лице, и улыбался он вовсе не для того, чтобы привлечь клиентов, а просто ему было весело глядеть на таких же, как он сам, людей, зависящих от всесильного Тайбо-гуна. Он

думал: на этой неделе нужно сходить в храм, отблагодарить бога за то, что он подарил ему долгие годы, здоровое тело, двух, теперь уже взрослых, сыновей, которые содержат магазинчик на Виктория-стрит.

Первой парой, которой сегодня занялся А Мен, были красивые изящные туфли на высоком каблуке — «Italian shoes», как называют их европейцы. А Мен знал, что такие туфли стоят не меньше тридцати долларов, очевидно, они принадлежат женщине маленькой и изящной. И в самом деле, их хозяйка была небольшого роста, стройная и тонкая, с овальным личиком, маленьким прямым носом и золотистыми волосами.

Да, А Мен запомнил эту госпожу. Она приходила к нему уже четыре раза. Первый раз это было примерно месяц тому назад. А Мен как раз трудился над парой черных мужских ботинок, когда большая голубая машина остановилась у кофейни А Лима. Проницательный взгляд сапожника сразу отметил лицо мужчины, сидящего за рулем. Это был англичанин с вьющимися желтого цвета волосами и красноватой кожей. Из машины выпорхнула красивая китаянка, маленькая, с точеной фигуркой, в платье из голубого шелка. В руках женщина держала коробку с туфлями. Подойдя к А Мену, она показала стоптанный каблук и приятным, нежным голосом попросила починить его. Должно быть, она из народности тайчу, подумал А Мен; сам он принадлежал к народности кек. А Мен уже научился понемногу разбирать английский. Он кивнул и коротко ответил: «Два доллара».

Женщина улыбнулась и тоже кивнула в знак согласия. Денежные люди никогда не торгуются. Из продолговатой черной сумочки, которую она держала в руке, красивая госпожа вынула два доллара и сказала, что зайдет через два дня. А Мен опять закивал. Женщина уже шла к машине. Ожидавший ее англичанин предупредительно распахнул дверцу. Машина заурчала и исчезла.

Рядом с мужскими огромными и грубыми ботинками туфли на высоком остром каблучке выглядели еще красивее и изящней. Они выигрывали и в сравнении с туфлями на низком каблуке, принадлежавшими другой китаянке, по всей видимости метиске,— эта, судя по всему, не купалась в роскоши. Она ходила в вышитой кофточке-кебайе и батиковом саронге [1], а деревянные сандалии на ней и туфли, отданные в починку, были из недорогих.

Разглядывая туфли красивой госпожи, А Мен вдруг вспомнил мать, которая тоже была маленькой и худенькой. Но его мать никогда не носила таких дорогих шелковых платьев. На ней всегда был шаньку [2] из грубой черной или темно-синей материи — как говорила она сама: грязь меньше видна. Вспомнил А Мен и обувь, которую носила мать,— самая дешевая, простые деревянные сандалии. Затем его мысли перекинулись на машину, в которой приезжала красавица с мужем. Ни разу в жизни ему не приходилось кататься на такой. Эти

---

[1] Саронг — малайская одежда; сшитый в виде широкой и длинной юбки кусок ткани, обертываемый вокруг бедер.

[2] Шаньку — одежда китайской женщины: кофта с глухим воротом и брюки.

машины созданы для богатеев, а такие, как он, могут лишь любоваться ими издали.

Спустя два дня красавица приехала вновь. Она улыбнулась, видимо довольная работой, и между алыми губами показались ровные белые зубы. Поблагодарив сапожника, она села в машину, и, смеясь от удовольствия, стала что-то говорить своему спутнику, показывая туфли, и тот тоже смеялся вместе с ней. Машина уехала, А Мен увидел только, как мелькнуло красное блестящее платье рядом с мужской рубашкой, желтой, словно яичный желток.

«Этот белый господин, должно быть, муж красавицы,— подумал А Мен,— и, уж конечно, человек с положением и при деньгах». Он подумал так, потому что заметил на среднем пальце красавицы сверкающий бриллиант в золотой оправе, а на шее у нее — тонкую золотую цепочку. Тут А Мен вспомнил свою жену. Тридцать лет назад, когда они только что поженились, А Мэй высказала свое заветное желание — скопить денег на золотой браслет, ожерелье и бриллиантовое кольцо. Она работала прачкой в доме богатого индийца, и как-то однажды она с завистью рассказала ему, что ее хозяйка носит несколько золотых браслетов, на четырех пальцах ее сверкают бриллианты, а на шее красуется золотой медальон. А Мен не разделял восторгов и мечтаний жены. Какой прок от золота и драгоценных камней на шее? Блажь! Лучше купить на эти деньги дом или землю. Однако А Мэй оказалась непреклонной. Сначала она тайком откладывала часть своего жалованья, потом решила бросить поденную работу и попы-

тать счастья в торговле. Всевышний благоволил к ней. Теперь у нее уже была небольшая лавка, где она торговала кухонной утварью и все теми же спичками и сигаретами — товаром, с которого начинал в свое время А Мен. Каждый год А Мэй рожала детей, и сейчас, после тридцати лет супружеской жизни, у них было девять детей (трое умерли в детстве). Четверо дочерей уже замужем, обзавелись детьми, они навещали отца с матерью лишь по большим праздникам, и А Мен уже сбился со счета, сколько же у него внуков.

Его сыновья тоже жили самостоятельной жизнью и вели дела в собственных лавках. И А Мен вернулся к любимому делу — стал сапожничать на больших улицах, наблюдал людей, рассуждал сам с собою об их жизни. А Мэй же добилась своего — у нее в столе, крепко запертые на ключ, хранились три бриллиантовых кольца, два кулона в золотой оправе, двенадцать золотых браслетов и три пары сережек, тоже с бриллиантами. Изо дня в день она все прилежнее молилась Тайбо-гуну, который так щедро дарил ей свои милости. Особенно усердствовала она в те дни, когда все благочестивые поклонники Тайбо-гуна приходили в храм воздать ему почести. А Мэй надевала свое золото, и они всей семьей отправлялись в храм. С гордым видом проплывала она между другими женщинами, и те с завистью смотрели на ее украшения.

А Мен решил, что его клиентка — хорошая женщина, судя по всему, она богата и образованна, а тот англичанин, по всей видимости, ее муж. Через две недели голубой автомобиль опять оста-

новился у тротуара, где работал А Мен. Теперь они — красивая госпожа и ее муж — вышли вместе. На этот раз госпожа не разговаривала, а ее спутник только показал обувь, справился о цене и заплатил требуемую сумму. Улыбаясь и кивая головой, А Мен проводил взглядом голубую машину, пока она не скрылась из глаз. Он был страшно доволен, что к его услугам обращались не только такие, как и он сам, бедняки, которые вечно торговались, но и солидные, состоятельные клиенты. Владельцы кофейни и индийской лавочки, расположенной по соседству, все глаза, верно, проглядели, рассматривая богатых клиентов А Мена.И конечно же, завидовали его удаче. Молодая пара, видимо, и в самом деле привлекала внимание владельца кофейни. В тот же вечер, когда людей в кофейне поубавилось, А Лим с важным видом вышел к сапожнику, держа в руках китайскую газету, которую ему ежедневно доставляли.

— А Мен,— окликнул он сапожника,— взгляни-ка на эти фотографии.

А Мен положил на землю туфли, которые чистил. Глаза его скользнули по фотографиям. На одной была изображена красивая женщина — та самая, что приезжала сюда, а рядом с ней — фотография двух англичан, мужчины и женщины, очевидно супругов. Мужчина был спутник красивой госпожи. Его клиенты попали в газету! А Мен не умел читать, и А Лим прочитал ему, что было написано в газете. Оказалось, что миссис Робертсон — жена этого англичанина, мистера Робертсона,— обвиняла его в неверности, в том, что он

оставил ее с двумя детьми и сожительствует с какой-то китаянкой. Миссис Робертсон требовала денежной компенсации, а мистер Робертсон в свою очередь настаивал на том, чтобы им выдали разрешение на раздельное жительство, так как католическая религия не признает развода. По словам миссис Робертсон, муж поставил ее в известность обо всем и заявил, что ему дела нет до того, разрешат им пожениться или нет. А Мен был поражен, услышав все это.

А Лим ушел, оставив сапожника, который все качал головой, словно не одобряя поведения современных молодых людей, а потом снова принялся начищать мужские коричневые ботинки, все так же качая головой. А что, если и ему оставить свою старую, морщинистую жену, которая давно уже не вызывала в нем никаких чувств, и найти себе молоденькую девушку? А Мен знал немало мужчин его возраста, которые содержали женщин, и при этом их жены даже ни о чем не догадывались. Те же, у кого не было содержанки, по вечерам посещали дома терпимости, где измотанные работой и поисками денег люди могли отвлечься от дневных забот. «Если подобные вещи позволяют себе даже люди с положением, почему же мне нельзя?» — спрашивал себя А Мен. А Мэй постарела, растолстела, тело ее стало дряблым, подбородок заплыл, шея в складках. Она уже нисколечко не возбуждала его. А к тому же еще она без конца ругалась, целыми днями валялась на кровати и не переставая курила так, что от табачного дыма у А Мена начинала болеть голова. Ночью А Мен старался лечь подальше от жены и

повернуться к ней спиной, чтобы не видеть жирной туши, которая напоминала ему сытую свинью. К тому же его мутило от запаха дыма, который исходил от этого тела.

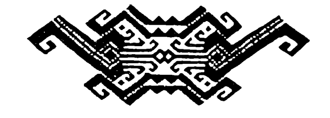
Внезапно А Мен рассмеялся. Стоит ли утруждать себя поисками молодой жены и выбрасывать деньги на ветер? Деньги рано или поздно кончатся, желание останется. А если узнает А Мэй, дома разразится настоящая война. К тому же А Мен уже стар, начал прихварывать, а молодым бабам быстро надоедают слабосильные мужчины, и они ищут удовольствий с другими. Как бы то ни было, он быстро отказался от заманчивой идеи. Не такой он дурак, чтобы обременять себя поисками другой жены! Ему и так неплохо.

А Мен потянулся за туфлями красивой госпожи. Стуча молотком по каблуку, принялся насвистывать какой-то веселый мотивчик, потом широко улыбнулся, вспомнив, как отважился в первый раз заглянуть в веселое заведение. Однажды вечером он отправился туда с двумя или тремя молодыми людьми — в то время ему шел только двадцать шестой год и А Мэй была очередной раз беременна. Они весело провели время в дешевом ресторанчике, попивая пиво, смеялись и шутили с молодыми официантками. Впервые тогда А Мен осмелился прикоснуться к телу молоденькой девушки, специально обученной «красть» любовь у мужчин. В ту ночь А Мен вернулся домой поздно. Сказал, что задержался с друзьями — обсуждали дела. Он не мог сомкнуть глаз: так взбудоражили его изощренные любовные игры и ощущения, которых он никогда прежде не испытывал.

А Мен снова улыбнулся. Тот вечер был лишь началом, за ним последовало много других вечеров. Нет, не будет он искать себе другую жену. Пусть все остается по-прежнему. Дома его всегда будут ждать дети и верная жена, а в воскресный вечер — много красивых женщин. И А Мен продолжал работать.



Алиас Али



СВЕТ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ

— Ну как же, староста, тут не обидеться,— говорил Дато Хамид. Ко мне — и вдруг такое отношение! Коснись это дело вас, вы тоже обиделись бы.

Староста Касим закивал головой. Лицо его выражало сочувствие.

— Подумать только,— продолжал Хамид,— как эти люди обращаются со мной! Ведь я почти сорок лет отдал своему султанату. Найдется ли кто-нибудь из известных вам людей, кто имел бы перед султанатом такие заслуги?

Мировой судья, кавалер ордена «За верную службу», Дато Хамид снял очки и откинулся на мягкую, обтянутую серой тканью спинку большого старинного кресла. Затем осторожно положил очки в тонкой золотой оправе на стоявшее справа серебряное блюдо, украшенное тонкой резьбой, и остановил долгий взгляд на большом портрете,

висевшем на стене прямо перед ним. Сейчас, без очков, он видел на нем лишь смутные очертания двух фигур. Но портрет был хорошо знаком ему, ибо на нем был изображен он, Дато Хамид, рядом с самим мистером Уильямом Джонсгрэйвом.

Он прекрасно помнил, что сфотографировались они незадолго до получения Малайей независимости,— независимости, которая внесла такие большие изменения в жизнь государства. В штатах ликвидировались службы английских советников, и мистер Джонсгрэйв должен был возвратиться в Англию. Вот тогда-то на память об их более чем двадцатилетней дружбе Джонсгрэйв и предложил Дато Хамиду сфотографироваться вместе.

Дато Хамид помнит, что Джонсгрэйв был одет в парадную форму. На нем была высокая белая треуголка с султанчиком из белых перьев. На груди сверкали ордена и медали, полученные за долгие годы работы в британской колониальной службе. На левом бедре, почти доставая до пола, висела шпага. Дато Хамид стоял справа от Джонсгрэйва, тоже при всех орденах и медалях, одетый, согласно древней малайской традиции, в расшитую золотом рубашку и такие же штаны, перетянутые широким поясом. Головной платок, завязанный по-малайски, венчал его голову, за поясом торчал крис, эфес которого выглядывал сбоку.

Этот портрет Дато Хамид очень любил. Он поместил его в резную золоченую раму и повесил на самом видном месте. И каждый раз, когда он смотрел на этот портрет, его охватывала грусть.

Было грустно оттого, что миновали времена его блеска и славы, канули в прошлое, захлестнутые волной тех безжалостных перемен, которые принесла с собой независимость.

Дато Хамид заставил себя улыбнуться. Но улыбка получилась горькой.

— Если бы сейчас тут был мистер Джонсгрэйв...— задумчиво проговорил он.

— Если бы мистер Джонсгрэйв был тут, конечно, все было бы по-иному,— поспешил отозваться староста Касим.

— Да. Разумеется.

Ах, если бы Джонсгрэйв по-прежнему оставался английским советником в их штате! Дато Хамид мог бы обратиться прямо к нему. И без обиняков попросить, чтобы его сына взяли на службу в управление штатом. Ведь Джонсгрэйв сам когда-то хлопотал о том, чтобы Асмана отправили в Англию для изучения юриспруденции. И сам дал указание о предоставлении Асману стипендии из фондов султаната. Помнится, многие тогда были недовольны этим — ведь Асман, сын Хамида, не так уж блестяще окончил школу, чтобы получить право на стипендию султаната. Были более способные и усердные молодые люди, но разве кто-нибудь осмелился бы оспаривать решение английского советника?

В Англии Асман экзаменов не сдал и вернулся без диплома магистра. Но если бы сейчас здесь был Джонсгрэйв, это обстоятельство не имело бы никакого значения. Происхождение Асмана, его родословная уже сами по себе были дипломом, открывающим ему дорогу для поступления на

государственную службу. Джонсгрэйв, конечно, мог воспользоваться своей властью и потеснить других кандидатов — даже если они и обладали всеми необходимыми для должности чиновника качествами... Кто бы осмелился оспаривать решение английского советника?!

Дато Хамид потер глаза. Потускневшие, лишенные прежнего молодого блеска, они хмуро глядели из-под густых, но уже белесых ресниц. Под резко выступающим вперед подбородком висели жирные складки. Дато Хамид запустил пальцы в редкие седые волосы и поскреб в голове. Потом, взяв с серебряного блюда очки, снова водрузил их на свой толстый угреватый нос, торчащий между обвислыми морщинистыми щеками, и испустил долгий горестный вздох.

Из дверей кухни показался слуга с двумя чашечками кофе на подносе. Выражая всем своим видом глубочайшую почтительность, он приблизился к Дато Хамиду и старосте, переставил чашечки с кофе на большой блестящий медный поднос, а потом, низко поклонившись и не разгибая спины, вышел без единого слова.

— Угощайтесь, староста,— сказал Дато Хамид.

— Да, да,— отозвался тот, но к кофе не притронулся.

Староста видел, что сам хозяин словно не замечает поставленного перед ним кофе. Вот он протянул руку через столик, достал резную серебряную шкатулку и, открыв ее, предложил старосте сигары. Тот помедлил немного в нерешительности, но затем взял одну. Дато Хамид тоже взял сигару и

некоторое время задумчиво глядел на шкатулку; потом закрыл ее, поставил на место, предложил огонь старосте и закурил сам. Сделав несколько затяжек, он взял кофе.

— Пейте, староста,— сказал он,— прошу вас,— и сам отпил глоток. Только тогда Касим осмелился взять кофе.

— Знаете, в чем наша, малайцев, самая большая ошибка? — обратился Дато Хамид к Касиму, ставя на столик свою чашечку. И сам же ответил: — Слишком скоро у нас забывают чужие заслуги. Заслуги таких стариков, как я, теперь никого не волнуют.

— Верно вы говорите, Дато. Наши считают, что теперь они своим умом проживут. С той поры, как получили власть, не желают больше советоваться со старыми и опытными людьми, такими, например, как вы, Дато.

— Да они не только не желают обращаться ко мне за советом, они вообще теперь в грош меня не ставят. Ну и я, по правде сказать, тоже их не жалую: эти новоявленные государственные деятели мне не по душе. И главное, что мне не нравится,— это их методы управления султанатом, или, как теперь говорят, штатом, да и всей страной — тоже. Ну подумайте сами: сын мой Асман — он ведь местный уроженец, их соплеменник. Плох ли он, хорош ли, но он коренной житель штата. Кто, как не он, должен быть на государственной службе? И уж если хоть мало-мальски способных своих соотечественников мы не желаем принимать на государственную службу, то что же дальше-то будет? В конце концов талантливые

наши юноши уедут в другие места искать работы! Ну и кто в результате от этого проиграет? Наш же штат! И если вообще будут подходить к людям с такой меркой, как же малайцы смогут приблизиться к государственным делам? А ведь эти деятели все время разглагольствуют о том, что малайцы должны «идти в гору», что им надо предоставлять все преимущества...

Староста Касим на все эти слова лишь молча кивал головой, и Дато Хамид решил получить более ощутимую поддержку:

— Верно я говорю?

— Верно, Дато, верно.

— Так вот. А что получается? Асман — коренной малаец. К тому же уроженец нашего штата. Ну и что, если он не выдержал экзамена и не получил диплома магистра права? Он ведь того же корня, что и мы все! Мы должны предоставлять преимущества людям нашей национальности. Разве я не прав?

— Да, конечно.

— Вот тут-то, староста, и загвоздка. Нынешний министр не желает выслушивать ничьих советов. Он поступает только по собственному разумению. Вот при его высочестве, когда тот был министром, было совсем иначе! Он прислушивался к мнению уважаемых людей. Или хотя бы к мнению английского советника. А я дружил с мистером Джонсгрэйвом. Вы ведь, староста, знаете, даже сам мистер Джонсгрэйв никогда не пренебрегал моими советами.

— А вы, Дато, уже беседовали по вашему вопросу с председателем Государственной комис-

сии по общественным работам? Не помню сейчас, как его зовут...

— Вы имеете в виду, наверное, инче Зайнала?

— Да, точно!

— Звонил я ему. Если бы он взялся, то, конечно, помог бы мне. Но я не пошел к нему. Достаточно и того, что позвонил. Он отлично знает моего сына Асмана. К тому же этот Зайнал был когда-то простым чиновником в земельном отделе. А помог ему устроиться на эту работу я. Он был еще совсем молодым тогда, но уже увлекался этой самой политикой. Вот он и вылез сейчас в люди.

— Не может быть, чтоб он не помог вам, Дато.

— Но тут все дело в министре. Это он козни строит, я знаю. Он давно меня не любит, потому что я не льщу ему, не подлизываюсь. Эх, да ведь я его очень давно знаю: раньше он торговал кайнами, развозил свой товар по домам на велосипеде. Вы тоже должны его помнить.

— Ну как же, помню.— И староста ехидно ухмыльнулся.

— Да, да! Ездил на велосипеде. Это ведь только теперь он узнал, что такое «мерседес-бенц». Разъезжает в автомобиле с флажком. Раньше ко дворцу не смел близко подойти, а теперь... Ничего не попишешь. Политический деятель. Сейчас, староста, легко подняться по служебной лестнице. Хочешь выйти в люди — займись политикой. Торговец кайнами теперь легко может стать министром.

— Ну, легко возвыситься, легко и упасть,— отозвался Касим.

И Дато Хамид захохотал так, что кресло под ним заходило. Потом стал задумчиво рассматривать стену и остановил взгляд на висевшей в углу паре слоновьих бивней.

— Да, он давно точит на меня зуб. Помню, однажды пришел ко мне просить о поддержке его партии. Они выступали с требованиями о предоставлении независимости стране, о проведении всеобщих выборов. Ну как я мог их поддержать? Я тогда работал в Исполнительном комитете. Был, значит, на государственной службе. Сам мистер Джонсгрэйв посоветовал мне не вмешиваться в это дело, поскольку, говорит, все их политическое движение направлено против англичан. И действительно, как только страна получила независимость, так все известные англичане вроде мистера Джонсгрэйва были отстранены от дел.— Дато Хамид стряхнул пепел в серебряную пепельницу и отпил кофе из чашечки. Староста Касим последовал его примеру.— Вот почему он и точит зуб на меня,— заключил Дато Хамид.

Из соседней комнаты появилась Датин Хатиджа. Это была женщина огромных размеров, которая казалась еще больше из-за широкой, свободной одежды. Ей было около пятидесяти — лет на пять меньше, чем супругу. На руках блестело несколько золотых браслетов, шею украшала толстая золотая цепь, в ушах сверкали бриллиантовые подвески.

— Вы давно у нас, староста? — с улыбкой обратилась она к Касиму.

— Да, порядочно,— ответил тот, приподнимаясь в кресле, будто собираясь встать.

Дато Хамид молча вертел в пальцах сигару.

— Как дела в кампунге, какие новости?—спросила Датин.

— Да все в порядке, благодарю вас.

— А почему не приехали к нам вместе с хозяйкой?

— Хозяйка занята с малышами. Ведь мы уже старики, и внуков все прибавляется,—ответил Касим с виноватой улыбкой. Датин засмеялась, а Дато осклабился.

— И вы сами что-то давненько нас не навещали,—продолжала Датин.—Что за дела у вас такие неотложные в кампунге?

— Э-э, прошу прощения, Датин. Вообще-то я уже давно собирался к вам. А тут услышал, что инче Асман вернулся, и так мне захотелось повидаться с ним, посмотреть на человека, побывавшего в Англии, что я мигом собрался и приехал. А инче Асмана, оказывается, дома нет.

— Как приехал вчера, так еще, можно сказать, и часа дома не посидел, Асман-то наш. Вчера вечером был прием у казначея в честь его возвращения. Сегодня вечером, говорит, опять где-то прием. Это теперь так работают. Я ему говорю: сходи, мол, во дворец, представься, покажись, а он отвечает: «Времени нет». Упрямый он у нас, просто никакого сладу.

— А мы тут как раз о нем говорили,—сказал староста.—И я прямо расстроился, узнав о том, как с ним поступили. Я считаю, что инче Асману самое место работать в администрации штата.

— Да вот министр-то у нас тяжеловатый человек...—ответила Датин, взглянув на мужа.

— Не тяжеловатый. Просто очень тяжелый,— вставил Дато.

Староста Касим согласно закивал головой.

— Думаю, с нашими вообще трудно иметь дело, гораздо легче с белыми.

— Да, вы правы, совершенно правы, староста,— с чувством подтвердил Хамид.— Вы абсолютно правы. Куда легче иметь дело с белыми. Белые не любят мелочиться и поднимать шум из-за пустяков.

— Белые водили дружбу с хорошими семьями, с людьми знатного происхождения,— вставила Датин.— А наши в этом отношении тяжелый народ...

Дато Хамид вздохнул.

— Вот поэтому и идет все вкривь и вкось в управлении штатом.

— Тяжело придется штату, если так будет продолжаться,— сказал Касим.

— Мистер Джонсгрэйв однажды говорил мне,— отозвался Дато Хамид,— если работать спустя рукава, вся страна может оказаться в трудном положении. При англичанах было больше порядка. А сейчас? Смотрите сами, что происходит. Казна все время пуста. В бюджете штата постоянный дефицит, оттого что производство падает. И все из-за ошибок администрации. Раньше, при англичанах, мы никогда не испытывали нехватки денег. Англичане тщательно берегли государственную казну. А сейчас? Сейчас тратят деньги направо-налево. Строят дороги, мечети, больницы и чего только еще не строят! Говорят — для народа, для блага большинства. А в результате? В

результате казна султаната истощена так, что нечем даже платить служащим... Вот и приходится просить в долг у Федерального правительства. Десятки миллионов! Когда же они смогут выплатить этот долг? В один прекрасный день весь наш штат окажется в закладе у Федерального правительства.

Староста снова согласно закивал головой.

— Все трудности у них оттого, что не хотят они просить совета у других,— поддержала Датин мужа,— к таким, как мой Дато, не желают идти за советом. Считают себя очень умными и хотят все делать по-своему. Таких, как мой Дато, стараются оттеснить. Мы уж к этому привыкли и не говорим о делах, касающихся управления штатом, но ведь нас даже перестали на приемы приглашать...

— Да ну? Неужели до этого дошло? — удивился Касим.

— Да, да, староста. Уже два, а то и три года нас не приглашают на официальные приемы. Ни в дом к первому министру, ни во дворец. Говорят, вчера во дворце был прием в честь приезда министра Федерального правительства. Так нас и не подумали позвать. А знаете, кого они понаприглашали? Всяких голодранцев из кампунгов, ну, этих, которых они называют вождями народа. Половина из них и понятия не имеет, как надо себя вести во дворце. О дворцовом этикете даже и не слыхали! Да оно и понятно: откуда человеку, ни разу в жизни не переступавшему порог дворца, знать его порядки и обычаи? Я слышала, там много всяких казусов происходит!

— Порядки и обычаи дворца — дело не простое, и, чтобы изучить их, нужно время,— сказал Дато Хамид.— Вы-то хорошо это знаете, староста. Ведь вам приходилось бывать во дворце.

— Да, да, совершенно верно, Дато. Вы абсолютно правы.

— И знаете, что я вам скажу?— произнесла Датин, усмехнувшись.— Бывали случаи, когда эти вожди народа являлись во дворец с крисами на боку!

— Спаси и сохрани, аллах! — пришел в ужас староста.— Ведь это же строжайше запрещено!

— То-то и оно! Хорошо еще, что один из дворцовых служащих вовремя заметил, что какой-то «вождь» пришел с крисом, и отобрал его... Не сделай он этого, один аллах ведает, что могло бы произойти.

Дато Хамид злорадно захихикал.

— Вот такие дела,— продолжала Датин.— Бывает, что приходят во дворец и такие, которые до сих пор не научились есть ложкой и вилкой!

— Не умеют есть ложкой и вилкой? — поразился Касим.

— Да. Я сама слышала от дворцовых служащих. И не только не умеют есть ложкой, а даже не знают, как надо пить чай. Я слышала, что один из этих дикарей — уж не знаю, откуда он явился,— макал печенье в чашку с чаем.

— Во дворце?!

— Да. Во дворце!

— Чудеса, да и только! — вздохнул староста.

— Ну, не срам ли?

— Срам, да и только. Просто уму непостижимо,— поддакнул староста.

— И такие вот люди нынче будут руководить государством,— вставил Дато Хамид.

А Касим по-прежнему молча кивал головой.

— Уж вы, староста, не связывайтесь с такими людьми,— проговорил вдруг умоляюще Хамид.

— Ох, что вы, что вы! Как можно?! Ни в коем случае, Дато. Они-то, правда, уговаривают меня вступить в их партию. Да я отказался. Конечно, по делам службы мне иной раз приходится к ним обращаться — ведь я занимаюсь благотворительностью. Но связываться с их политикой — избави боже!

— Ну и хорошо, староста, очень хорошо. А то свяжетесь с ними, и сами таким же станете, как они.

— Да нет, я политикой ни за что заниматься не стану, Дато.

— Не стоит лезть в это дело! Ведь я сам, если бы захотел, давно бы принял участие в политических делах. И может быть, был бы теперь уже министром Федерального правительства, если бы сразу, как только получили независимость, вступил в их партию.— И он засмеялся.

Касим засмеялся тоже.

— Да и вы, староста, если бы вступили тогда в партию, тоже были бы сейчас чиновником и вас величали бы «ваше превосходительство»,— сказала Датин Хатиджа.

И все трое опять засмеялись.

— Политика, как говорят,— это грязная игра,— резюмировал Дато Хамид.

Возле дома остановилась машина. Из нее вышел Асман, о чем-то минуту поговорил с водителем, и машина уехала. Дато Хамид заметил на ее заднем стекле знак: «Администрация законодательного совета штата». Вошедшего в дом сына он встретил хмурым взглядом.

Высокий худощавый молодой человек с жесткими растрепанными волосами пожал руку старосте Касиму, и они заговорили о чем-то. А Дато Хамид все хотел спросить, кто это подвез Асмана, но вопрос так и остался невысказанным.

— Я тоже расстроился, услышав о ваших делах,— долетели до Хамида слова старосты.

— Расстроились? — изумился Асман.

— Очень. Потому что я считаю, что вы, инче Асман, имеете полное право стать государственным чиновником.

Асман улыбнулся и посмотрел на отца, а затем на мать.

— Да я никогда и не собирался быть чиновником,— сказал он.

И он тут же отвернулся в сторону, зная, что родители сейчас с изумлением уставились на него.

— А что же вы, инче, собираетесь делать? — изумленно спросил староста.

— Да я уже делаю. Занимаюсь политикой.

— Политикой! — голос отца поднялся чуть не до крика.

— Да,— ответил юноша и, встав с кресла, вышел из комнаты.

Оставшиеся в гостиной растерянно смотрели друг на друга.

Дато Хамид только сейчас окончательно понял, что он стал стар и дни его подошли к закату. Теперь он не только не имеет влияния в правящих кругах султаната, но не может воздействовать даже на своего собственного сына.



Малунгун



УСПЕТЬ ДО НОВОГО ГОДА

1

Мулок вылил последнее ведро цементного раствора в опалубку. Работа шла уже на двенадцатом этаже. Дом рос быстро, как гриб после дождя. Заляпанные цементом ведра Мулок поставил на груду мешков посреди бетонного перекрытия, очистил руки от засохшего цемента и медленно пошел к краю площадки. Под ярким светом прожекторов, которые зажигались на стройке с наступлением темноты, пятеро других рабочих тоже заканчивали свое дело.

Сверху Мулоку была видна чуть ли не вся столица. Уличные фонари, разноцветные рекламы, то гаснущие, то вспыхивающие вновь, фары автомашин, движущиеся встречными потоками по артериям улиц, делали город похожим на какой-то странный живой организм.

Мулок дернул трос, вызывая подъемник, который доставлял наверх материалы и рабочих. Он изнемогал от усталости. Уже более двух недель он работал сверхурочно — ежедневно до восьми часов вечера. Да и не он один — так же работали почти

все на стройке. Подрядчик нажимал вовсю, стараясь, чтобы работа не останавливалась ни днем ни ночью — нужно было закончить четырнадцать этажей здания до Нового года.

Подъемник задерживался. Усталые, воспаленные глаза Мулока скользили по крышам города — от дальней его окраины и до центра, до остова дома, на верху которого он стоял. Когда взгляд натыкался на прижавшиеся друг к другу крыши темных лачуг по соседству с устремленными ввысь этажами, Мулок быстро отводил глаза и старался смотреть туда, где было светлее и оживленнее. Но мысль и взгляд вновь и вновь возвращались к темным лачугам.

Мулок не заметил, как подъемник медленно двинулся вверх, он думал о том, что к Новому году каркас здания будет готов — красивая выйдет штука! — но тогда ему уже нечего будет здесь делать. Да и остальным придется уходить с этой стройки. А куда? Куда?! Лачуги снесут и начнут строить на их месте новые дома. И все придется начинать сначала.

— Эй, Мулок! — резкий, как выстрел, окрик прервал его мысли. Кто-то тронул его за плечо. Мулок обернулся. Это был его друг, тамил Велу — белеют зубы, лоб блестит, и капли пота переливаются в лучах мощной лампы, как жемчужины.

— Уф! — устало вздыхает Велу, вытирая рукавом рубашки пот с лица. При этом зажатые в правой руке две пустые бутылки описывают в воздухе сложные дуги.— Ты что опять грустный? — спрашивает он.

Мулок тяжело вздыхает.

— Говорить, Велу, неохота! — Его тощие плечи, посаженные, кажется, прямо на лестницу ребер, еще больше сутулятся.

Подошедший подъемник выплюнул свежую партию людей; у каждого в руках сверток с едой и бутылка воды. Велу и Мулок вошли в подъемник и встали поближе к центру — боковых ограждений не было,— и платформа медленно поползла вниз, отсчитывая этажи.

Велу не мог молчать.

— Ты это зря. Так убиваться не можно.

— А как можно? — Мулок уставился куда-то вдаль, в беззвездное небо. Далеко за городом, между небом и землей вспыхивали молнии. Оттуда тянуло свежим ветерком, который высушивал пот. Велу долго, не отрываясь, смотрел на Мулока. Он знал: только ему тот может рассказать все, что есть на душе, он всегда все рассказывал ему, как другу. И Велу старался помочь Мулоку — советом или просто добрым словом. Велу подумал: почему он всегда должен переживать за других. Просто везет ему на людей, у которых полно проблем. Не может он пройти мимо чужих неурядиц.

— Ты ведь слышал, что мой отец недавно умер? Много молодой еще... — сказал Велу.

— Угу.

— А почему умер, знала?

Мулок внимательно посмотрел на Велу, пытаясь разглядеть в темноте его лицо, и покачал головой.

— Нет, не знаю.

О смерти отца Велу говорил уже не раз, и Мулоку даже надоело его слушать, но от чего тот умер, он не знал.

Подъемник остановился внизу. Здесь жара ощущалась сильней: ветра совсем не было, не то что на высоте. Правда, вспышки молний на горизонте были видны и отсюда.

Они вышли со стройки, и взгляд Мулока сразу же уперся в лачуги, которые здесь, внизу, казалось, еще теснее прижались друг к другу. Стены их были сооружены из поставленных один на другой ящиков из-под сгущенки, а щели закрыты мешковиной и картоном. Крыши сделаны из сплющенных жестяных жбанов из-под керосина и бочек из-под битума. Слава богу, что в них хоть темно не было: сюда доходил свет прожекторов, установленных на двенадцатом этаже строящегося здания, а справа сверкали и переливались огни неоновой рекламы, венчавшей многоэтажный дом, в котором разместились магазины. В узких и грязных, заваленных мусором проходах, у дверей тускло освещенных домов сидели женщины с густо напудренными лицами. Время от времени к ним подходили мужчины, наклонялись, закуривали, спрашивали о чем-то и уходили — иногда вместе с мужчиной уходила и женщина.

Мулок перевел взгляд на строящееся здание. Его каркас уходил в небо. Наверху люди, обливаясь потом — Мулок представил себе блестящие под лучами ламп спины,— давали жизнь мертвому без них остову дома. Звезд не было видно. С той стороны, где небо прорезали отблески молний, медленно надвигалась, затягивая небо, черная туча.

— Ты будешь слушает? — спросил Велу, видя, что Мулок задумался о чем-то своем. Приятель посмотрел на него и глубоко вздохнул.

— Ну, говори,— выдохнул он. Они стояли между каркасом здания и скопищем лачуг, каждый держал в руках старую корзинку и пустые бутылки.

— Я тогда был много маленький, вроде семь лет,— заговорил Велу.— Отец мой много больной был. Один раз он кашлял, и потом кровь изо рта шел. Он сказал моей матери: «Рани, если я буду так, лучше я умру. Ты ищи много крепкий яд, дай мне, и тогда я можно умереть».— Велу замолчал и стал откашливаться. Мулок терпеливо ждал продолжения рассказа.— Моя мать стала плакать и сказала: «Ай, ай, Лингхам, так нельзя, господин аллах будет много сердиться». Потом мы каждый день ходили работать. Когда приходили домой, мой отец опять говорил такие слова. У него болело сердце, когда он смотрел, как моя мать много работает, и он хотел помогать. Потом был еще один день...— Велу вытер рукавом рубашки нос, и бутылки в руке опять описали в воздухе дугу. Мулок слушал внимательно.— Потом был еще один день, и мы пришли домой после работы, а отец не лежал на кровати. Мы искали его, но не нашли. Моя мама много плакала. Потом я хотел идти в уборную... ай-ааа!.. он был там...— Велу высморкался, и глаза его быстро заморгали.

— Что же он там делал? — нетерпеливо спросил Мулок.

— Он умер,— ответил Велу, сразу сникнув, и зачем-то задвигал ногой, будто хотел выковырять

из земли камень. Глаза его покраснели от слез.— Отец, конечно, много жалел мою маму, он много искал новое сари для мамы, много был хороший, много любил мою маму, и он пошел туда, привязал себя за шею...

— Да... если у тебя такая мать, то наверняка она очень убивалась.

— Ооо!.. Не можно сказать. Она еще много убивалась. Она сказала, что мой отец никогда не хотел делать ей плохо, но он умер и сделал ей плохо. Много дней моя мать плакала, потом один день пошла работать, я был дома, и мать не вернулась.

— Куда же она ушла?

— Не знаю.— Велу опять шумно высморкался и вытер руку о штаны.— Все люди не знают. Я жил теперь один, но у меня судьба немного хорошая, один человек про меня помнил и давал мне кушать. Потом он говорил, что сам живет трудно, он много имел детей, что я нужно сам искать работу... ай-ааа! — голос Велу вдруг сорвался, и он так и не докончил фразу.

— Да ладно, Велу. Зачем плакать-то? Когда ты плачешь, мне становится совсем плохо, понимаешь?— Мулок дружески похлопал Велу по спине.

Велу вытер нос и глаза, откашлялся и посмотрел на Мулока.

— Верно, верно. Поэтому я не хотел идти к тебе домой и делать тебе плохо. Ты потом будешь, как мой отец, и сколько будет еще плохо?

«Действительно,— подумал Мулок, сколько же еще будет плохо?» — Мысль его сразу перенеслась

к жене — живой скелет, она лежала на шаткой кровати в лачуге из ящиков. А в чреве у нее ребенок... их ребенок — уже шесть месяцев. Жена заболела два месяца назад: она вдруг ослабла, не могла поднять ни руки, ни ноги, и кожа стала какой-то безжизненной. Лекарства из аптеки Мулок не мог ей дать — идти к доктору за рецептом он боялся, потому что однажды, когда он заболел и пошел к врачу, тот сказал: «У тебя недоедание. Тебе надо есть яйца, мясо...» Эти слова напугали Мулока.

— Пойдешь домой? — спросил он Велу, тот кивнул, и они распрощались. Велу поплелся к одной из близлежащих лачуг, а Мулок направился в проулок позади большого дома с магазинами. Здесь, в малоосвещенных местах все так же дежурили женщины с наштукатуренными лицами, но мужчин стало больше. Три собаки торопливо разгребали отбросы, вывалившиеся из опрокинутой мусорной бочки. Ветер, ощущавшийся только на верхней площадке стройки и в подъемнике, вдруг залетел и сюда,— старая, рваная газета поднялась с земли и, переворачиваясь, полетела, обгоняя Мулока. Отблески молний, разрезавших черное небо, теперь вспыхивали прямо над головой, и вслед за этим слышались раскаты грома. Мулок быстро шагал в конец проулка, с опаской поглядывая вверх.

2

Когда он был уже недалеко от того места, где кончались ряды лачуг, одна из огненных стрел вонзилась в верхнюю часть каркаса строившегося

дома, черное небо дважды с треском раскололось, и первые капли дождя резко стеганули Мулока по лицу, запрыгали по выбоинам проулка и по крышам лачуг, задрожавших под напором свирепого ветра.

Мулок побежал к своему дому. Дождь с нараставшим шумом погнался за ним, обогнал и обрушился на дом раньше, чем хозяин достиг его. Мулок с разбегу толкнул дверь, распахнул ее, и дождь, бешеный ветер и шум ворвались в дом. Захлопнув дверь изнутри, Мулок оставил бушующую стихию снаружи.

— Это ты?—послышался слабый женский голос.

— Ух!—выдохнул Мулок, стряхивая с себя воду. В лачуге было бы совсем темно, если бы сквозь щели в нее не просачивался свет от соседей. Мулок пошарил рукой по стене и, нащупав керосиновую лампу, вывернул фитиль.

— Ты!—обрадованно сказала жена, когда по комнате разлился неяркий свет. Жена лежала на кровати. Рядом с ней стоял термос, два пузырька с каким-то снадобьем, чистый опрокинутый стакан и чашка, до половины наполненная кофе. Стены, оклеенные газетами, были пусты. В дальнем углу виднелся очаг и была сложена кухонная утварь.

— Это что?—спросила жена, показывая глазами на флакон в его руке. Только тут Мулок вспомнил о том, что принес.

— Лекарство,—ответил он, подняв вверх флакончик и отметив про себя, как странно выглядит большой живот на худеньком, совсем высохшем теле жены. У него защемило сердце...

Они поженились два года назад. Ему тогда было уже тридцать, а ей двадцать восемь. Раньше жениться он не мог. Собирался не раз, но все не было денег. Кем только ему не приходилось работать: ассенизатором, велорикшей, сводником — он знал в округе все публичные дома и всех женщин, которые торговали собой. В конце концов ему удалось получить работу на строительстве большого дома, совсем рядом с тем местом, где он жил. Сначала им приказали снести прилепившиеся друг к другу лачуги на месте будущей стройки. У Мулока сжималось сердце, когда он видел, как обитатели «ящичных домов» выносили свои пожитки, как потом сносились эти каморки... Правда, при этом кое-что перепало и ему: длинные хорошие доски рабочие оставляли, чтобы потом поделить между собой, из этих досок он и соорудил кровать, на которой сейчас лежала его жена, Рокия. Познакомился он с ней, когда был сводником. Началось с того, что как-то на улице он подсел к ней, и они разговорились о житье-бытье. Потом они поженились и переехали в их нынешнее жилище. Мулок настоял на том, чтобы Рокия покончила со своей «работой». Ребенка они сначала не хотели — знали, что он станет для них огромной проблемой; и к тому же неизвестно, как будут относиться к нему люди, когда он вырастет. Поэтому Рокия продолжала пить то же зелье, что регулярно пила до замужества. Но потом, когда Мулок получил работу в строительной компании, они решили по-иному. «Если не будет ребенка, то какое еще сокровище мы сможем нажить?» — сказала тогда Рокия...

И вот что из этого получилось. Рокия уже два месяца болеет, и с каждым днем ей становится все хуже.

— Что же это за лекарство? — спросила она и попыталась улыбнуться. Губы ее растянулись и застыли, как на лице клоуна, нарисованного на детском воздушном шарике.

Мулок тоже улыбнулся через силу и проглотил подступившую вдруг к горлу слюну. Он опустился на колени возле кровати и сказал:

— Лекарство для тебя.

— Чтобы мне легче стало? — Глаза Рокии широко раскрылись, она с явным усилием подняла руку и медленно потянулась за склянкой в руке Мулока.

— Угу. Чтобы скорей кончилась твоя болезнь.

Рокия закрыла глаза и прижала пузырек к губам.

— Чтобы болезнь кончилась, чтобы благополучно разродиться, чтобы ребенок был здоров, чтобы скорее помогать тебе, да? — сказала она и, открыв глаза, посмотрела на мужа. Он промычал что-то, силясь проглотить вновь вставший в горле комок и стараясь изобразить улыбку. Он не отрывал взгляда от лица жены, пытаясь понять, какие чувства она сейчас испытывает. «Прямо живой скелет», — снова подумалось ему.

— Сколько таблеток принимать?

— Две... э-э-э, нет, четыре... — ответил Мулок и стал торопливо открывать крышку термоса, чтобы налить ей горячего кофе.

— Не много ли четыре-то?

— Ничего! Скорее уйдет болезнь!

Рокия одну за другой проглотила белые круглые таблетки. Мулок протянул ей стакан с кофе.

— Куда мы переедем, когда я поправлюсь? — спросила она, снова откидываясь на подушку.

— Никуда,— ответил Мулок, взяв пузырек из рук жены и затыкая его.

— Так ведь до Нового года все должны переехать?

— Отменили.

— И наш дом не будут сносить?

— Нет.

— Значит, можно будет здесь жить, пока ребенок не вырастет?

— Пока не вырастет.

— Пока мы не сможем купить новый дом?

— Да.

— О господи! — обрадованно пролепетала Рокия и от слабости закрыла глаза.

— А ты усни, поспи,— тихо говорил Мулок, гладя жену по плечу и задумчиво глядя на ее руки, лежавшие на вздувшемся животе. Через минуту Рокия чуть слышно похрапывала.

Гроза опять усиливалась. Ветер бросил пригоршню дождя в щель между стеной и крышей. Мулок нашел какое-то старое тряпье и заткнул щель. Когда непроглядную темень ночи прорезали всполохи молний, свет врывался через щели и озарял всю комнату, и вслед за этим прямо над ухом Мулока что-то взрывалось, сотрясая, как ему казалось, все хижины разом.

Мулок переоделся в сухую одежду и попытался заснуть, пристроившись рядышком с Рокией. Но

ничего не получилось. Стоило только ему закрыть глаза, как думы о лежавшей рядом жене прогнали всякий сон, и лицо стало мокрым от слез. Он поцеловал спящую жену в щеку — щека показалась ему какой-то необычно холодной, совсем не такой, как много месяцев назад, когда он впервые притронулся к ней губами.

В груди у Мулока заныло — от обиды, жалости и горя. Он уткнулся лицом в грудь Рокии, будто хотел дотронуться до ее нежного сердца и передать ему все, что наболело у него на душе. Но боль души так и осталась невысказанной.

Глухой шум дождя за стеной не прекращался. Боль в груди Мулока стала притупляться и отступила перед усталостью, накопившейся в теле за длинный день тяжелой работы. Так он и заснул на кровати рядом с женой, уткнувшись лицом ей в грудь, как засыпал в ту пору, когда они только что поженились.

Рокия между тем дышала все тише и тише...

3

Разбудили Мулока, как обычно, звуки проснувшегося города: звенели большие жестяные канистры, в которые жители кампунга, толпясь у колонки, набирали воду; треск и грохот доносились со строительной площадки; где-то загремел упавший велосипед; звонил рикша, расчищая путь своему трехколесному экипажу; слышались голоса людей, выходивших из своих лачуг и спешивших на первый автобус — словно им не терпелось поскорее избавиться от тех свежих сил, что дал им ночной сон.

Прошло еще несколько секунд, и Мулок окончательно проснулся. И тут же в голову ударила мысль о Рокии. Не спуская ног на пол, он резко сел на кровати и повернулся к жене, которая лежала, вытянувшись, рядом. Укладываясь вчера спать, он не взял одеяла, и Рокия лежала в одном платье, ничем не укрытая. Поэтому Мулок сразу увидел, что грудь ее неподвижна — она не дышала.

У него будто что-то сломалось внутри. Он медленно встал, пятясь и не отрывая глаз от кровати, дошел до двери и открыл ее. Земля перед домом за ночь превратилась в глиняную кашу, струи дождя, лившие с крыши, вырыли ровный ряд воронок вдоль стены дома. Было пасмурно. В серой мгле выделялось лишь одно яркое пятно — мощные прожекторы наверху строящегося дома. Снизу можно было различить темные фигурки людей на верхней площадке. Мулок знал, что сейчас они двигаются с трудом, не то что вчера.

Мулок попробовал разобраться в своих чувствах. Спрашивал себя, что же он сделал, есть ли в нем хоть чувство жалости, и почти зримо ощущал, как все уголки его ветхого жилища заполняются горем, как оно расплывается по дому, словно чернила по промокашке. Дышать стало тяжело, и мысли, беспрерывно рождавшиеся в голове, тонули в слезах.

Он стал растирать себе грудь. «Ну что это я так? Надо ли сожалеть о том, что сделано?» Сердце не принимало этих вопросов. Но он заставил себя ответить. «Нет, не надо. Посмотри. Вон туда, на стройку, посмотри! Там спешат изо всех сил. И хозяин, и рабочие хотят получить деньги — поско-

рее и побольше. Но ведь чем быстрее рабочие сделают работу, тем быстрее они окажутся снова на краю пропасти. Ведь они должны будут своими руками снести свои жилища, когда работы на четырнадцатом этаже будут закончены. Эти жилища долго служили нам убежищем. А для чего? Для того лишь, чтобы мы могли продлить никому не нужную жизнь. Куда деваться после этого?»

Продолжая смотреть на верхнюю площадку здания, Мулок все шевелил губами. Потом спохватился, что говорит сам с собой; единственным человеком, который мог бы его услышать, была лежащая в лачуге жена. Он повернулся и медленно пошел к Рокии. Присев на корточки у кровати, он долго смотрел на посеревшее лицо, на неподвижное тело с выпиравшим животом. Две мухи кружились над Рокией и то и дело садились у ее открытого рта. Он отогнал мух и сомкнул ей губы.

Потом обеими руками он стал гладить щеки жены, глядя ей в глаза так же, как он смотрел в них, когда они впервые оказались вдвоем в номере гостиницы два года назад.

— Теперь тебе легко, Рок,— шептали его губы.— Ведь я сделал так не для того, чтобы ты умерла, а чтобы помочь тебе. Не-ет! Я не хотел тебя убить... Ро-ок! Я тебя люблю. Но посмотри-ка сама вон туда... —И через открытую дверь он показал взглядом на тянувшийся ввысь каркас дома.

Говорить Мулоку больше было невмочь, но слова словно сами продолжали идти из сердца:

— Видишь это? Скоро его выстроят, и нам надо будет искать другое жилье. Но где? Куда нам идти?

Милая... Я знаю, тебя это тоже мучило, и я не хотел расстраивать тебя. Поэтому я сделал так, чтобы ты уснула и больше не страдала. Чтобы ты всегда была счастлива вместе с нашим ребенком.— Рука Мулока медленно двигалась по животу Рокии, он плакал.

«Надо взять себя в руки»,— подумал он и, решительно встав, направился к двери. Осторожно прикрыв за собой дверь, он быстро пошел к дому Велу. Он опасался, что тот уже поднялся на строительную площадку, но оказалось, что Велу как раз выходит из своей «коробки». В руке у него была все та же корзинка с едой и двумя бутылками горячего кофе.

— Велу! — окликнул приятеля Мулок.

— Ой, Мулок! Сегодня много торопиться надо. Тсс! Не говори громко.— И он приложил палец к губам.— Мала еще спать надо. Если дождь ночью, она всегда много устает, понимаешь?— шептал он, показывая на дверь хижины озорными глазами и расплываясь в улыбке.

— Велу...— медленно заговорил Мулок, судорожно пытаясь проглотить слюну, чтобы смочить пересохшее горло.

— Ты чего это? — спросил Велу, уловив что-то странное в голосе Мулока.

— Рокия умерла.— И Мулок опустил голову.

— Айо-йо! Ты серьезно говоришь?

— Да!

— Когда?

— Ночью.

— Что с ней?

— Не знаю. Болела ведь она.

— Знаю, болела. Все люди знают об этом. Но вечером она была еще хорошо. Мала про это говорила, вчера туда ходила.— На лице Велу была полнейшая растерянность.

— Говорю тебе, она болела.

— Айо-айо-йо! — Велу повернулся к дому и закричал: — Эй, Мала! Мала, ву-у! — Никто не отозвался, и он бросился в дом.

Мулок уронил голову на грудь. Внутри у него все дрожало. «Что это? Я сожалею о том, что сделал? Нет, не надо. Я спас ее».

Он слышал, как Велу будил жену, как они быстро говорили о чем-то. Мала показалась в двери и, взглянув на Мулока, заголосила:

— Айо-йо! Рокия, айо-йо!

Она скорым шагом пошла к дому Мулока, на ходу оправляя сари и волосы. Мулок и Велу переглянулись и направились к дому Саламуна, их друга, который тоже работал на стройке. У Саламуна дверь была еще заперта. Они несколько раз окликнули друга, дверь заскрипела, и в щель выглянула испуганная женщина с растрепанными волосами и заспанным лицом, на котором виднелись пятна пудры; одной рукой она придерживала у груди саронг — кофты на ней не было — и, рассматривая пришельцев, часто моргала спросонок.

Когда они рассказали сожительнице Саламуна, в чем дело, та вскрикнула и быстро скрылась в доме. Через минуту показался сам Саламун — голову он держал как-то набок, челюсть отвисла, еще больше заострив и без того острые скулы, глаза никак не открывались после сна.

Они немного посовещались, а потом все трое направились к дому Мулока. Между тем на улице стало совсем светло, появились люди. Подъемник на стройке опускал вниз уставших рабочих.

Три друга сами, без посторонней помощи, убрали тело покойной. В десять часов приехала машина, чтобы отвезти Рокию на кладбище. В кузове машины вокруг гроба уселись Мулок, Велу, Мала, Саламун и его напудренная подруга. Все были подавлены. Впереди, рядом с шофером, сел мулла. На его широкой физиономии с редкой бородкой отражалось явное презрение к этим людям и ко всему окружающему. Машина медленно двинулась по грязной дороге, провожаемая удивленными взглядами жителей квартала.

На работу в этот день три друга не пошли. Вечером они собрались в кедэе, где продавался туак[1], позади почтовой конторы на улице Туанку Абдул Рахман. Велу и Саламун выложили на стол по доллару. То же самое хотел было сделать и Мулок, но друзья запротестовали.

Они разлили туак по стаканам...

---

[1] Туак — пальмовое вино.



Осман Келантан



ЗАМЕТКИ СЕНАТОРА

15 июля

Очень волновался, сам не знаю почему. Может быть, потому, что на меня смотрело множество людей. Наконец-то наступил мой «звездный час»! Мне все не верилось, что я сенатор и мне предстоит принести присягу вместе с другими членами Государственного совета. Да-да, теперь я уже не обыкновенный, рядовой служащий, а сенатор. Партия знала, кому доверить этот пост. Моя общественная работа, жертвы, которые я приносил столько лет,— все это наконец-то оценено по заслугам.

Стоило мне принести присягу — и волнение как рукой сняло. В зале заседаний я занял место рядом с одним солидным господином. Не помню, как его зовут, но он из нашей партии. Когда находишься в Государственном совете (в нашей малайзийской «Палате лордов»!), испытываешь такое чувство, словно попал в святая святых, где могут находиться только самые достойные сыны нашего народа. Сегодня в их числе оказался и я.

Решил пока осмотреться и не выступать, хотя меня так и подмывало взять слово, когда кто-то из оппозиции начал оплевывать постановление правительства, утвержденное Палатой представителей. Удивительно, как таких дураков избирают в Государственный совет. Ему, видите ли, кажется, что министр сельского хозяйства и рыбной промышленности недостаточно озабочен судьбой рыбаков Восточного побережья! Конечно, я всей душой был на стороне министра, противно было слушать этого крикуна! Когда заседание кончилось, мне показалось, что оно заняло не больше часа, а ведь времени прошло немало.

16 июля

Сегодня я второй раз был на заседании Государственного совета. Покуда министр обороны давал отповедь сенаторам из оппозиции, мой солидный сосед задремал и встрепенулся только тогда, когда в зале поднялся хохот из-за шуточки, которую отпустил министр. Проснувшись, сосед первым делом утерся — он-таки малость распустил слюнки во сне.

17 июля

Закончилось последнее заседание сессии. Когда его открывали, к моему удивлению, не менее четверти зала пустовало. Только потом я понял, в чем тут было дело: говорят, вчера вечером состоялся большой прием.

На заседании оппозиция, как всегда, занималась нападками: на этот раз ей не угодило мини-

стерство труда, которое будто бы село в лужу, улаживая дело с одной забастовкой.

Спикеру пришлось строго предупредить одного из критиканов, но тот продолжал свое. Наши подняли его на смех, и я не отставал от других. Эти люди ни в чем не знают меры. Представляю себе, как приятно членам правительства выслушивать их ругань.

В общем, оппозиция поносила все правительство, и каждого из министров в отдельности, до самого конца заседания. Из наших никто не стал ввязываться в спор. Я лично считаю, что правительство, сформированное нашей партией, придерживается правильного курса.

Примечание

С трудом сдерживал волнение, когда в первый раз расписывался в получении жалованья. Кассир отслюнявил мне пятьсот долларов — бумажка к бумажке. За деньгами — туда и обратно — я ездил на машине, и все за казенный счет.

Приятно сознавать, что все это предоставляется тебе не просто так, а в качестве вознаграждения за твои заслуги перед народом. Второй сенатор из нашего штата, мой товарищ, решил отметить окончание сессии у одной смазливенькой евразиечки. У меня не хватило духу последовать его примеру. Уже потом, когда мы ехали в поезде, он шепнул мне, что его красотка подцепила на крючок не только его, но и одного замминистра.

Подумать только — из сотни кандидатов на два места в Государственном совете руководство отоб-

рало именно нас! Хочется думать, что выбор пал на самых достойных!

5 сентября

Эта сессия рассчитана только на два дня. Сегодня было бурное заседание. Оппозиция потребовала ни больше ни меньше как снижения акцизных сборов. Министр финансов объяснил, что об этом не может быть и речи. И тут вдруг ему начал возражать один сенатор из нашей партии. Я никак не мог понять, в чем тут загвоздка. По-моему, его выдвигали в Государственный совет совсем не для того, чтобы он критиковал действия своего собственного правительства.

В общем, разгорелся спор, и несколько наших напустились на министра. Оппозиция прямо из себя выходила. Нечего и говорить, что я порядком запутался в этой неразберихе и растерялся.

По моему мнению, правительство ничего не делает зря. Ему виднее. За примером ходить недалеко — знало же оно, кому из ста кандидатов больше других пристало заседать в Государственном совете. Нельзя не оправдать его доверия.

Толстяк сенатор, что сидит слева от меня, опять задремал. Бедняга так и подскочил, когда сенатор из оппозиции грохнул по столу кулаком, рассердившись на Палату представителей, которая повысила акцизные сборы на все, кроме крепких напитков.

— В сеть попалась хамса,— надрывался он,— а макрели и змееголовы отделались легким испугом!

Но мой сосед только вытер глаза носовым платком, и голова его снова свесилась набок.

Мой напарник из нашего штата вслед за несколькими другими членами нашей партии тоже начал наводить критику на министерство финансов. Я был возмущен до глубины души. Говорить гадости о правительстве, которое тебя же вознесло на такую высоту! Вот уж поистине — пустили козлов в огород! Какими только словами не ругал я этих типов! Таким не место в Государственном совете.

6 сентября

Мой толстяк не явился сегодня на заседание. Поскольку его кресло, как и мое, находится в самом переднем ряду, все заметили его отсутствие. Спикер несколько раз поглядывал на пустое место, сенатор, сидящий справа (китаец), спросил, не стряслось ли чего-нибудь с моим соседом. Я только пожал плечами.

От души порадовало меня сегодняшнее заседание. Члены нашей «Палаты лордов» и Палаты представителей отныне будут освобождены от уплаты пошлин при вступлении во владение имуществом любого рода. Сверх того, наши парламентарии получают право беспошлинно покупать горючее в любом количестве. По-моему, если у человека есть заслуги перед народом, они должны быть отмечены. Зря, что ли, нас выбирали в Государственный совет?! Я первым поднял руку, голосуя за новый законопроект. Одна оппозиция не соглашалась на отмену этих дурацких пошлин.

Я думаю, что все это сплошная демагогия. Им ведь прекрасно известно: сколько бы они ни спорили, при голосовании все равно возьмет верх наша партия.

Примечание

Как обычно, получил жалованье. Выплата производится очень аккуратно, каждый месяц. Сегодня вечером я приглашен в гости к министру финансов. Пришлось покинуть зал заседаний раньше обычного. Вместе со мной ушел еще один сенатор из другого штата и мой земляк. Оказывается, они с министром старые приятели!

Был у массажистки. Совсем молодая женщина, может быть девушка. Когда я лег и она впервые прикоснулась ко мне своими ручками, сердце у меня так и заколотилось. Двое моих коллег одновременно со мною зашли в соседний кабинет, и из-за стенки я услышал грубый мужской хохот и женское хихиканье, от которого у меня все оборвалось внутри.

Я вспомнил о жене и подумал, что она и в подметки не годится женщине, которая разминала мне поясницу. Когда я перевернулся на спину, я вдруг увидел, что на массажистке почти ничего нет...

Подумать только: когда я вошел в эту комнату, мы были даже не знакомы, и вдруг какие-то полчаса сделали нас самыми близкими на свете людьми.

Выходя из кабинета, я приметил в приемной нескольких депутатов из Палаты представителей.

9 сентября (из газет)

Какой-то безмозглый писака недоволен тем, что большинству сенаторов будто бы нет никакого дела до рассматриваемых ими документов. Хотел бы я знать, кто составлял отчет о заседании, попавший ему в лапы! И ведь берется рассуждать — какой, видите ли, смысл рассматривать законопроекты в Государственном совете, если они уже утверждены Палатой представителей.

У него хватило наглости написать, что сенаторы плетутся в хвосте событий и знай только штампуют спускаемые им законопроекты. Договориться до того, что нам наплевать на свой народ! Да подумал ли он своей дурацкой головой, почему мы попали в Государственный совет?! Только потому, что мы всю жизнь не жалели сил для блага народа!

Этот «обозреватель» подкапывается под малайзийский Государственный совет и ставит под сомнение назначения правительства.

Поистине, свобода печати не должна быть безграничной, иначе подобные писаки и впредь будут глумиться над нашими парламентариями (и в особенности над членами Государственного совета).

22 декабря

Нынешняя сессия рассчитана на четыре дня. Сегодня, против своего обыкновения, я немного опоздал. Вчера вечером мне необходимо было хоть немного развеяться.

Наконец-то и я взял слово. Я сказал о том, что причитающееся нам вознаграждение унижает до-

стоинство членов Государственного совета — высшего законодательного органа страны. Вознаграждение должно быть повышено по крайней мере до семисот пятидесяти долларов в месяц.

Мое предложение было встречено с одобрением. Толстяк, сидящий справа от меня, так растрогался, что хлопнул меня по спине. Даже представители оппозиции и те не нашли что возразить.

Один сенатор из нашей партии поддел сегодня в своей речи премьер-министра. Он поднял вопрос, почему при подборе кандидатов на посты министров, замминистров, наконец, парламентских секретарей обходят членов Государственного совета. Может быть, сенаторы недостойны того, чтобы занимать эти должности или не обладают соответствующими способностями?

— Дайте нам возможность,— сказал он премьеру прямо в лицо,— и мы сумеем исполнить свой долг ничуть не хуже, чем министры, выдвинутые из числа членов Палаты представителей.

Я зааплодировал, а за мной и другие. Премьер-министр растерялся и не знал, что ответить. А может быть, он понял наконец, с какими людьми имеет дело, и сделает нужные выводы.

На минуту я задумался — не произошло ли у меня политического расхождения с правительством или с премьером по вопросу о формировании кабинета министров? Подумав, я понял, однако, что одно дело — изменять линии партии, и совсем другое — здоровой критикой помогать ее росту и укреплению влияния среди масс.

На сегодняшнем заседании было рассмотрено 30 поправок и дополнений к различным законам.

Хотел бы я, чтобы Палата представителей работала такими же темпами. Неужели кто-то может сомневаться в том, что именно членам Государственного совета пристало заниматься ответственной работой, которую, кстати, не грех и оплачивать должным образом.

23 декабря

Мой земляк явился нынче на заседание позже обычного. По всему видно, что он еще не проспался. День выдался довольно спокойный, не то что вчера. Из наших не выступал никто, одна только оппозиция, как всегда, тянула свою волынку.

С длинной речью выступил министр просвещения. Крикуны из оппозиции уверяют, будто бы нынешняя система народного образования никуда не годится, потому что копирует старую. Слава богу, наш министр внес полную ясность в этот вопрос.

Поражаешься иной раз скудоумию этих господ из оппозиции! Они стали сенаторами просто потому, что все радикалы стоят друг друга. Сказать по правде, они недостойны даже дышать воздухом Государственного совета.

22 декабря (из газет)

Вдоль и поперек прочитал новую статью в «Обозревателе». Этот подонок снова подкапывается под сенаторов. Он называет Государственный

совет «машиной для голосования» и рекомендует нам поменьше думать о министерских портфелях и побольше — о пользе общества. Послушать его — мы все должны немедленно отказаться от своих полномочий и выставить свои кандидатуры на всеобщее голосование. Наконец, ему не дает покоя предложение об увеличении вознаграждения сенаторам (выдвинутое мной!), и он тычет нам в нос то, что в Англии, мол, депутатам Палаты общин платят больше, чем членам Палаты лордов.

Долго не мог успокоиться после того, как прочел эту мерзкую статью. Всенародное голосование, может быть, хорошо для Америки или Англии, но наш народ для этого еще не созрел. На прошлых выборах я, например, выставлял свою кандидатуру в Палату представителей, и что же — какой-то проходимец собрал в моем округе больше голосов, чем я.

Беда наша в том, что у нас еще слишком низкая культура. А пока это так, место сенатора — это единственное, на что я могу рассчитывать. Будь ты хоть самый заслуженный человек, на выборах твои шансы равны нулю; нет, правительство решительно должно укоротить руки нигилистам! Неужели руководство не понимает, что для этих людей нет ничего святого!

24 декабря

Весь день мне было не по себе. Оппозиция вылезла с предложением пересмотреть положение о Государственном совете и навести в нем должный порядок. Хотел бы я знать, что у них на уме!

25 декабря

Сегодня состоялось заключительное заседание сессии. Все выступавшие единодушно осудили пасквилянтов, подрывающих авторитет Государственного совета. От себя добавлю только, что во время всеобщих выборов наверх обыкновенно всплывает всякая дрянь. Тем дело и кончается.

Примечание

Вечером опять был у своей массажистки. Одно могу сказать: таким женщинам сколько ни заплати — все мало. В голове у меня постоянно вертится вопрос: как бы я чувствовал себя, если бы моя судьба зависела от каких-то нелепых выборов? Получив назначение, по крайней мере твердо знаешь, что у тебя есть место и тебе обеспечено скромное существование. Хорошо этим придуркам писать, что жалованье сенаторов должно иметь «чисто символический характер»,— как будто сенатор не человек и у него нет нормальных человеческих потребностей.

В конце концов, должны же как-то вознаграждаться заслуги человека перед своим народом!



А. Рашид Нгах



ЕДИНСТВЕННАЯ ЛАМПА

Этот ребенок жил в постоянном страхе — мать не скупилась на щипки и оплеухи, а иной раз бралась и за бамбуковую палку — и это научило его лгать. Когда он возвращался домой под вечер, на вопрос: «Где ты был?» — он отвечал: «Ходил встречать отца на пристань». Он лгал — на самом деле он играл на школьном дворе.

Раньше он отвечал честно: «Играл в школе». Но мать не поощряла его участия в школьной жизни.

«Делать тебе нечего! Опять играешь. Только и знаешь что играть. Пускай дома все подохнут, а ты все равно будешь играть. Проклятый ребенок! Никакой от тебя помощи!» При этом она размахивала руками, едва не попадая ему в глаза, и лицо ее краснело от гнева. А то вдруг хватала мальчика за ухо или больно щипала, или била по спине бамбуковой палкой. И мальчик начинал пронзительно плакать.

В этот вечер все повторилось: снова мать ругала его и снова ему здорово досталось.

— Ну-ка, сбегай купи масла! — приказала мать.

— Како-о-ого ма-а-асла? — еле произнес он, захлебываясь.

— Как это какого? Ты что, в темноте хочешь сидеть?

И двенадцатилетний мальчик, ученик шестого класса, сжался в комочек от страха.

Он протянул раскрытую ладонь, отвернувшись и словно боясь взглянуть на мать, которая не понимала его и не желала считаться с ним, с его школьными делами. Мать бросила ему на ладонь монету в десять центов. Другой рукой она придерживала у груди голенького младенца, голова которого была покрыта коростой.

Мальчик медленно пошел в кухню, вытирая слезы рукой. Разыскивая бутылку для масла, он заглянул в горшок, стоявший на очаге. Огонь потух, и светились лишь красные угольки. Риса в котелке не было. Сковорода, на которой обычно жарили рыбу, валялась перевернутая.

Подойдя к двери, он услышал плач маленького братишки. Его другой младший брат лежал на циновке. Сейчас он стал его первым младшим братом, потому что тот, который раньше был первым, заболел и умер в возрасте девяти лет. Соседи говорили, что брата еще можно было спасти, если бы его срочно отвезли в больницу. Но отец и мать в один голос заявили: если уж что человеку на роду написано — того не миновать. Смерть малыша не очень их взволновала.

Мальчик посторонился, чтобы мать могла взять братца.

— Этот несчастный ребенок еще не ушел! — злобно завопила мать.

Она положила руку на худенькое плечо братца. Он тоже был совсем голый, с раздутым животом,

большой безволосой головой и ножками, тонкими, как две палочки.

— Ну, чего ты ждешь? — снова накинулась на него мать.— Ты что, думаешь, ночь будет тебя дожидаться?

Услышав брань, мальчик бросился вниз, перескакивая через две ступеньки, и бегом пустился к лавке, крепко зажав в руке бутылку.

Обратно он шел, осторожно держа перед собой бутылку — он купил масла на десять центов.

Мать сидела на помосте, пристроенном к кухне. Она была без кофты, с едва прикрытой грудью. Так сидела она каждый вечер, дожидаясь мужа с уловом, а как только тот появлялся, она выхватывала у него из рук рыбу и уходила в кухню.

Солнце уже село. Вокруг хижины стало совсем темно. Слышен был непрерывный шепот волн. Ветер шуршал в пальмовых листьях.

— На сколько центов ты купил масла? — звучный голос матери перекрывал шум моря. Младенец, который совсем было заснул у нее на руках, вздрогнул от резкого звука ее голоса и захныкал.

— На десять центов,— боязливо ответил мальчик.

— Несчастный ребенок! Ты что думаешь, отец твой богач? Люди из сил выбиваются, чтобы заработать десять центов, а ему и горя мало,— снова закричала мать.

Мальчик дрожал с головы до ног, он даже не решался подняться в хижину. Он поставил бутылку на край помоста и отступил на несколько шагов назад, так, чтобы рука матери не могла его достать.

— Зачем поставил туда? — проворчала мать. — Если прольется масло, пропали наши деньги! Слон неуклюжий! — Она посмотрела на ребенка, который замер на месте, словно пригвожденный к полу. Мать казалась ему сейчас разъяренной тигрицей, зазеваешься — тут же вцепится в горло. Если бы он мог найти где-нибудь приют, он давно убежал бы из дома. И дело было совсем не в том, что он ненавидел родную хижину — просто он чувствовал, что любовь матери к нему давно иссякла. Может быть, эту любовь поглотили два его младших брата? Так или иначе, ему доставались лишь ругань и побои, и мальчик чувствовал себя в родном доме сиротой.

— Отнеси в дом! — отрывисто бросила мать. Мальчик рванулся с места, словно его подтолкнули, нехотя поднялся по бамбуковой лестнице и, как только нагнулся, чтобы поднять бутылку, тут же получил шлепок. Он распрямился, держа бутылку в одной руке, другой потирая горевшую на бедре кожу. Маленький братишка заплакал, испуганный звуком этого шлепка. Потом затих, убаюканный матерью.

На кухне мальчик уныло посидел перед горшком с рисом — еще горячим, — стоявшим на жаровне. Затем встал и провел рукой по бамбуковой стене, отыскивая лампу. Но он нашел старую черную лампу вовсе не там — она висела на верхушке столба посредине хижины. Сняв лампу, он спустился вниз и вылил в нее половину содержимого бутылки. Осторожно зажег фитиль. В тесной кухне сразу стало светло. Мальчик смотрел, как тонкая струйка дыма поднимается из-под горшка, стояще-

го на очаге, и тихонько ползет вдоль черной, закопченной стены.

— Салим! — послышался голос матери, попрежнему в нем не было и тени нежности.

— Да! — испуганно откликнулся мальчик.

— Ты что делаешь на кухне? Наверное, только и думаешь, как бы поесть!

— Нет. Я зажигал лампу.

Салим поставил лампу посредине хижины. Хижина — маленькая и тесная — все же оставалась полутемной, слабое мерцание лампы едва-едва освещало ее. Обычно каждый вечер они собирались посредине хижины — мать, отец и маленькие братья. Но Салим всегда держался в стороне, словно чужой. Он забирался в уголок со школьными учебниками, которые были его единственными друзьями.

Иногда, готовя уроки, он подсаживался поближе к свету лампы — их единственной лампы, потому что они не только не могли позволить себе еще одну лампу, но денег едва хватало, чтобы наполнить маслом даже и эту. Они могли тратить на масло не более пяти центов в день. Единственная лампа должна была нести свою верную службу всю ночь до утра, так как маленький братишка Салима очень любил свет и, куда бы ни несла его мать — туда же следовала и лампа. Когда на дворе становилось темно, мерцающая лампа была главным украшением хижины. Салиму не часто удавалось посидеть возле нее — если огонь не задувал ветер, проникавший сквозь трещины в стенах, мать забирала лампу.

Тогда Салим, огорченный, уходил обратно в

свой угол, и книжки снова оказывались в старой сумке, сплетенной из листьев пандануса. А вскоре он засыпал, чуть слышно похрапывая во сне. Чем сильнее был ветер, проникавший в хижину, тем плотнее сжимался мальчик, поджимая колени и превращаясь в живой комочек, закутанный в кусок выцветшего батика.

Мальчика, совсем еще не искушенного в решении жизненных проблем, теперь всецело занимало только одно — как приобрести лампу, свою собственную, пусть даже совсем маленькую. И он фантазировал, представляя себе, какой она будет — его лампа.

Он сделает ее из маленькой консервной банки. Фитиль, скрученный из старой тряпки, будет плавать посредине, опущенный одним концом в масло. Масла на два цента должно хватить больше чем на час. Вообще-то он не сам все это придумал — он видел однажды такую лампу. В прошлом году во время праздничного шествия свеча в его бумажном фонарике погасла. Товарищи ушли далеко вперед. И Салим в темноте вдруг увидел перед каким-то домом светящуюся цепочку огней — словно зигзаг молнии в ночной темноте. Это были самодельные лампы из консервных банок.

Салим побежал на свет, подойдя поближе, он взял сухой пальмовый лист, чтобы зажечь от огня лампы свой фонарик. Мальчик был поражен ослепительной красотой этой светящейся гирлянды. Такую лампу можно сделать и самому. Банки из-под консервированного молока валялись всюду, их хорошо было поддавать ногой. Но вот откуда взять масла?

— Сали-и-им! — снова позвала мать.

Ее голос был раздраженным и хриплым. Мальчик, который был поглощен созерцанием мерцающего огонька, вздрогнул и тихонько отозвался:

— Да-а?

— Сали-им! — крикнула мать, и мальчик поспешно подошел к ней.

— Что? — испуганно спросил он.

— Иди поищи отца на пристани. И без него смотри не возвращайся!

Мальчик стремглав бросился к двери.

— Ах ты, проклятый, в тех же штанах, что в школу ходишь, побежал,— накинулась на него мать. Мальчик остановился как вкопанный. Оглядел свои штаны. Синие штанишки были уже грязные, но на темной ткани грязь была почти не видна.

— В одних и тех же штанах и в школу ходишь, и в них же играешь! В них и на улицу готов бежать! Одежду не бережешь!

Ребенок застыл на месте, засунув палец в рот. Глаза его, непонимающие, удивленные, были прикованы к матери.

— Переоденься! — пронзительно крикнула мать.

Совсем сбитый с толку, ребенок стащил с себя злополучные штаны и вышел из дома, обмотавшись куском старого вылинявшего батика.

На дороге, что вела к пристани, он увидел отца, который устало шагал ему навстречу, держа в руках большую рыбу. Мальчик был бы горд, если бы отец поручил ему нести улов и если бы мать приняла рыбу из его рук, но отец не дал ему своей

добычи, и Салим, как испуганный котенок, молча плелся за ним, не отрывая взгляда от великолепной рыбы в руках отца, которая становилась золотой, когда на нее падал свет из окна дома, мимо которого они проходили.

Едва они подошли к хижине, мать вышла им навстречу. Она взяла рыбу у отца. Маленького братца она по-прежнему держала у груди.

— Много рыбы поймал, отец? — прозвучал тонкий голос второго братишки.

— Да нет...— Отец с нежностью погладил братишку по голове.

Отец пошел умыться к колодцу, а мать с обоими младшими детьми ушла в кухню. Салим осторожно пробрался между сваями, на которых стояла хижина, нашел и завернул в тряпку какой-то предмет, потом вылез из-под хижины, со страхом огляделся. Грудь его тяжело вздымалась.

Подобно ловкому контрабандисту, Салим сумел пронести сверток в хижину и спрятать его под свою сумку. Потом он прошел в кухню. Возле очага покачивалась люлька маленького братца. Мать чистила рыбу, рядом с ней сидел второй братишка. Лампа стояла на полу.

— Ми, посиди-ка здесь! — обратилась мать к ребенку, сидящему возле нее. — А ты, Салим, присмотри за братцем. Мне нужно принести воды.— И она вышла из кухни.

— Салим, покачай люльку, если малыш заплачет,— крикнула она со двора.

Салим легонько толкнул люльку, хотя ребенок лежал тихо. Люлька закачалась, как лодка на большой волне.

— Сиди тихо, Ми,— приказал он другому братишке и вышел из кухни.

Пока матери нет дома, нужно было использовать удобный случай, и Салим взял бутылку с маслом, стараясь, чтобы брат не заметил.

— Сиди тихо, Ми,— еще раз повторил он.— Прогони кошку, если она появится.

Он осторожно отлил из бутылки немного масла в консервную банку, которую вытащил из-под сумки. О, как он торжествовал! Ведь ему удалось осуществить мечту, которую он так долго лелеял!

Салим поставил бутылку на прежнее место, не заметив, что братишка наблюдает за ним.

— А-а, ты взял масло!— сказал брат.— Я маме скажу. Все расскажу маме.

— Тсс... Ты что? Я просто переставил бутылку, чтобы масло не пролилось,— сказал он, надеясь, что брат поверил ему и теперь не выдаст матери.

Мать вошла в хижину, неся ведро с водой.

— Малыш не просыпался?— спросила она.

— Нет.

Салим отошел от очага и снова тихонько толкнул люльку.

— Мама, а Лим взял масло,— пожаловался Ми.

— Салим, для чего это тебе понадобилось масло?— Мать злобно уставилась на мальчика.

— Я не брал, мама,— отпирался он.

— Ты думаешь, у меня денег много! А завтра снова надо тратить деньги на масло!— Мать была в ярости — она даже бросила жарить рыбу и злыми глазами следила за Салимом.

— Да нет, масло чуть было не пролилось, вот я

и переставил бутылку,— оправдывался он. Он метнул угрожающий взгляд на брата, и тот отвернулся, испуганный.

При виде приправы к рису и жареной рыбы у Салима потекли слюнки. Запах еды ударил ему в нос. В животе давно бурчало от голода — ведь у него с полудня во рту ни крупинки не было. Чтобы заглушить голод, он пил воду.

Ребенок в люльке захныкал, и мать, которая снова принялась было за жаркое, подошла к нему. Покачала люльку, но ребенок продолжал плакать. Она быстро вынула малыша из колыбели и покормила его. Ребенок успокоился и заснул, но мать все еще продолжала держать его у груди.

— Салим, присмотри за приправой,— приказала мать. Салим поспешил к очагу и увидел, что второй братишка клюет носом.

— Азми засыпает,— сказал он.

— Приведи его сюда,— потребовала мать.

Салим повел братишку из кухни. Не раскрывая глаз, тот шел, упираясь, своими тонкими ножками. Салим уложил его.

— Салим, сними рыбу с огня,— приказала мать, укладывая ребенка в люльку. Она легонько покачала колыбель, напевая что-то без слов.

Салим снял с огня жаркое. Запах жареной рыбы, еще более острый, казалось, переполнил все его существо. В желудке отчаянно урчало. Ему казалось, он мог проглотить всю рыбину как есть, без приправы, прямо с костями.

Мать снова подошла к жаровне. Салим отодвинулся, как будто боясь соприкоснуться с ней. Она

двигалась с трудом. Мать словно внезапно лишилась сил. Волосы ее спутались. Лицо прорезали морщины.

Наконец все было готово: рис, приправа и жареная рыба. Мать расставила все это на полу рядом с люлькой. Их единственная лампа стояла тут же, освещая трапезу своих хозяев. И маленького хозяина в люльке.

— Ну, готово?—спросил отец.

Он уже переоделся. Полосатый кайн и теплая синяя рубашка с длинными рукавами надежно защищали его от холода. Ветер с моря становился все свежее, и удары волн о берег стали слышны даже здесь.

Мать не ответила отцу и только указала глазами на еду. Отец сел скрестив ноги. Лицо у матери было сейчас осунувшееся, усталое—вечерами при тусклом свете лампы у нее всегда было такое лицо. Обычно Салим не принимал участия в общей трапезе, Азми же ел вместе со всеми. Салим сидел, прислонившись к стене, наблюдая, как ест отец, и у него живот подводило от голода.

Душа этого ребенка нелегко поддавалась печали. Хотя ему доставались лишь остатки еды после отца и брата, но он считал, что и это для него хорошо, и ему ни разу не пришло в голову отказаться. А может быть, он понимал, что если бы он отказался, то получил бы пищу еще хуже этой. К тому же и желудок его уже привык к остывшему, холодному рису и сухой рыбе.

— Иди ешь, Салим,—позвала мать.

Отец уже отодвинулся в сторону и сплевывал рисинки, которые застряли у него в зубах. Он за-

курил дешевую сигарету, задумчиво глядя на кольца дыма — они были похожи на повороты его жизни, в которой трудно было различить начало и конец.

Салим подсел к еде. Он уселся как раз между лампой и люлькой. Матери это не понравилось, и она сказала:

— Отодвинься, ты заслоняешь свет ребенку.

Отец по-прежнему молча курил. Мальчик пересел так, чтобы свет фонаря падал на люльку.

После Салима принялась за еду и мать. Мальчик из своего угла наблюдал за ней. Мать ела не так жадно, как отец. Она жевала, казалось, без всякого аппетита, изредка покачивая люльку.

Салим посмотрел на отца. Тот сидел вытянув перед собой ноги. Глаза его были закрыты. Мальчик подумал было, что отец от усталости заснул сидя. Но нет, он медленно встал, подошел к двери и отодвинул засов. Ветер и волны слили свои голоса, и прибой, казалось, шумел у самой лестницы.

— Ветер стал сильнее,— сказал отец.— И море разбушевалось.

Отец подтянул к себе черную грязную подушку и лег рядом со средним сыном.

Он уставился на потолок — сквозь дыры в кровле глядели звезды. Если завтра ветер не стихнет, нельзя будет выйти в море — это значит, что семья останется без пищи.

Мать пошла в кухню ополоснуть посуду и вскоре вернулась. Она легла рядом с сыном и накрылась куском батика. Обычно они так и спали: средний сын — между отцом и матерью; согретый их любовью, защищенный от холода.

Салим улиткой подполз к лампе, зажав в одной руке карандаш, в другой — книжку. Теперь ему было достаточно света, и он, открыв книгу, начал писать. Однако сидеть согнувшись было неудобно, и он лег на живот.

Он увлеченно писал и не заметил, как проснулась мать. Она вскочила с постели и, не обращая внимания на ребенка, схватила лампу и подвесила ее повыше.

Снова ему помешали! Краем глаза Салим наблюдал за движениями матери. Убедившись, что лампа закреплена надежно, она улеглась снова и с нежностью обняла братишку. Огорченный, Салим снова сел у стены и долго смотрел на лампу, горевшую над головой.

«Меньше чем через два месяца у вас будут экзамены»,— вспомнил он слова учителя, сказанные сегодня утром.— Вы должны хорошо подготовиться дома».

Вспомнив это, Салим почувствовал, как сжалось его сердце. Он успел ответить только на два вопроса, когда мать отобрала у него лампу. Завтра учитель его, конечно, спросит: «Салим, почему ты не выполнил домашнее задание?» А он превратится в камень: если постучать по нему — зазвенит.

Пять месяцев назад учитель отвел Салима к директору. Мальчик был очень взволнован, от страха у него даже выступил холодный пот.

— Ты на самом деле не можешь заплатить три доллара, чтобы сдать экзамен?

Салим молчал и только умоляюще смотрел на учителя.

— Ты сказал отцу? — снова спросил директор.

Мальчик не отвечал. Глаза его наполнились слезами.

— Чем занимается твой отец?

— Рыбачит.

— Ты все-таки сдашь экзамен. Я заплатил за тебя,— сказал директор и вышел в сопровождении учителя.

Вечером Салим сказал матери:

— Мам, господин учитель заплатил деньги за экзамен.

— Какой господин учитель?— равнодушно спросила мать.

— Господин директор. Когда у нас будут деньги, мы ему отдадим? — спросил Салим с надеждой.

Но мать молчала.

Вечером она обо всем рассказала отцу. Оба думали, что мальчик уже спит, но Салим из своего уголка слышал весь их разговор.

— Я не могу уплатить эти три доллара,— сказал отец,— и к тому же если он сдаст экзамен, снова потребуются деньги. А где их взять?

— Что еще такое? — удивилась мать.

— Да разве ты не знаешь? Куртка и штаны необходимы в английской школе. Книжки тоже, и все это стоит денег. Сама подумай.

Мать молчала. Она думала о том, как они бедны. Даже для своей единственной лампы они могли купить масла только на пять центов в день.

— Мы ведь тоже люди,— продолжал отец,— у нас тоже есть стыд. Разве тебе не стыдно, например, что другие дети хорошо одеты, а твой замарашка? А в английской школе не то что в малайской: детей положено хорошо одевать.

Завтра утром Салим снова отправится в школу. Учитель будет проверять задание и узнает, что Салим его не выполнил. Какое ему дело до того, что у них в хижине тускло мерцает под потолком единственная лампа?

Мальчик долго не мог оторвать глаз от лампы, высоко висящей на столбе. И все прислушивался к хриплому затрудненному дыханию отца. Мать, сжавшись в комок, прижимала к себе ребенка, который прильнул к ней и словно сросся с ее телом.

Салим тихонько встал и направился в кухню. Он ступал с чрезвычайной осторожностью. Один неверный шаг — и он снова разбудит мать, а тогда уж ему несдобровать. Он вернулся на прежнее место, держа в руке спичечный коробок.

Он вытащил из тайника свою самодельную лампу. Зажег фитиль, свисающий с края банки, и этот свет словно согрел его сердце.

Ночь становилась все темнее. Салим с трудом отгонял от себя дремоту. Осталось сделать совсем немного. Раз или два пламя лампы почти коснулось пряди волос у него на лбу. Наконец сон одолел его. Карандаш выпал у мальчика из рук, и он заснул рядом со своей лампой.

Случайно потянувшись во сне, он опрокинул банку. Масло и огонь, объединив свои силы, набросились на книжку и угол циновки. Пламя коснулось руки Салима. Ощутив боль, он проснулся и закричал от страха:

— Помогите... Помоги-и-ите! Пожар, по-о-жа-а-ар!

Вскочили отец и мать. Азми испугался и запла-

кал. Младенец кричал тоже. Его капризный голос был резким и хриплым. Отец и мать бросились тушить огонь, который уже начал подниматься по стене. Ветер выл неистово.

— Помоги-и-и-ите, помоги-и-ите! — голосила мать.— Ребенок мой умира-а-ает! Ребенок мой умира-а-ает!

На ее крики сбежались соседи.

Общими усилиями им удалось потушить огонь. Только кусок циновки, сумка с книжками и часть стены сгорели. Причина пожара стала известна очень скоро.

— Этот проклятый мальчишка сам сделал себе лампу,— задыхаясь, говорила мать.— Посмел отлить масло из бутылки.

Казалось, она готова растерзать мальчика, виновного в несчастье. Салим молчал, хотя боль от ожога на руке была нестерпимой и утихла только на следующий день.

Отец стоял, прислонившись к столбу, подпирающему хижину, и смотрел сквозь дыру, проделанную в стене огнем. Хижина сотрясалась под напором ветра. Мать вынула ребенка из люльки, покормила его и убаюкала, крепко прижав к груди. Лицо ее было мокрым от слез.

Самодельную лампу Салима мать куда-то забросила. А их единственная лампа по-прежнему верно светила до утра.



Яхья Исмаил



О ДЖАКАРТА, ДЖАКАРТА!

На небе сияет бледный месяц. Его тусклый свет падает на крыши жмущихся друг к другу домов деревни Нгурай, на рисовые поля и невысокие холмы, на уснувшую в объятиях сумрачной ночи реку. С вечера дул свежий ветер, но сейчас он совсем стих. Неподвижный воздух и липкая жара действуют угнетающе. Какой-то невидимый злой дух нарушил спокойствие деревни. Хотя рассказы о поджогах и убийствах уже дошли сюда, жители будто ожидали еще каких-то особых вестей, а событий, о которых было доподлинно известно, в разговорах старались не касаться. Напряженное предчувствие беды достигло этой ночью предела. Полное безветрие и духота еще больше усугубляли ощущение приближающейся опасности. Даже неподвижность реки, извивавшейся вдоль деревни, казалось, таила в себе какую-то угрозу. Этой тревожной ночи суждено было надолго остаться в памяти жителей деревни.

Огненные всполохи пламени взметнулись в небо. Вначале они были разрозненны, но вскоре

словно чья-то огромная рука соединила их в хорошо видную издалека широкую огненную полосу. Послышался шум движения большой толпы, и, хотя люди шли босиком, шум этот напоминал топот солдатских сапог, шагающих по опавшим листьям и сухим веткам. В руках или за поясом люди несли длинные палаши-педанги, копья или какое-то другое оружие. Лезвия педангов сверкали так, что на них страшно было смотреть. На потных лицах — решимость. От этих не жди милости и пощады. Мокрые от пота люди двигались в сумраке ночи безмолвно, как роботы. Их глаза, их ноги подчинялись единому ритму, словно они выполняли чей-то приказ. Бесформенная толпа стала таять лишь у южной окраины деревни — здесь люди рассыпались в разные стороны, как цыплята, потерявшие наседку. И тогда ночную тишину разорвали голоса — крики, стоны, рыдания:

— Смерть врагам! Смерть! Смерть!

— Смерть коммунистам! Смерть!

— Жги их. Пали! Дотла!

Голоса взмывали вверх точно так же, как и языки пламени, лизавшие стены и крыши домов. Сумрачная тишина и неподвижность сменились буйством. Все смешалось, как во время битвы между войсками Рамы и Раваны в «Рамаяне». Повсюду мелькали спасавшиеся бегством люди. Среди криков отчаяния и ужаса слышались неистовые вопли убийц. Жители выскакивали из домов, держа на руках детей, но тут же падали под ударами сверкавших в ночном мраке педангов и гибли под горящими обломками. «Аллаху-акбар,

аллаху-акбар! — Велик аллах!» — слышалось со всех сторон. Если бы эту картину видели боги, то и они помертвели бы при виде страшного зрелища: одни люди убивали других.

Это безумие увлекло и Маснанто. Его красные, налитые злобой глаза, казалось, искали что-то. Правой рукой он изо всей силы сжимал рукоять педанга, блестящее лезвие которого уже было обагрено человеческой кровью. Она медленными каплями стекала на землю. Наконец-то он может дать выход ярости и мести. Давно ждал он этого часа. Сегодня ночью он наконец отправит Карто к его богам — Марксу и Ленину, и сделает это сам, без чьей-либо помощи. Он встретится с ним лицом к лицу. Он не хочет вмешательства друзей, сам сведет счеты со стариком. Он, Маснанто — настоящий мужчина. Он должен отомстить.

Обнаженный по пояс и босой, Маснанто быстро шагал по деревне, размахивая педангом, чтобы придать себе смелости и уверенности. Вид острого блестящего педанга, залитого кровью, придавал ему сил. Он воображал себя воином из отряда Рамы, сражавшегося в Лангкапури против злого Раваны, и ему казалось, будто рядом идут другие воины, сотрясая воздух воинственными кличами. В ночном небе, красном от зловещего пламени, ему слышались барабаны войны. И звуки эти гасили чувство страха, прятавшееся где-то в глубине души. Маснанто горячился, как конь, рвущийся из узды. Ему казалось, что ноги движутся слишком медленно, а ему так хотелось поскорее очутиться в доме Карто, поскорее разделаться с ним.

Дом Карто, сложенный из камня, находился чуть поодаль от домов, охваченных огнем, и был цел и невредим — пламя не доставало до него. И вот Маснанто уже совсем рядом. Его глаза бегают по сторонам. Может быть, Карто спрятался за рассохшимися бочками рядом с домом и ждет там с тесаком в руке, сверкающим и отточенным не хуже педанга? А может, у него есть и пистолет?.. Или он просто сидит сейчас в доме в обнимку со своей молодой женой... Но у Маснанто нет времени для раздумий, ему нужно найти Карто, и обязательно этой ночью, пусть даже у того и пистолет, с обоймой, полной патронов.

— Эй, Карто! Карто! — кричит Маснанто, сам не зная, зачем.

Из дома не доносится ни звука, и он еще больше распаляется. Он с яростью ударяет в дверь, и она распахивается настежь.

Маснанто на мгновенье застывает на пороге. Маленькая керосиновая лампа освещает тусклым колеблющимся светом комнату. На полу недвижно стоит на коленях Сринингсих, старшая дочь Карто — перед раскрытым кораном. Большие, чуть навыкате, глаза девушки полны страха. Лицо ее бледно, и даже при тусклом свете лампы можно увидеть, как она напряжена. При виде окровавленного педанга и безумных глаз юноши сердце ее начинает учащенно биться. А Маснанто, оторопев от неожиданности, застыл неподвижно. Мысли его беспорядочно мечутся, словно он только что пробудился от сна. Некоторое время оба молчат. Ни дуновения. Воздух накален. Снаружи доносятся неясные голоса. Напряженность и странная жуть

царят в доме Карто. Две пары глаз устремлены друг на друга — одни налитые злобой, другие испуганные, вытаращенные, как у рыбы, только что вынутой из воды.

— Где Карто? — голос Маснанто прозвучал неожиданно резко.

На лбу у девушки выступил пот. Пот струйками сбегает по спине. А голос разрывает напряженную тишину.

— Ты ищешь моего отца? — спрашивает девушка, словно не поняв вопроса. От страха голос у нее сдавленный и неестественно тонкий, руки дрожат.

— Где Карто, коммунист, убивший моего отца? — на сей раз медленно спрашивает Маснанто, делая ударение на последних словах.

Его злобный взгляд впивается в глаза девушки, и она опускает их. Холодный пот обдает ее с головы до ног.

«Что сказать ему? — думает она в замешательстве, понимая, что ответить нечего. Она пытается взять себя в руки и спокойно посмотреть в глаза Маснанто, того самого Маснанто, который был ее приятелем, когда они учились в университете.— Ну что он может сделать со мной? — Она болезненно ощущает резкие толчки сердца.— Ведь не захочет же он быть злодеем по отношению к девушке, с которой еще совсем недавно мирно разговаривал и был на «ты». Однажды он даже ущипнул меня, когда я чересчур разгорячилась в споре».

— Я сама не знаю, куда ушел отец,— наконец произносит она. Девушка старается говорить спо-

койно, не спеша, но по-прежнему не сводит глаз с окровавленного педанга.

Маснанто смеется; этот злой смех впивается Сринингсих в сердце.

— Как же это ты не знаешь, где твой отец? Это что, у коммунистов так принято? Скрываться ото всех, и даже от собственных детей?..

И тут Сринингсих не выдерживает. В ее душе вдруг поднимается протест против этих оскорблений и нелепых обвинений. Неужели Маснанто не видит, что она сидит перед раскрытым кораном, готовясь к общению с богом? Наконец она решается поднять глаза на пришельца и говорит тихо, но твердо:

— Да, мой отец коммунист. Но это не значит, что все в нашей семье коммунисты. И если ты считаешь моего отца плохим человеком, не надо думать, что вся семья плохая.

Ее решительный тон выводит Маснанто из себя. В первую минуту, когда он ворвался в дом Карто, у него появилось что-то вроде жалости, но теперь, когда он вспомнил об убитом отце, он вновь полон жажды мести.

— Да, Нингсих, я вижу, что ты читаешь коран. Что ж, стало быть, и коммунисты умеют молиться, когда нужда придет. А особенно когда настает трудный час,— издевательски произносит он. «Этих рыбьих глаз я не боюсь. Это глаза пленницы, она не осмелится сопротивляться. Какие круглые, налитые груди...»

Трепещущий свет лампы бросает блики на ложбинку между двумя холмами, плотно обтянутыми кебайей с глубоким вырезом; он видит, как они

поднимаются и опускаются в такт дыханию. Маснанто на мгновение забывает, зачем он пришел сюда. Память уносит его вдруг далеко-далеко... Он встречал Сринингсих в университете, разговаривал с ней и однажды ущипнул ее пониже спины — ее тело оказалось податливым, мягким, как агар-агар. Но у Маснанто никогда не было желания сблизиться со Сринингсих. Никогда. Где бы они ни встречались — на лекциях, в магазине, на вечеринках, их отношения оставались только приятельскими. Не более...

Ни дуновения. Накаленный воздух вернул юношу в реальный мир. Эта девушка с темным лицом, с «рыбьими» глазами и гладкой, как персик, кожей сейчас в его власти. Черный покров ночи и доносившиеся изредка отчаянные крики жителей деревни будто подстегнули Маснанто. Он внезапно ощутил, что здесь, в доме Карто, время остановилось, тогда как там, за стенами дома, друзья уже, наверное, устали от зрелища крови и пляски огня над крышами.

Отблеск пламени лампы вдруг скользнул по щеке под широко открытыми глазами девушки.

— Я не коммунистка. Ты сам знаешь, что ни в каких политических организациях в университете я не участвовала. Да, отец мой — коммунист. Но разве дети отвечают за отцов?

Он задумался. Действительно, должны ли дети отвечать за отцов? Эти слова словно прокрались в его мозг и зашевелились, заходили там кругами. Рука, все еще сжимавшая педанг, ослабла. Образ отца-хаджи, убитого, как говорили, Карто и его друзьями, стал ускользать из памяти. Он видел

лишь фигуру отца, одетого во все белое, тот будто хотел сказать ему что-то, но что именно, Маснанто не мог разобрать. Влажной рукой он вытер пот, выступивший на лбу, словно желая стереть память об отце, о том, что он должен мстить за него.

— Какое мне дело до этого — заговорил он холодным, как сталь педанга, голосом.— Твой отец — коммунист, он убил моего отца, не думая о своих детях и их судьбе. Я должен отомстить, потому что мой отец пал от руки коммуниста. Тебе не понять моего горя и моей боли, ведь тебе-то твой отец ничего плохого не сделал!

И в мозгу Маснанто зазвучал скрипучий въедливый голос: «Долг сына — отомстить за смерть отца! Кровь должна быть оплачена кровью. Это закон жизни».

«Подожди, отец. Дай мне сказать несколько слов со спокойным сердцем и холодной головой. Не могу я опустить смертоносное лезвие на шею Сринингсих, дочери Карто. Не могу я убить ее, как убивал других коммунистов. Это слабость, но не сердись на меня, не надо. Я все равно отомщу. Не убийством... Вот увидишь, что я сделаю. Вот увидишь...»

Ему казалось, что внутренний голос натыкается во тьме на стены и затихает. Маснанто знал теперь, как отомстить ненавистному Карто. Сринингсих, его дочь, искупит вину отца. Ни дуновения. Воздух накален.

«Лишь этот мерцающий светильник будет свидетелем. Пусть же горе Сринингсих станет платой за деяния ее отца. Так тому и быть!» Маснанто дрожал. В горле стоял ком. Рукоять

педанга стала влажной от пота. В глазах все плыло. Ему слышались хриплые голоса, хлопанье в ладоши, стук большого барабана — генданга, звуки бешеного ритма. Вот его вытолкнули на середину круга, приказали плясать, и он запрыгал, как обезьяна в «Рамаяне». Потом в круг вытолкнули Сринингсих. Она упирается, но хлопки в ладоши и крики подстегивают ее. Запрыгала и она, пухлые губы приоткрылись, а рыбьи, навыкате, глаза бесстыдно зовут. Потом глаза задвигались из стороны в сторону, как у танцовщицы, исполнительницы легонга[1]. Этот взгляд завораживает, проникает в самое сердце...

Ни дуновения. Воздух накален. Голова Маснанто отяжелела. Фигура одетого в белое отца исчезла. И все вокруг предстало в новом свете. Дальше ему идти некуда. Невозможно понять, почему к его голым ногам прилипло столько песку...

Сринингсих стоит на коленях, все в той же молитвенной позе. Глаза смотрят вверх, прямо в другие, враждебные глаза. Грудь подымается и опускается. Маснанто следит за этим движением, взгляд проникает в вырез кебайи, и он снова видит два округлых холма. Он делает шаг навстречу девушке, которая пытается перехватить его взгляд, смягчить его душу, но педанг начинает подниматься, медленно, неотвратимо. Его лезвие блестит в мерцающем свете лампы. Девушка закрывает глаза и сжимается в комок. Ей кажется, что она уже чувствует прикосновение педанга. Губы что-то шепчут. Имя бога, пророка, выучен-

---

[1] Легонг — старинный балийский танец-пантомима.

ную когда-то суру корана?.. Она чувствует опять комок в горле. Вот и смерть, такая ужасная смерть...

Но почему же палаш не коснулся ее тела? Отчего так медлит ангел смерти? Я в твоих руках, Маснанто! Убей меня, раз ненависть к моему отцу-коммунисту требует от тебя мести! Ну, убей же! Раз моя смерть—облегчение для тебя, что я могу поделать... Я в твоих руках. Я готова ко всему.

Ни дуновения. Воздух накален. Безмолвие нарушил звон металла. Педанг уже не нужен. Трясущейся рукой Маснанто рванул кебайю на груди Сринингсих. Губы ее дрогнули, словно она хотела произнести какое-то слово, но звук застрял где-то в горле. Все ее тело охватила страшная слабость. Девушка поняла, что она останется жива, поняла, что ей предстоит испытать иную муку. «О, убей меня! Лучше убей меня!» —хотела крикнуть она, но слова замерли на устах.

Педанг брошен на пол. Руки поспешно движутся по телу. Маснанто словно обезумел, он прерывисто дышит, жадно хватая воздух ртом. Ошеломленная его свирепостью, она не в силах сопротивляться. «Не надо, не надо»,—пытается произнести она, но сдавленный звук так и остается где-то в груди.

Барабан войны продолжает стучать в ушах Маснанто. Звуки его резки и отчетливы, они взвинчивают нервы и заставляют дышать в такт ритму. Эта бешеная мелодия захватывает все сильнее. «Вот тебе! Я втопчу тебя в грязь, и у тебя не станет будущего! Это тебе за моего отца! Позор будет теперь твоей участью до конца дней твоих! Мужчине, который захочет жениться на тебе, ты

побоишься сказать об этом даже шепотом! Это твоя погибель, Срингсих, гибель при жизни!»

Гром барабана войны поднимается все выше и выше. Вместе с ним вверх несутся крики и всхлипывания. Но их заглушает дикий смех. Это смех Маснанто, насильника Маснанто. Он опьянен грохотом барабана. «Я разрушил девичий мир Сринингсих!» Его охватила слабость, глаза остановились, уставились в одну точку. Со лба струился пот. Несколько капель упали на лицо Сринингсих. Но она не шелохнулась. Какое-то страшное предчувствие заставило Маснанто разжать руки. Нагое мягкое тело Сринингсих было недвижно.

...Комнату по-прежнему освещала тусклая керосиновая лампа. Коран валялся в углу. Все было так же. Только глаза Сринингсих, остекленев, уставились в потолок...

Сплошная чернота вдруг застлала взор Маснанто. «Мертва...»

Он встал, поднял педанг, шатаясь, неверными шагами добрел до двери, и вдруг опрометью бросился прочь от дома, туда, где не смолкали звуки кровавого шабаша, где по-прежнему полыхал огонь.



Сюй-Сюй



ЛОВУШКА

С тех пор как мадам А Цзинь потеряла мужа, все у нее пошло кувырком. Когда умирает тауке, он обычно оставляет семье наследство. А Цзинь — уличный торговец — оставил своей вдове лишь пятерых детей да пятьсот долларов долгу.

Прокормить пятерых детей в Сингапуре, где жизнь довольно дорога, нелегкое дело и для мужчины, а вдова А Цзинь была всего-навсего женщиной, и к тому же на ней еще висело пятьсот долларов долгу. У нее не было ни образования, ни специальности, которые дали бы ей возможность зарабатывать деньги. Что же делать? Может быть, думала она, наняться куда-нибудь прислугой или заняться торговлей, как муж? Но старшей дочери было всего четырнадцать, а младшему не исполнилось и года. Кто вместо нее возьмет на себя заботы по дому? Да к тому же, чтобы начать торговать, нужны деньги, а у нее их нет. Какое-то время она раздумывала, не зная, на что решиться, но для

бедных жизнь — вечная проблема, не дающая времени на раздумья. Надо было действовать, и А Цзинь решила попробовать стать прачкой — брать стирку домой.

Старшей дочери, Цюй Юй, пришлось бросить школу и помогать матери по хозяйству. А Цзинь зарабатывала теперь пятьдесят — шестьдесят долларов в месяц, этого вполне хватало на кашу три раза в день. Теперь самой большой проблемой были долги, оставленные покойным мужем.

А Цзинь болел около трех месяцев. Все это время аренда дома и счета в бакалее оставались неоплаченными. Как только А Цзинь навеки закрыл глаза, последние силы покинули его жену, и она потеряла сознание, чего прежде с ней никогда не бывало. Когда же она очнулась, мадам А Цзинь увидела подле себя двух кредиторов — хозяина дома и бакалейщика, стоявших в дверях с мрачными лицами, а рядом — двух женщин, которые сочувственно глядели на нее. Несмотря на то что слезы застилали ей глаза, она все же узнала свою родную сестру, А Фын, и соседку — тетушку Чжан. Появление в ее доме Чжан было неожиданностью, потому что, хотя они и жили рядом, у них не было в обычае заходить друг к другу. А Цзинь все еще осматривалась, когда услышала голос сестры:

— Ну, успокойся, не надо так убиваться, слезами горю не поможешь. Главное сейчас — отдать должное покойному.

— Да, мадам А Цзинь, ваша сестра права. Все мы рано или поздно умрем, а сейчас вам надо позаботиться об умершем, да и о себе тоже,— сказала тетушка Чжан.

А Цзинь вытерла слезы, но как только перевела глаза на кровать, где лежало тело мужа, а потом на стоявших в дверях кредиторов, вновь разразилась слезами и причитаниями. А Фын все поняла и обратилась к кредиторам:

— Ну будьте снисходительны. Человек только что скончался, вся семья в горе. Приходите через несколько дней, и, я думаю, со счетами все будет улажено.

Тетушка Чжан поддержала ее:

— Да, да, тауке, вам сейчас лучше уйти. У них есть родственники, друзья, они помогут, и все долги будут вам выплачены.

С мнением Чжан в общине считались, и кредиторы, услышав от нее такие заверения, решили подождать и отправились домой.

Чжан хорошо знали в этих местах, когда она была помоложе. Сейчас она постарела и жила со своей приемной дочерью, организовав «фонд взаимопомощи» для нуждающихся — ссужая деньги под довольно высокие проценты. Это дало ей возможность скопить небольшое состояние. В последнее время она все посматривала на Цуй Юй. Та была не то чтобы красавица, но весьма привлекательная девушка: миловидное лицо, круглое, как спелое яблоко, чудесные глаза, красивые брови и стройная фигурка с развитой грудью и округлыми бедрами — молода и прелестна, как только что распустившаяся лилия. Когда А Цзинь заболел, тетушка Чжан решила, что настало время действовать, и зачастила в их дом. Помня о недвусмысленных просьбах семьи Ли, она решила, что сам бог пришел ей на помощь. Поэтому она не теряла ни

минуты, и когда А Цзинь умер, была в числе первых, кто навестил вдову, чтобы выразить свои соболезнования.

Как только кредиторы удалились, она сказала А Фын:

— Вы ведь родные сестры, миссис А Фын. Поэтому я хочу поговорить с вами откровенно. Вы должны что-то предпринять, чтобы помочь сестре.

— Конечно,— сказала А Фын, краснея.— Но мы ведь люди бедные, чем я могу ей помочь?

— Выставлять напоказ свою бедность бесполезно. Ведь не допустите же вы, чтобы покойник остался лежать на кровати, не так ли?— Взгляд тетушки Чжан стал холодным и пронзительным.

Своей тактикой она загнала А Фын в угол и заставила сдаться.

— Я просто хочу сказать,— робко заметила А Фын,— что у нас, бедняков, и родственники такие же бедные люди, так что ждать помощи нам неоткуда. Если бы я была так богата, как вы, тогда бы я могла хоть чем-нибудь помочь.

Тетушку Чжан эти слова очень обрадовали. Она заулыбалась, понимая, что выиграла сражение. Сделав вид, что очень смущена и сочувствует горю семьи, Чжан приступила к делу:

— Я не состою с вами в родстве, но раз мы соседи уже много лет, вы можете считать меня своим другом. Мы должны помогать, если кто-то из нас попал в беду.

А Фын удивилась, услышав эти слова, но отнеслась к ним серьезно.

— Моя сестра и я были бы вам очень благодарны, если бы вы великодушно помогли нам.

— Тогда слушайте, миссис А Фын. Сейчас я должна уйти, а вы посоветуйтесь с сестрой, во что обойдутся вам похороны. Завтра приходите ко мне, и мы что-нибудь придумаем.

— О, спасибо, я непременно приду.

А Цзинь, сидевшая в своем стареньком ротановом кресле, прислушивалась к разговору двух женщин. Когда они стали прощаться, она только и могла сказать:

— Я благодарю вас, тетушка Чжан.

— Ах, ну что вы,— ответила та и, повернувшись к А Фын, повторила: — До завтра, миссис А Фын. Так не забудьте.

На следующий день А Фын впервые в жизни переступила порог дома тетушки Чжан. Это был небольшой двухэтажный дом. Входная дверь вела в гостиную, где стояло несколько кушеток. Одна стена была закрыта стеллажом с книжными полками, но на них стояли не книги, а, как это было модно, дорогой фарфор, куклы, безделушки — подделки под старину, бутылки с бренди и виски. На одной из полок стоял большой радиоприемник. Стены были увешаны фотографиями полуобнаженных европейских кинозвезд и танцовщиц местного кабаре, среди которых оказалась и приемная дочь тетушки Чжан, Мэри, в европейском костюме с очень низким декольте, открывавшим ее пышную грудь.

Гостья рассматривала все это с нескрываемой завистью, а хозяйка демонстрировала свое богатство с явным удовольствием.

— Пойдемте, миссис А Фын, вы ведь впервые у меня, и я хочу показать вам дом.

На кухне стоял холодильник и электроплита, все сверкало чистотой. В комнате Мэри гостья увидела большой шкаф с застекленными дверцами, за которыми виднелись чаньшань[1] и европейские платья, а полки для обуви ломились от модных туфель самых разнообразных моделей; на туалетном столике выстроилась батарея флаконов, баночек и еще каких-то предметов, назначения которых А Цзинь даже не знала. Она чувствовала себя так, будто очутилась в стране чудес, и только восхищенно восклицала: «Прелестно! Просто изумительно! Райский уголок!»

Она не преувеличивала. В сравнении с ее собственным жилищем этот дом действительно был похож на рай. Весь ее «дом» состоял из одной комнатушки, которая служила одновременно и столовой, и кабинетом, и спальней, и гостиной, и походила скорее на коробку. Кухня, правда, была расположена отдельно, но пользовались ею все жильцы дома — восемь или девять человек. У каждой хозяйки был свой очаг, и она трижды в день готовила здесь еду, так что кухня всегда была полна чада, а поскольку внутренние перегородки в доме были сделаны из досок десятифутовой длины, а потолка не было, то запахи кухни свободно гуляли по комнатам. Если ночью где-то начинал плакать ребенок, никто в доме не мог уснуть. Люди, которые жили в подобной обстановке,

---

[1] Чаньшань — китайское плотно облегающее платье со стоячим воротником и боковым разрезом.

даже в самых смелых своих мечтах не помышляли о таких вещах, как кушетка, гардероб, туалетный столик, холодильник или электроплита.

Когда Чжан и гостья возвратились в гостиную, служанка подала сигареты и напитки. А Фын отпила глоток из предложенной ей чашечки и обнаружила, что это овалтин[1] с молоком — редкое для нее лакомство. Потом хозяйка предложила ей сигарету:

— Не стесняйтесь, миссис А Фын! Это «Три пятерки» — неплохие сигареты, как говорят понимающие люди.

— Нет, нет, спасибо, тетушка Чжан, ведь у нас, в бедных семьях, женщины не курят.

Тогда Чжан закурила сама. Она затягивалась не спеша, выпуская колечки дыма, которые медленно поднимались вверх и таяли в воздухе. Наблюдая за ее свободными манерами, А Фын про себя подумала: «Живут же люди!» — и у нее невольно вырвалось:

— Живете вы, тетушка Чжан,просто роскошно!

— Вы преувеличиваете, миссис А Фын. Но если говорить откровенно, я считаю, что жизнь так коротка — зачем ограничивать себя? Нужно брать от жизни все возможное. — Глубоко затянувшись, она рассматривала фотографию дочери с явным удовлетворением.

— А у нас совершенно иная жизнь, наш удел — бедность.

---

[1] Овалтин — порошок типа какао, из которого приготовляется тонизирующий напиток.

— Может быть, вы по-своему и правы, но судьба человека в его собственных руках. Возьмите, к примеру, меня. Когда умер мой муж, я осталась без единого цента. Задумалась я о своей жизни и о том, что ждет меня в будущем, и решила, что мне ничего другого не остается, как повеситься! Но тут явилась моя приятельница. «Ну зачем так отчаиваться, сестра? — сказала она.— Ты еще молода, красива, и это капитал, ты можешь на нем заработать, если захочешь». Привела она меня в одно кабаре. Сначала я — ни в какую. Это, решила я, постыдное занятие. А она мне говорит: «Здесь, в Наньяне[1], самое главное — деньги. Есть деньги — значит, у тебя будет все: и репутация, и положение в обществе. А если хочешь делать деньги, нечего стесняться. Будешь богата — все начнут уважать тебя». Так я стала танцовщицей в кабаре... как и моя дочь сейчас.

Чжан затушила сигарету в пепельнице и, закурив новую, продолжала выпускать колечки дыма. А Фын стало не по себе. Она внимательно слушала хозяйку и никак не могла понять, к чему та клонит. Наконец она решила напомнить, зачем пришла.

— Я, наверное, неделикатна, тетушка Чжан, но вы говорили, что хотели помочь моей сестре. Я спросила ее, сколько ей нужно денег на похороны, и она сказала, что ей понадобится сотен пять, не меньше.

— Пятьсот долларов — это ерунда, но...

[1] Наньян — традиционное китайское название стран, расположенных к югу от Китая.

— Что такое? — А Фын испугалась, что, может быть, Чжан передумала.

— Я хочу сказать, что нужно дать расписку. Надеюсь, вы не поймете меня превратно и не подумаете, что я вам не доверяю?

— Ну конечно же, нет. Мы непременно напишем.— У А Фын отлегло от сердца.

— Я дам вам денег взаймы на год. Процентов с вас много не возьму — всего два с половиной. Обычно я беру три. У вашей сестры есть взрослая дочь, будем надеяться, что в следующем году она выйдет замуж и, согласно китайскому обычаю, получит подарок от своего будущего мужа, так что мадам А Цзинь сможет вернуть мне эти деньги. Но мы должны ясно указать в векселе, что, если в течение года долг не будет возвращен, ее дочь Цуй Юй станет как бы закладной. Не знаю, согласится ли ваша сестра на такие условия, пусть она сама решит, устроит ли ее это. Если она согласится, я попрошу кого-нибудь составить договор, мы подпишем его, и завтра же я вручу вам деньги. А может быть, она уже нашла деньги в другом месте?

А Фын была в смятении, она не знала, как ей поступить, и все-таки сказала:

— Думаю, вы можете готовить договор. С сестрой я переговорю, и, если она согласна, мы придем и подпишем его завтра.

Она поднялась, стала прощаться, и тут вдруг большой автомобиль остановился у дверей дома. Из него вышла Мэри в блестящем парчовом платье и, помахав рукой сидевшему за рулем мужчине — судя по всему, богатому тауке,— прокричала: «Гуд бай!» — «Бай!» — ответил мужчина. А Фын

подумала, что Мэри наверняка провела ночь в отеле с этим господином.

Там, где бедность, там и трагедия. Богатые могут на свои деньги купить все, что им угодно. Бедняки же должны не только проливать пот и кровь в борьбе за существование, но ради несчастной чашки риса терпеть унижения и позор.

Мадам А Цзинь понимала, что ей предстоит оплатить похороны мужа, да и кредиторы стояли у порога ее дома, требуя рассчитаться с долгами. Поэтому у нее не было иного выбора, кроме как согласиться подписать вексель тетушки Чжан.

Жизнь вдовы и сирот полна забот, и время пролетело быстро. Настал день уплаты долга. Тетушка Чжан была тут как тут.

— Здравствуйте, мадам А Цзинь. Вы что-то все худеете. Стоит ли так изводить себя?— И она обернулась к ее дочери: — А вы, мисс Цуй Юй стали совсем взрослой и очень похорошели!

Она взяла руку девушки и ласково похлопала по ней. Цуй Юй смутилась, выдернула руку и пододвинула гостье стул:

— Садитесь, пожалуйста, тетушка Чжан!

— Ты действительно очень повзрослела, Цуй Юй. И стала похожа на мать. Только она-то всю свою жизнь работала, вот и состарилась раньше времени, голова у нее уже совсем седая. Надо бы тебе подумать, как облегчить ее бремя.

А Цзинь принесла чашку кофе.

— Выпейте кофе, тетушка Чжан. Вообще моя дочь очень помогает мне с тех пор, как умер отец. Школу-то ведь она бросила, вот помогает мне со стиркой и по дому. Она славная девочка.

— Но ведь она уже совсем взрослая. Вам надо бы найти ей жениха. Выйдет дочка замуж — и свою жизнь устроит, и вам полегче будет.

— Конечно, это было бы прекрасно, но найти хорошего мужа нелегко. Мы хоть и небогаты, но я не выдала бы свою дочь за первого встречного.

— Это верно!— согласилась Чжан. Выждав минуту, она усмехнулась и перешла прямо к делу.— Вы, мадам А Цзинь, наверное, помните, какой сегодня день?

А Цзинь сперва растерялась, но потом сообразила, в чем дело.

— Конечно, тетушка Чжан... Но только знаете, как я ни старалась, мне пока не удалось свести концы с концами.

Улыбка исчезла с лица Чжан.

— Я потому и советовала вам выдать дочь замуж, что в договоре было кое-что записано.

— Но это же не так просто.— А Цзинь опустила глаза.

— Это уж ваше дело. Но коль скоро вы не сумели найти дочери жениха, у меня есть к вам предложение. Что, если она начнет работать в кабаре? Если у нее там хорошо сложатся дела, она сумеет зарабатывать до тысячи долларов в месяц, причем без особых трудов.

— Видите ли... во-первых, Цуй Юй не умеет танцевать, а во-вторых, нужно подумать и о нашей репутации.

— Ну, знаете ли, мадам А Цзинь, выучиться танцевать нетрудно, и, кроме того, никого не интересует, как она танцует. Главное, хороша ли девушка собой и умеет ли она ладить с людьми. И

не будем говорить о том, что вы называете «репутацией». Она на килограммы или фунты не продается и потому реальной ценности не имеет. Если хочешь есть, то репутацией сыт не будешь. Здесь, в Наньяне, все определяется деньгами. Есть у вас деньги — они могут принести вам почет и славу, нет их у вас — вас просто презирают.

Когда Цуй Юй услыхала, о чем идет речь, она заволновалась.

— Нет, мама, я никогда не стану танцовщицей в кабаре. Лучше уж трудиться, как самый последний раб, чем служить в кабаре.

— Вы сказали, мисс Цуй Юй, что предпочли бы тяжелую работу? У меня есть для вас и такая возможность. Вчера из Куала-Лумпура приехала моя приятельница. Она сказала, что там один тауке ищет девушку, которая могла бы присматривать за его детьми. Это не такая уж трудная работа, но все же достаточно хорошо оплачиваемая. Он готов платить две сотни в месяц, если няня ему подойдет. Вас это устраивает?

— Куала-Лумпур, это ведь очень далеко.— А Цзинь была взволнованна — ей и двести долларов не хотелось упустить, но вместе с тем страшно было отпускать дочь одну в такую даль.

— Не так-то это и далеко, мадам А Цзинь. Если отправиться утренним автобусом, то к вечеру будете на месте; а поезд, который уходит вечером, доставит вас в Куала-Лумпур к утру. Ведь мисс Цуй Юй теперь совсем уже взрослая, она сама может позаботиться о себе. Она может договориться, чтобы ее раз в месяц отпускали домой, если вы уж так беспокоитесь. Как-никак это двести долла-

ров. За три месяца — шестьсот, вот вы и вернете мне долг.

— Вы это серьезно мне предлагаете? — спросила Цуй Юй.

— Ну конечно, дитя мое!

— Мама, отпусти меня в Куала-Лумпур.

— Милая, это слишком далеко. У меня же минуты спокойной не будет!

— Но, мама, ничего со мной не случится. И потом, раз в месяц я непременно буду приезжать и привозить тебе деньги.

— Не торопи меня, дай подумать.

— У вас прелестная дочь, мадам А Цзинь. Таких рассудительных и разумных девушек просто поискать, — сказала Чжан, направляясь к двери. И, обернувшись, добавила: — Не забудьте о деньгах, мадам А Цзинь. Я иду вам навстречу, однако не затягивайте с уплатой слишком долго.

Цуй Юй догнала Чжан у порога и схватила ее за руку:

— Тетушка, мне нужна эта работа. Пожалуйста, будьте добры, замолвите за меня словечко.

Чжан бросила косой взгляд на мать, стоявшую в глубоком раздумье. Она почувствовала, что окончательно победила, и в душе тайно ликовала.

— Ты молодчина, правильно рассуждаешь. И к матери своей хорошо относишься. Я помогу тебе.

— Пожалуйста, тетушка, не откладывайте, скажите вашей приятельнице, что эта работа меня устраивает, а то...

Наивность девушки умилила Чжан.

— Не беспокойся, детка. Я договорюсь как можно скорее и через пару дней сообщу вам.

— Спасибо, тетушка.

— До свидания.

Чжан все устроила, и работа Цуй Юй была обеспечена. В конце концов А Цзинь согласилась отпустить дочь в Куала-Лумпур. Чжан заглянула к ним, как и обещала, через два дня.

— Ну, мадам А Цзинь, вам повезло. Согласие хозяина получено.

Цуй Юй была несказанно рада. Она принесла Чжан стул и пошла приготовить кофе. Мать прервала стирку.

— Позавчера,— рассказывала Чжан,— я отправилась в китайский квартал к своей подруге, но оказалось, что она два дня назад уехала в Куала-Лумпур.

Услышав последние слова, Цуй Юй так и застыла с чашкой кофе в руке:

— Значит, вы не застали ее?!

— Не застала. Но я заказала междугородный разговор и спросила, взяли ли кого-нибудь на это место. Подруга ответила, что пока нет. Но хозяйка дома, где работает моя подруга, сказала, что им нужна обязательно красивая девушка.

— Так она согласна, тетушка, взять меня?

— Ну конечно. Я употребила все свое влияние, чтобы уговорить подругу, а та—хозяйку.

— А как насчет жалованья? Они согласны платить двести долларов?—волновалась Цуй Юй.

— Да. Денежный вопрос их вообще не беспокоит. Моя подруга работает у них прислугой, и ей платят двести пятьдесят. Видите ли, этот тауке—миллионер, а миллионеры за одну ночь

способны спустить в клубе десять, а то и двадцать тысяч. Это им ничего не стоит!

— Когда же мне надо ехать?

— На следующей неделе. Ведь тебе нужно сшить новое платье и купить туфли. Я думаю, недели на это хватит.

— Но Цуй Юй,— заволновалась А Цзинь,— до сих пор никогда не уезжала из дому. Как же она поедет одна?

— Не беспокойтесь, я сама поеду с ней.

— Мне неудобно причинять вам столько хлопот...

— А на что же мы купим новое платье и туфли?— спросила Цуй Юй.

— Вот тебе пятьдесят долларов.— Чжан протянула деньги девушке, но та потупилась и не взяла их.— Бери, бери, детка. Потом возвратишь.

— Вы так добры к нам, тетушка Чжан,— растрогалась мать.

— Существует же старая пословица: хочешь помочь — помогай до конца.— И она повернулась к Цуй Юй.— Мать, видимо, никогда не переделает всех своих дел, так что завтра я сама помогу тебе с покупками.

Девушка кивнула. Она была безмерно благодарна доброй тетушке Чжан.

В ночь накануне отъезда Цуй Юй в Куала-Лумпур мать и дочь долго не могли уснуть. Мать думала, что все же рискованно посылать дочь одну так далеко, без всякого присмотра да еще в том возрасте, когда девушка нуждается в защите. Она думала также о том, что у тетушки Чжан сомнительное прошлое — ведь она была когда-то танцов-

щицей в кабаре — и что такой женщине нельзя доверять, особенно когда дело касается привлекательной девочки.

Часы у соседей пробили двенадцать. Цуй Юй тоже не спала. Ей тяжело было расстаться с матерью. А с другой стороны, может быть, в столице ей будет и неплохо. Смотреть за детьми — дело не сложное, и, может быть, ей иной раз удастся сходить в кино, а то и в ресторан. Двухсот долларов хватит, чтобы в течение трех месяцев уплатить долг, а потом она будет оставлять десять долларов каждый месяц себе, а остальные сто девяносто посылать матери. Бедная мама! Тогда ей не надо будет так много работать. Она, Цуй Юй, поставит на ноги трех младших братьев и сестренку! Всех их надо послать в школу. Ей сейчас пятнадцать, значит, если она проработает пять лет, ей исполнится тогда только двадцать — еще не поздно и замуж выйти. Будущее представлялось ей в радужном свете. Цуй Юй открыла глаза и тут же услышала, как мать ворочается на своей постели и вздыхает.

— Мама, ты не спишь?

— Нет, мне что-то неспокойно.

— А почему, мам?

— Не езди ты в этот Куала-Лумпур. Боюсь я.

— Боишься? Чего?

— Да уж чересчур ты молода, чтобы жить одной. Никого ты там не знаешь...

— Ну, не волнуйся, мама! Я буду хорошей девочкой!

— Уж слишком ты самонадеянная. Умаслят тебя красивыми словами да обещаниями — и попа-

дешься. А тетушка Чжан — не тот человек, на которого можно положиться. Живет, ссужая деньги под проценты, неизвестно, что у нее на уме.

— Зря ты, мама, тревожишься. Я ведь не ребенок, не может ведь она меня продать, словно рабыню.

— И все же я боюсь.

— Ну не враг же она нам. И потом, что она может сделать со мной? Она требует вернуть деньги, а мы сумеем выплатить их ей лишь в том случае, если у меня будет работа. Мне ведь пришлось взять у нее еще пятьдесят долларов — чтобы сшить платье и купить туфли. Как же мы выплатим ей весь долг? А братья и сестренка — им ведь надо в школу ходить, откуда ты возьмешь деньги? Нет, мне придется ехать. Раз нужно, так нужно. И ты не тревожься.

Матери трудно было не согласиться с ее доводами, и все-таки тревожные мысли не давали ей заснуть, хотя часы у соседей пробили час.

На следующее утро Чжан пришла помочь Цуй Юй подготовиться к отъезду. Она помогла ей надеть новое платье чаньшань и туфли на высоких каблуках, потом подкрасила ей губы и чуть-чуть подвела глаза.

— Взгляните-ка на свою дочь, мадам А Цзинь. Да она просто красавица! — Чжан с довольным видом оглядела девушку, будто уже прикидывала, сколько сможет получить за нее.

Мать была просто поражена. Вот уж не думала она, что, если ее дочь одеть в красивое платье, она окажется так хороша — ну просто распустившийся цветок. Цуй Юй сама не отрывала глаз от зеркала.

Они поехали утренним поездом. Пассажиры в вагоне обращали внимание на девушку и пристально смотрели на нее, но она делала вид, что не замечает этого, и с увлечением следила за меняющимся пейзажем за окном. Цуй Юй была счастлива, она чувствовала себя как птенец, впервые вылетевший из гнезда и наслаждавшийся свободой. Была довольна и Чжан, считая, что хитрость ей удалась.

Когда они прибыли в город, было уже совсем темно. Они взяли такси и поехали в какой-то отель. В вестибюле их встретил высокий человек средних лет.

— Привет! Наконец-то. А я уже заждался.— Он поздоровался с Чжан, ощупывая Цуй Юй взглядом с головы до ног.

— Только, пожалуйста, без глупостей,— отвечала Чжан, многозначительно посмотрев на него.

— Ну что ж, совсем неплохо,— произнес тот, как бы продолжая свою мысль, и, подхватив их чемоданы, пошел впереди.— Комната для вас готова, на втором этаже.

Девушке все это показалось странным. Кто бы это мог быть? Какое отношение этот мужчина имеет к тетушке Чжан? Откуда он узнал об их приезде? Ее недоумение не ускользнуло от Чжан, и, когда они пришли в номер, она представила ей мужчину:

— Господин Лян, известный в Куала-Лумпуре тауке. А это мисс А Юй, моя приемная дочь.

Цуй Юй от растерянности не могла произнести ни слова и лишь молча кивнула Ляну. «Я ее

приемная дочь? Почему она называет меня приемной дочерью? И этот человек будет моим хозяином?»

— Господин Лян — мой старый друг, А Юй. Он добрый и великодушный человек. Ты можешь рассчитывать на него, если тебе понадобится помощь в Куала-Лумпуре.— И она обернулась к нему: — Пойди, пожалуйста, прикажи насчет ужина, Длинный, а нам надо переодеться.

— Ну что ж. Я позабочусь, чтобы вы могли закусить как следует.

Через полчаса они сидели в ресторане. Тетушка Чжан заказала несколько изысканных китайских блюд и бутылку бренди. Такой роскоши девушка никогда прежде не видела и не пробовала ничего подобного, но, смущенная новой, непривычной обстановкой, она не осмеливалась куска проглотить. Чжан болтала с Ляном без умолку, а после нескольких рюмок пришла в веселое расположение духа и стала настаивать, чтобы и Цуй Юй тоже выпила бренди.

— Не надо, тетушка, я ни разу в жизни еще не пробовала вина.

— Все когда-нибудь бывает в первый раз, дитя мое. Если ты не выпьешь сама, я тебя заставлю.— Чжан поднялась и, схватив девушку за плечо, поднесла бокал к ее губам: — Только один глоток, сделай мне приятное.

Цуй Юй не могла больше сопротивляться и выпила сначала глоток, потом другой. Она увидела, что Длинный поднялся, чтобы приветствовать еще одного вошедшего:

— А вот и ты, братец!

Чжан оставила девушку в покое, повернулась к вошедшему и пропела:

— Что же это вы так долго? Мы ждем вас.

— Извините. Дела задержали, приходится много разъезжать, я весь в заботах. А это, как я понимаю, мисс А Юй? — И он уселся рядом с девушкой.

— Да, сэр, это мисс А Юй. А Юй, это твой хозяин. Как и мистер Лян, он известный в Куала-Лумпуре тауке.

Известный в Куала-Лумпуре тауке посмотрел на девушку хищным взглядом, потом взял бутылку и наполнил рюмки.

— Все пьют до дна,— заявил он,— никаких исключений.

Тетушка Чжан и Длинный с удовольствием выполнили это приказание, но Цуй Юй даже не шелохнулась.

Известный тауке взял рюмку, стоявшую перед Цуй Юй, и поднес ее к губам девушки.

— Выпейте. Сделайте это ради меня, мисс А Юй. Я прошу вас.

— Это твой будущий хозяин, ты должна быть с ним вежлива, не отказывай ему,— сказала Чжан.

Потом пошли еще тосты, девушка выпила почти полстакана бренди и чувствовала, что она как в тумане. Голова у нее пошла кругом, и она попросила Чжан отвести ее в номер.

— Я очень устала, тетушка.

Известный тауке посмотрел на часы и, обменявшись долгим взглядом с Чжан, сказал:

— Еще рано, только девять часов. Но если вы хотите уйти, я зайду попозже.

После длительного путешествия в поезде и выпитого бренди Цуй Юй с трудом держалась на ногах. И очень хотела спать. Как только они вошли в комнату, она, как была в одежде, легла на кровать. Чжан сказала ей:

— Ты поспи, если устала, а я буду в соседней комнате, мне надо поговорить с Длинным. Я приду попозже, так что дверь не запирай, ладно?

Цуй Юй кивнула и закрыла глаза. Но заснуть она не могла: все кружилось перед ней, и к тому же ее не покидало безотчетное чувство страха. Она встала, погасила свет, разделась, собираясь лечь в постель, как вдруг услышала какой-то шум по соседству. Комнаты двух соседних гостиничных номеров были разделены лишь деревянной перегородкой, в которой были щели. Девушка, побуждаемая любопытством, осторожно приникла к одной из них. То, что она увидела, ошеломило ее: тетушка Чжан — в чем мать родила — лежала в объятиях Длинного, на котором тоже не было ни нитки.

Сердце у Цуй Юй застучало, кровь прилила к щекам. Она тихонько отошла от стены и легла в постель, но ей уже было не до сна. К тому же шум за перегородкой не смолкал, временами до нее доносились какие-то слова.

«Это ужасно!» — думала она, не зная куда деваться от стыда. Но вместе с тем она испытывала и другое, дотоле неведомое ей чувство — тайное желание человека, который впервые стал свидетелем интимной сцены.

Уснула она — совершенно разбитая — лишь после полуночи... Ей снилось, что вместе с подругами

она взобралась на холм, и там, наверху, они увидели у себя под ногами россыпи сверкающих камней. Алмазы! Все девушки бросились собирать их, у нее самой уже две пригоршни камней, как вдруг гигантский питон соскользнул с дерева, растущего вблизи. Подруги моментально разбежались, а у нее от страха отнялись ноги, и она не может двигаться. Питон обвивает ее своими омерзительными кольцами... Она хочет крикнуть и не может, потому что чудовище приникло к ее губам и душит ее...

Задыхаясь, Цуй Юй в ужасе проснулась. Но отвратительное прикосновение осталось. Правда, рядом с ней был не питон, а мужчина. Он навалился на нее всем телом. Цуй Юй попыталась освободиться и закричала, но мужчина, крепко сжимая ее в своих объятиях, продолжал целовать ее.

— Не бойся, А Юй, это я, твой хозяин. Ты теперь моя, и я хорошо заплачу тебе. Ведь ты должна пятьдесят долларов тетушке Чжан, а от меня ты получишь шестьсот. Расплатишься с ней, и у тебя еще останется.

Теперь только до нее дошел смысл того, что происходит. Первой ее мыслью было стукнуть этого мужчину тем, что под руку попадется, или убить себя. Она стала искать глазами какой-нибудь тяжелый предмет и увидела на тумбочке рядом с кроватью пачку банкнот. Мужчина же продолжал говорить непривычные для нее нежные слова, и в голове Цуй Юй все смешалось. В ней будто что-то надломилось, она закрыла лицо руками и зарыдала.

— Ну не плачь, А Юй! Я люблю тебя! — И он вновь стал целовать девушку.

Ее сопротивление постепенно ослабевало.

Когда утром следующего дня тетушка Чжан появилась в комнате, она была встречена рыданиями и бранью:

— Старая сука, ты обманула меня!

— А Юй, милая, что ты говоришь? То, что я сделала, для тебя же лучше. Неужели ты хочешь, чтобы твоя мать всю жизнь стирала белье? Разве вы сумели бы расплатиться с долгами?

— Старая сука — вот ты кто. Деньги — больше тебе ничего не надо. Получай свои доллары и верни мне вексель! — И Цуй Юй швырнула деньги в лицо тетушке Чжан.

Та с улыбкой собрала купюры, тщательно пересчитала их и положила в свою сумочку, потом вынула и отдала Цуй Юй вексель.

— Ну, с этим покончено, дитя мое. Тебе нужна еще моя помощь?

— Ты обманула меня, — никак не могла успокоиться Цуй Юй, — ты загубила мою жизнь. Ты поплатишься за это и здесь, и на том свете. Я убью себя сейчас, прямо здесь, у тебя на глазах!

— Успокойся, детка! Если ты хочешь обратно в Сингапур, я отвезу тебя. И убивать себя ни к чему!

— В Сингапур? Да я теперь от стыда и смотреть-то на мать не смогу. Ведь она предупреждала меня, а я не послушала. Думала, что я умнее, а получилось, что попалась в ловушку точно так, как говорила мать! Ну куда мне теперь деваться?

— Значит, ты хочешь остаться? Хорошо. Не думай ни о чем, и заработаешь еще больше. Во

всяком случае избавишь мать и семью от нищеты. Ты еще очень молода. Лет через пять у тебя будет столько денег, что ты найдешь себе подходящего мужа. Ну, не будь глупенькой!.. А уж проценты заплатишь мне как-нибудь потом.

— Да уж, конечно, домой мне сейчас возвращаться нельзя, надо мать хотя бы пощадить. Придется пару месяцев жить здесь. Вот что ты натворила, старая ведьма!

Страдания Цуй Юй тронули даже тетушку Чжан. Она вспомнила, как ей пришлось пережить такой же горестный день в молодости, и сказала себе: «Это в последний раз. Больше я не притронусь к таким делам». И она похлопала Цуй Юй по плечу:

— Ты смелая девочка и мне нравишься. Я помогу тебе. Матери я скажу, что ты работаешь здесь нянькой, и она никогда не догадается о том, что происходит на самом деле.

Эти слова немного успокоили, но не утешили бедняжку. Ей все еще казалось, что мир вокруг нее внезапно рухнул и она провалилась в глубокую бездну.



Хуа Юн-чоу



СОШЕЛ С УМА

Вэнь Гуй поставил свою трехколесную повозку под навес, снял фонарь и сиденье и, с трудом передвигая ноги, пошел к дому. Было уже темно. Над крышами домов, взбиравшихся вверх по склону, поднимался дым — везде готовили ужин. Куры, как всегда в это время, уже устроились на ночлег на нижних ветках деревьев...

Жена была на кухне, но он прошел в комнату, даже не взглянув на нее, сунул фонарь и сиденье под стол и устало сел.

Обычно у него были постоянные клиенты, да и помимо них он зарабатывал кое-что еще — в среднем получалось сто семьдесят — сто восемьдесят долларов в месяц. Теперь же, после болезни, он растерял своих обычных пассажиров, и в день набегало доллара два-три, не больше. Без сигарет и воды он не мог обойтись, и поэтому на обед брал себе лишь бататовое пюре. А если он брал еще что-нибудь, то домой приносил всего десять —

двадцать центов. Чтобы на следующее утро выпить чашку кофе в кофейне, приходилось занимать несколько центов у приятелей-рикш. Иначе пришлось бы ждать, пока повезет с пассажиром.

Он никому не жаловался и вообще не говорил о своих делах. Хуже всего было, что жена никак не хотела понять его; в последнее время они частенько ссорились по вечерам, жена заявляла, что лучше бы ей бросить домашнее хозяйство и заняться поисками работы. Невозможно было понять эту женщину. На какую работу она надеялась? Просто смешно. Или, может быть, она собиралась зарабатывать деньги, как те дешевки, что торгуют своими прелестями в городе? Нет, это было исключено. Своей жене он никогда такого не позволит. Ноги ей переломает, но заниматься подобными делами не разрешит! Нет. Он твердо решил не пускать ее ни на какую работу.

В последнее время он заметил, что она сильно изменилась. Вот сегодня утром, например, собралась и чуть было не ушла вместе с сестрицей Чан Фу, надев почему-то новогоднее платье... К чему все это? Жена уходит куда-то с подругой из дома, а муж должен целый день крутить педали и колесить по городу в оборванной и провонявшей потом одежде. И ведь эта сестрица Чан Фу далеко не из добропорядочных. Ее каждый день видят в городе, и все знают, зачем она там появляется. Конечно, это она виновата в том, что жена в последнее время стала совсем невыносимой, вот и сегодня утром собралась куда-то, а ему даже не захотела сказать куда. Но теперь, пожалуй, все уже ясно... Нет, этого он не допустит. Утром, когда он узнал,

что она собирается уходить, он вышел из себя: «Пока у меня есть глаза, такая расфуфыренная ты никуда не пойдешь! Руки-ноги переломаю, или я тебе больше не муж!»

Он сказал ей все это, а потом вывез свою коляску и укатил, не оборачиваясь и не обращая внимания на всхлипывания жены. Не хватало еще, чтобы она отправилась искать работу с этой Чан Фу!..

Вспоминая все это, Вэнь Гуй сердито водил большим пальцем по столу.

После ужина он выкурил сигарету и пошел спать, не сказав никому ни слова. Молчала и жена, а дети, видя, что отец не в духе, не осмеливались даже подойти к нему. Когда же он собрался тушить лампу, жена все-таки нарушила молчание и тихо сказала:

— Ты все-таки подумай, Вэнь Гуй, может, стоит мне пойти с сестрой Чан Фу поискать работу? Ты и сам знаешь, что нужно платить за школу... Ведь ты мне даешь по нескольку центов в день. Что я могу сделать на них? Сегодня, чтобы купить овощей, я продала яйца, но завтра продавать уже будет нечего, а в кредит на рынке никто не дает. Так что выхода у меня нет, и, кроме того, ничего плохого нет в том, что я пойду работать. Я не единственная из женщин нашего кампунга, которая будет работать. Вот сестра Чан Фу, например...

— Замолчи! — оборвал он ее.— Если не прекратишь молоть эту ерунду, я изобью тебя.

Проснулись дети, но, испугавшись сердитого крика отца, спрятались с головой под одеяла.

Вскоре они снова заснули, а жена вернулась к прерванному разговору:

— Послушай, Вэнь Гуй, что же нам делать? Работать ты меня не пускаешь и сам денег не даешь. Как же, по-твоему, я должна вести хозяйство...

— Ах ты, сука проклятая!—Он ударил ее по лицу.

— Глупая скотина! Человек ты или зверь? Денег не даешь и работать не пускаешь!—запричитала жена.— Что мне делать с твоими несчастными центами! Я больше так не могу! Ну и живи, как хочешь, корми сам семью!..

Чан Фу, жившая в соседнем доме, услышав крики, прибежала первой.

— Что случилось? Ты что это разошелся, дядя Вэнь Гуй? Потише бы с женой-то... Ну, ладно, сестрица, успокойся. А ты тоже... с мужем надо бы помягче, ведь он целый день работает...

Видимо, она собиралась умываться, когда услышала шум у соседей, поэтому прибежала с тазиком в руках.

Вэнь Гуй, бросив на нее сердитый взгляд, молча улегся опять. «Будь ты проклята, сама сбиваешь с толку мою жену, а потом лезешь со своим сочувствием».

Жена продолжала всхлипывать, но Вэнь Гуй больше не обращал на нее внимания. Он был подавлен, ведь он вовсе не хотел бить ее, да вот на тебе, как вышло. Теперь, когда он немного поостыл, ему было очень стыдно. Но исправить он уже ничего не мог, и поэтому просто сидел и курил, молча разглядывая что-то на потолке.

Наступила полночь. Но он никак не мог уснуть. Сестра Чан Фу ушла домой, дети крепко спали, жена все еще плакала. Ночь была тихая. И в этой тишине слышались только всхлипывания женщины да какое-то постукивание в соседнем доме.

А может быть, жена права: действительно, что сделаешь на несколько центов? Даже риса и овощей не купишь, а уж о плате за учебу детей и говорить нечего! В душе он уже готов был признать, что не прав, но как только вспоминал о своей работе, чувствовал, что злость опять берет над ним верх. «Ладно. Попробуем сделать так: я откажусь от всего и буду всю выручку приносить домой. Посмотрим, может, она тогда и сама не захочет идти искать работу... Да, но сколько денег надо на еду? Несколькими центами тут не обойдешься. Надо не меньше одного-двух долларов. А люди стали сейчас так редко нанимать рикшу, что можно целый день до изнеможения крутить педали, а приличных денег не заработаешь». Мысли не давали ему уснуть, но потом он все-таки забылся тревожным сном.

Поднялся он, как обычно, до рассвета. Когда он, умывшись, но даже не выпив чашки кофе, поспешно выкатил свой экипаж, было всего пять часов. В эту раннюю пору было не жарко, и работалось ему легко, но к полудню вся выручка составила всего лишь доллар и несколько центов. После бататового пюре в обед у него осталась единственная долларовая бумажка. Он надеялся, что до конца дня ему повезет, может, удастся заработать еще один-два доллара, и уж тогда-то он даст жене побольше денег.

Но с часу до трех не попалось ни единого пассажира. Вэнь Гуй стал нервничать. Несмотря на невыносимую жару, он гонял взад-вперед по заполненным машинами улицам Нортбридж-роуд и Виктория-стрит в надежде встретить пассажира, но в его услугах никто не нуждался. День клонился к вечеру, а в кармане у него лежал все тот же доллар. «Если съездить в город и там пообедать, останется лишь несколько центов». Он не мог решить, что делать, и продолжал автоматически крутить педали. Солнце палило, глаза заливало потом, одежда стала липкой. Машины шли сплошным потоком, и от шума и духоты можно было одуреть. Голова у Вэнь Гуя кружилась, перед глазами пошли круги. Услышав резкие автомобильные гудки, он выплывал из горячего тумана. Когда же машина обгоняла его, из кабины неслись ругательства, но ему было все безразлично. Единственное, что его сейчас заботило, это деньги.

Он почувствовал, что ступни ног и лодыжки одеревенели и больше не слушаются его, педали стали тяжелыми и движутся, только если он налегает на них изо всех сил. Но он, словно автомат, продолжал гнать вперед свою коляску, а в голове по-прежнему билась мысль: «После вчерашнего я должен принести домой три доллара».

Он устал настолько, что потерял счет времени, и теперь ехал, сам не зная куда. Но мысль о деньгах не покидала его.

Вэнь Гуй не помнил, как добрался до дому... Была уже ночь, когда он обнаружил, что выехал на проселок, ведущий к его кампунгу. Дорогу он разбирал лишь потому, что ярко светила луна.

Только тут он сообразил, что забыл зажечь фонарь. Дверь дома оказалась запертой, света в соседних домах не было. Жена, видимо, спала. Хотя он почти ничего не соображал от усталости, стучать все-таки не стал, а просунул руку в окно, отодвинул задвижку и открыл дверь. Пройдя в комнату, он спрятал фонарь и сиденье коляски под стол, не зажигая лампы, чиркнул спичкой и, отыскав ротановый стул, плюхнулся на него. Двигаться не было сил.

Сквозь щели циновок, служивших перегородкой, вдруг показался свет, Вэнь Гуй знал, что это проснулась жена, но продолжал сидеть в темноте, не двигаясь, то ли оттого, что не хотелось шевелиться, то ли оттого, что просто не было сил: ноги стали как деревянные. Жена вышла, держа в руке коптилку, и спросила сонным голосом:

— Ты обедал? Ночь уже, небось рис и овощи совсем холодные.

Она поставила лампу на стол и исчезла. Он вспомнил, что не ел с полудня, но продолжал сидеть не двигаясь. Руки и ноги ныли. Откуда-то потянул ветерок, и по телу прошел озноб, но Вэнь Гуй и не подумал укрыться от холода, продолжая все так же в оцепенении сидеть посреди комнаты. Ветерок был слабый, но Вэнь Гую становилось все холоднее. Он закурил, надеясь, что это хоть как-то поможет ему согреться, но тщетно,— он дрожал всем телом. Хотел было взять одеяло, но, когда поднялся, почувствовал в голове невыносимую тяжесть, и комната пошла перед ним кругами. Опять сел. Надо бы позвать жену, да после

вчерашнего не хотелось. Озноб как будто прошел, но тут же стало жарко.

«Это, наверное, из-за того, что я голоден,— подумал Вэнь Гуй.— От этого мне то холодно, то жарко. А может, я заболел?»

— Мать, а мать! — позвал он жену.

Из-за стенки никто не отзывался. Он уже собрался было позвать еще раз, и тут вдруг появилась жена и подошла к нему.

— Ну что? — мягко спросила она.

— Одеяло дай! — зло пробурчал он.

— Ты что это разошелся? Ты еще не миллионер, чтобы с женой так обращаться! — И она ушла.

Слова были обидные, но он чувствовал такую слабость во всем теле, что у него хватило сил лишь сердито взглянуть на жену.

— В жизни не встречала такого упрямца! Сам не в состоянии содержать семью и мне работать не дает. Ну что ты шумишь? Дай мне денег, и я вообще ни на шаг не отойду от детей!

Она принесла из соседней комнаты рваную синюю рубашку и накрыла ею плечи мужа, не переставая при этом ворчать:

— Посмотри, в чем ходят твои дети и жена. У меня нет даже старья, чтобы выйти на улицу. Ты вот злишься, а семья-то страдает из-за тебя.

Она еще продолжала что-то говорить, когда вдруг заметила, что он уставился в одну точку какими-то остекленевшими глазами. Потом он медленно поднялся и ушел в кухню. Женщина испуганно замолчала. Когда же увидела, что он

тянется за ножом, в ужасе закричала и выбежала на улицу, зовя на помощь.

А он в бешенстве помчался за ней, размахивая ножом. На шум выскочили соседи и, увидев, что Вэнь Гуй гонится за женой и что в руке у него сверкает нож, бросились за ним, догнали и скрутили ему руки.

— Отпустите! Пустите руки!

Он пытался вырваться, но его держали крепко. Изо всех домов сбегались люди, каждый спешил узнать, что случилось. Жена причитала, поминая свои бесконечные несчастья. Вэнь Гуя, обезоруженного, но все еще сопротивлявшегося, отвели домой. Жена не рискнула вернуться туда и остаток ночи провела с детьми у сестрицы Чан Фу.

Вэнь Гуй лежал на кровати и медленно приходил в себя. Теперь он не чувствовал ничего, кроме раскаяния и стыда. Где-то рядом слышались приглушенные голоса.«Бедняга, сошел с ума»,— сказал кто-то. Говорили шепотом, но Вэнь Гуй отчетливо слышал эти слова...

К часу ночи возбуждение улеглось, но лампы в домах горели до рассвета...



Чань Цюань



МАТА КУЧИНГ

Полдень. Яркое надменное солнце остановилось прямо над головой, и зной стал совершенно невыносимым. Улица опустела, на ней осталось совсем мало людей и еще меньше машин, которые обычно с важностью катят по пыльному городу. Магазины вдоль улицы широко пооткрывали двери и опустили свои брезентовые тенты, чтобы отгородиться от солнца. Ветра нет, на узкой полоске тени шириной в пять футов нечем дышать, зато есть защита от жгучих лучей. У изможденных жарой, сонных продавцов нет ни малейшего желания обслуживать даже редких случайных покупателей.

В конце улицы вырисовываются арки величественного трехэтажного каменного здания. Это суд. Здесь можно разрешить любое юридическое дело. Три арки, по-видимому, символизируют Справедливость, Разум и Мир. Обычно прохожие

смотрят на это здание с благоговением, и каждый, видимо, думает, что нет другого места, более достойного для свершения правосудия.

Сейчас суд пуст. Судья и присяжные, закончив слушание какого-то дела о наследстве, разъехались по домам на ленч. Железные ворота всех трех арок закрыты, и это придает зданию еще более суровый вид. Но снаружи какой-то хромой малаец заглядывает во двор, держась обеими руками за решетку ворот. При этом он что-то тихо бормочет и время от времени вытирает рукавом пот с лица. Некогда белая рубашка стала грязно-желтой. В полотняных брюках цвета хаки так много дыр разнообразной формы, что они скорее похожи на сеть, нежели на брюки. Сквозь большие дыры проглядывает коричневая кожа, и проходящие мимо женщины не могут сдержать усмешки и отворачиваются.

Ростом малаец около пяти футов, но необычайно худ — кожа да кости. А лицо не более раскрытой ладони и все в морщинах. Щеки ввалились, во рту торчат несколько уцелевших коричневых зубов. Обращают на себя внимание глаза старика: левый — обычный, а правый неподвижен и кажется безжизненным.

Он довольно долго смотрит сквозь решетку, потом выходит из тени на солнцепек. Пот льет с него ручьями, но старик не обращает на это внимания и медленно бредет на противоположную сторону улицы. Губы его шевелятся, издавая невнятные звуки, а когда кто-либо проходит мимо, то бормотание переходит в громкое причитание: «Господи, найди вора, который украл мои деньги! Накажи негодяя, господи!..» Полные отчаяния,

слова эти повторяются вновь и вновь. Посторонние принимают человека за юродивого или сумасшедшего. Но здешние жители хорошо его знают. И даже дети в этом районе помнят, когда и как этот человек стал таким. Встречаясь со стариком, они не преминут помахать ему рукой и крикнуть: «Мата Кучинг — Кошачий Глаз! Дурачок!..» Но он не обращает на возгласы никакого внимания и продолжает свой, как всем кажется, бесцельный путь...

Однако старик знает, куда идет. Добравшись до противоположного тротуара и немного передохнув, он вытирает пот с лица, а затем снова пускается в путь. Проходя мимо большого магазина, он заглядывает внутрь. Клюющий носом продавец стряхивает с себя дремоту и лениво окликает старика:

— А, Мата Кучинг! Опять идешь молиться?

Старик бросает укоризненный взгляд и оставляет его слова без ответа.

А продавец продолжает:

— Эх ты... Твоему богу, видать, совсем не до тебя. Не слышит он, наверно, твоих молитв.

Эти слова, вероятно, напомнили старику о чем-то, и он снова начинает бормотать: «Господи! Накажи этого вора, господи!» И направляется к церквушке, виднеющейся на вершине холма в конце соседней улицы.

Продавцам ничего не надо от старика. Они хорошо знают, куда и зачем он идет. Вот уже скоро год, как по утрам он направляется к суду, а вечером — в сторону церкви. И делает это так же регулярно, как ученики ходят в школу. Появление

Мата Кучинга на ступенях церкви немедленно замечают слоняющиеся без дела по улице люди и принимаются судачить о нем.

Сама по себе история его жизни весьма заурядна, и местные жители знают ее чуть ли не наизусть, но, многократно повторяя ее, они прибавляли все новые и новые подробности. Рассказ с каждым разом приукрашивался, и в конце концов превратился в необычайную, странную историю, похожую на легенду.

Началась эта история за год до конца второй мировой войны. И хотя с тех пор прошло немало времени, многие сохранили в памяти события тех давних лет.

Однажды утром в порту причалил огромный транспорт, который доставил около четырехсот японских солдат. А кроме того, на берег сошли человек восемьсот рабочих-яванцев. Выглядели они совершенно изможденными и от голода едва держались на ногах. Японцы согнали их всех на площадь близ пристани, и в ожидании своей участи те устроились прямо на земле, разбившись на небольшие группки. Так они и сидели весь день — голодные, на солнцепеке, а потом приехали десять военных грузовиков и увезли их в трудовые лагеря, расположенные милях в четырнадцати от города. На следующий день их вывели на работу — строить дороги и аэродром.

Яванцам приходилось не слаще, чем белым, попавшим в руки японцев. От жестокого обращения, голода, болезней они умирали сотнями. Мата

Кучинг оказался в числе немногих, кому посчастливилось попасть на кухню — уж очень изможденный вид был у него, да к тому же он еще и хромал. Правда, и здесь его жизнь была хуже собачьей.

Всякий, кому удалось тогда уцелеть, мог считать себя счастливчиком. Мата Кучинг болел несколько раз, но все-таки остался жив. Как это случилось, он и сам не мог толком объяснить, но так или иначе ему удалось продержаться до того дня, когда Япония признала свое поражение и он был освобожден. Из нескольких сотен яванцев в живых осталось человек десять. Когда же в страну вошли союзные войска, Мата Кучинг снова тяжело заболел и один знакомый устроил его в небольшой полевой госпиталь. Врач, австралийский офицер, внимательно относился к своим пациентам, и через шесть недель Мата Кучинг поправился и вышел из госпиталя.

Вернуться на Яву он, конечно, не мог, как, впрочем, и остальные его товарищи,— у них не было ни долларов, ни японских «бupпановок»[1]. Однако добряк доктор, лечивший Мата Кучинга, не только подарил ему солдатскую одежду, башмаки и еще кое-что из своих старых вещей, но и взял на работу в госпиталь — поваром.

Теперь Мата Кучинг мог надеяться, что, если будет как следует трудиться, сумеет скопить денег на дорогу домой. Его единственным желанием было вновь увидеть свою семью.

[1] Так в некоторых оккупированных Японией странах называли введенные японскими властями денежные купюры.

Христианин-доктор часто говорил Мата Кучингу: «Ты не погиб, когда был у японцев, и остался жив лишь благодаря милосердию нашего бога. Если хочешь быть счастливым, то должен верить в него и молиться только ему одному». Он повторял это так часто, что в конце концов добился своего — обратил Мата Кучинга в свою веру.

Мата Кучинг научился ходить в церковь, и это вошло у него в привычку. Его друзья подшучивали над ним и даже упрекали его за вероотступничество, но он не обращал на это внимания, ведь доктор убеждал его, что религия — личное дело каждого и никто не смеет вмешиваться в верования другого. Поэтому Мата Кучинг обычно отвечал на все нападки: «Каждый верит, во что хочет. Не ваше дело». Друзья поняли, что пытаться изменить здесь что-нибудь бесполезно, и отстали.

Через год военную администрацию сменила гражданская. Врача-австралийца отозвали, он уехал на родину, и Мата Кучинг должен был искать работу. Уезжая, доктор оставил ему всю свою мебель и около трехсот долларов. Теперь, когда у него были деньги, Мата Кучинг мог уехать домой, но тут произошло совершенно неожиданное. Он полюбил женщину-малайку лет тридцати, которая работала прачкой и уборщицей в этом же госпитале. Она была вдовой, ее муж погиб во время налета американской авиации. Не удивительно, что вдова средних лет и сорокалетний холостяк, встречавшиеся каждый день на работе, подружились, а потом и полюбили друг друга и стали неразлучны. Когда доктор уехал, они сняли небольшой домик и

зажили вместе. Женщину все звали Сатэ[1], и это прозвище как нельзя более шло к ней — она была полненькая, крепкая и очень энергичная. Друзья Мата Кучинга считали, что привлекательная жена — все равно что лошадь, которую трудно держать в узде, и что ему с ней будет нелегко. «Слушай, будь осторожен! Жена твоя — того!..» — говорили они не раз. Мата Кучинг понимал, что́ они имели в виду, но в душе не верил им.

Скоро он устроился работать посыльным на лесопилку. Платили ему немного, но этого заработка вполне хватало на их маленькую семью. По сравнению с другими Мата Кучингу, пожалуй, даже повезло: и работа у него была, и жена-красавица. Многие приятели завидовали ему. Через полгода Сатэ знала уже вся лесопилка. Некоторые шутили: «Должно быть, она и впрямь вкусна, как сатэ». Все, кто видел ее, сходились на том, что она действительно была хороша. Из-за этого-то и случилась беда — герой нашего рассказа попал в такую историю, что потерял и жену и глаз, с той поры его и стали называть «Мата Кучинг» — «Кошачий Глаз» значит. Настоящее же его имя было Кали.

То ли Сатэ решила, что муж слишком мало зарабатывает, то ли он ей разонравился, а может, и то и другое вместе — только начались у нее какие-то делишки с одним сингалезцем, бригадиром на

[1] Сатэ — название популярного в Малайзии и Индонезии блюда типа шашлыка: мелко нарезанное мясо, насаженное на деревянную палочку и зажаренное на углях.

лесопилке. Приглянулась она ему, и в отсутствие мужа он стал оказывать ей знаки внимания. Действовал он при этом коварно, сначала передавал ей небольшие подарки: то материю на платье, то что-нибудь из косметики, то лакомство, а потом уж и деньги. Вот и поймал Сатэ на крючок. Скоро слухи дошли и до Кали, но он так любил свою жену, что не верил сплетням и считал, что это домыслы завистников. Слухи, однако, не прекращались, и Кали стали одолевать сомнения, хотя он старался ничем не выдать своих чувств и всячески стремился показать жене, как он любит ее. Но тщетно — сердце Сатэ уже принадлежало бригадиру-сингалезцу, к мужу она охладела и теперь думала только о том, как была бы счастлива, если бы стала женой бригадира. Скоро они начали появляться вместе даже на людях. И вот однажды вечером, когда Сатэ со своим обожателем шла по темной улице, перед ними вдруг возник Кали. Завязалась драка, и через несколько минут несчастного мужа с выбитым глазом отвезли в больницу, а его соперник остался лежать в сточной канаве с пробитой головой.

Вышел Кали из больницы через три месяца. Вместо правого глаза ему вставили стеклянный. Он блестел совсем как настоящий, но над ним был широкий шрам — неизгладимая память о случившемся. Конечно же, этот шрам был пустяком по сравнению с той болью, которая наполнила сердце Кали, когда он узнал, что любимая Сатэ ушла от него, прихватив заодно и все его добро. Он поклялся отомстить, но ни бригадира, ни жены найти не смог.

Вдобавок Кали лишился и работы — единственного источника существования. Обратно на лесопилку его не взяли, сказав, что терпят из-за него одно только беспокойство. А он обиделся, что они говорят о каком-то беспокойстве, когда ему и самому несладко. «Что-нибудь другое я еще бы стерпел,— думал он,— но это уж слишком».

Ничего не осталось теперь у Кошачьего Глаза, Это прозвище пристало к нему потому, что люди говорили — одни с насмешкой, другие с сочувствием, третьи с презрением — будто вставной глаз у него от кошки.

После этой истории Мата Кучинг больше ни в какие ссоры не ввязывался. Если с ним начинали спорить, то он уступал — когда был в хорошем настроении, или просто уходил — когда был в плохом. Годы его уже приближались к пятидесяти. Полжизни прошло даром, а тут еще это несчастье. Мата Кучинг впал в уныние. Мечта вернуться домой, на Яву, теперь казалась несбыточной. Сейчас его больше заботило, как найти работу, чтобы хватило на чашку риса и можно было бы немножко отложить на старость. В поисках утешения обратился он к богу. Только молитва давала ему успокоение, за стенами церкви жизнь стала для него мукой.

Наконец он нашел работу дневного сторожа на верфи. Жить одному легче, не то, что семьей, даже если в ней всего два человека. Ел он когда придется, а спал в маленькой конурке прямо на верфи. Он думал, что ему удастся продержаться здесь года три, однако нашелся молодой парень, который был готов работать больше и за меньшую

плату, и, не проработав на верфи полгода, Мата Кучинг вынужден был уступить ему свое место. Найти постоянную работу больше не удавалось, и он перебивался случайными заработками, переходя с места на место и иногда не получая за весь день ни единого цента. Временами ему везло, и он зарабатывал столько, что потом мог прокормиться несколько месяцев, ничего не делая. Работать Мата Кучинг умел и мог, если надо, затянуть пояс потуже, так что, в общем, нельзя сказать, чтобы деньги у него совсем не водились. Хоть о возвращении на родину он уже не мечтал, жизнь научила его думать о завтрашнем дне. Его здесь знали почти все, но друзей у Мата Кучинга не было. О его прошлом, казалось, уже забыли, но, стоило кому-нибудь упомянуть имя Сатэ, разговоры начинали идти кругами, как волны от брошенного в пруд камня.

Мата Кучинг не замечал бега времени. Жизнь его текла однообразно, без каких-либо происшествий. Теперь ему было около пятидесяти пяти, хотя ни он, ни кто-либо другой не могли бы точно сказать, сколько ему лет. Понемногу он умудрился скопить приличную сумму. Случалось, он получал за свою работу сразу пятьдесят, а то и сто долларов, тогда он менял какую-то часть на крупные купюры и тщательно прятал в кошелек. К тому времени, о котором мы ведем речь, в кошельке у него уже лежало четыре бумажки по сто долларов, одна в пятьдесят и несколько купюр помельче. Теперь Мата Кучинг уже не чувствовал себя беззащитным. Он не расставался со своим богатством никогда и ни при каких обстоятель-

ствах — кошелек был прикреплен к поясу, который он не снимал даже на ночь. Мата Кучинг не доверял никому. Сатэ преподала ему урок вероломства, и он не мог забыть его.

Поздно ночью, оставшись один в своей каморке, Мата Кучинг доставал деньги и пересчитывал их, ощупывая каждую бумажку и рассматривая знаки и узоры на купюрах. При виде этого богатства его охватывал восторг. но потом в памяти неизбежно всплывало печальное прошлое — Сатэ, увезенные ею деньги, драка, потерянный глаз, обидное прозвище... Перед мысленным взором Мата Кучинга проходила вся его жизнь: страда́ния, тяжкий труд... И тогда лежавшие перед ним деньги казались вдруг кроваво-красными... Мата Кучинг засовывал их обратно в кошелек, тяжело вздыхал и ложился спать. Иногда он забывал даже помолиться перед сном и потом вскакивал среди ночи, чтобы исправить свое упущение. Снова укладываясь спать, он еще раз ощупывал кошелек и засыпал, успокоенный.

В поисках заработка Мата Кучинг вновь очутился однажды в том городке, где с ним случилась беда. Он стал работать, как и в прежние годы, помощником повара-китайца в доме одного новозеландского адвоката. Теперь Мата Кучинг был уже совсем старик, и его не беспокоило, что служил он лишь помощником повара. Ему хотелось только покоя, постоянной работы и поменьше перемен — чем меньше перемен, тем лучше. Родных у него не было, а сбережения давали возможность жить спокойно. Состязаться ни с кем и ни в чем он не собирался, ему было достаточно и того, что он

честно и с охотой выполнял свою несложную работу. Хозяева были людьми добрыми и симпатичными, а повар-китаец обращался с ним хорошо.

Хозяева занимали второй этаж небольшого дома, а на первом жила служанка. Позади дома находилась крытая веранда, через нее можно было пройти к пристройке из четырех комнат: кухни, кладовой и двух жилых комнат для поваров. Участок, засаженный деревьями и цветами, лежал в стороне от дороги, и поэтому здесь всегда было тихо. По вечерам из дома доносились звуки фортепиано — это играла жена адвоката. Участок не был обнесен оградой. По ночам он весь погружался в темноту, и только от окон дома ложились на землю пятна света. Мата Кучинг несколько раз предлагал хозяину завести собаку, которая охраняла бы дом от воров, но тот не любил собак — они беспокоили его своим лаем. Случаи воровства в городе были редки, а об ограблениях не слышали уже несколько лет, и потому дома все чувствовали себя более или менее в безопасности. Газеты даже называли этот городок «раем», писали, что жителям незачем запирать двери; туристы хвалили его, как редкое место, где практически нет преступности.

И все же неприятности временами случались. Как-то в полицию заявили о краже денег и драгоценностей на сумму в несколько тысяч долларов, а вслед за этим газеты сообщили, что за две недели было совершено еще несколько краж со взломом. Мата Кучинг заволновался. Теперь, пересчитывая по ночам деньги, он с тревогой думал о ворах. Он еще раз сказал хозяину о собаке.

— Я же говорил тебе,— ответил адвокат,— что не выношу собак. Тебе-то чего беспокоиться? Боишься, что воры украдут твои новые брюки? Или отрежут тебе ухо?

Мата Кучинг смутился.

— Дело не в том, сэр,— сказал он.— Ворам ведь все равно, что красть. А у вас в доме много дорогих вещей, и поэтому осторожность не помешала бы.

— Если они и впрямь полезут сюда, я угощу их парочкой пуль, вот и все,— самодовольно заявил хозяин.

Мата Кучингу нечего было возразить, все знали, что у адвоката действительно был пистолет.

Через три дня после этого разговора адвокат получил телеграмму из Новой Зеландии с просьбой срочно приехать домой, так как серьезно заболел его отец. Они с женой собрались в один день. Перед отъездом адвокат объявил слугам, что отказывается от аренды дома, но если вернется сюда, то вновь возьмет их на работу. Контракт на аренду дома истекал через два месяца, и повару-китайцу и Мата Кучингу разрешили на это время остаться в доме. Проводив хозяев, они засиделись за разговорами до поздней ночи и потому заснули очень крепко.

Мата Кучинг не знал, как долго он спал. Проснулся он, ощутив прикосновение чего-то холодного к голове. Он открыл глаза и увидел над собой трех человек в масках, с кинжалами в руках. Они привязали Мата Кучинга и повара к кроватям, заткнули им рты кляпами, обшарили весь дом и перед самым рассветом ушли, забрав с собой все,

что смогли унести. Беднягу повара и его помощника соседи обнаружили лишь на следующий день. Приехала полиция, опросила пострадавших. За поимку грабителей была назначена награда, а фото Мата Кучинга и его товарища по несчастью опубликовали в газетах, и таким образом о них узнал весь город.

С новой бедой Мата Кучинг справиться уже не смог. Для него это был конец. Воры вытащили кошелек с деньгами — не осталось у него сбережений на одинокую старость. А он уже был в таком возрасте, что ни сил, ни решимости начинать все сначала у него просто не было. И тут с ним произошло что-то непонятное. Он изменился настолько, что многие перестали узнавать его. Некоторые утверждали, что Мата Кучинг свихнулся.

Теперь он каждый раз появлялся в суде в дни заседаний и усаживался в первом ряду, неизменно держа в руках бережно, будто какой-то талисман, несколько штук связанных в пачку газет. Он внимательно слушал ход дела, словно имел какое-то отношение к судебному процессу, при этом лицо его выражало больше спокойствия и серьезности, чем у самого судьи. Дождавшись конца заседания, он выходил вместе со всеми, останавливался под аркой, рассматривая что-то в своих газетах, а затем поднимался по улице, направляясь в сторону церкви.

По воскресеньям, когда суд не работал, Мата Кучинг обычно слонялся около его ворот, заглядывая во двор сквозь решетку, а потом опять шел в церковь. Поначалу никто не понимал смысла его действий, но потом все разъяснилось.

— Я несчастный человек,— объяснял Мата Кучинг прохожим, указывая на связку газет.— Деньги, которые я копил всю жизнь, а их было несколько сот долларов, украли у меня все — до единой бумажки. Клянусь, я найду этих бездушных подлецов, чего бы мне это ни стоило! Вот посмотрите, здесь полный отчет о том, что случилось со мной! — И он показывал старые газеты, где было напечатано сообщение об ограблении и подробности этого происшествия.— Я доказал, что грабители украли мои деньги. Бог не позволит им уйти от наказания. Я уверен, что он покарает их. Вот я и хожу сюда каждый день, чтобы увидеть их перед судом. Суд будет судить и накажет их...

Сначала люди слушали старика, но потом всем надоели одни и те же объяснения, и над беднягой стали подшучивать, а то и открыто издеваться. Так вот и стал несчастный Кошачий Глаз посмешищем для всего города.



С. Вадивель



СТАРИК МУТТУСАМИ

«Дон-дон!» — одиннадцать раз пробил колокол в караульном помещении на окраине селения. Старик Муттусами, спавший дома на расстеленном прямо на полу коврике, подложив под голову чурбачок, проснулся, как от толчка. Он попытался встать, но не мог. Накануне он съел всего два клубня маниоки без соли — соль ему заменял кусок сушеной рыбы — и еще немного риса, смешанного с известью[1]. Теперь его желудок был пуст, и старик, ослабев от голода, лежал в забытьи.

В эту ночь с одиннадцати до шести утра ему предстояло нести караульную службу в своем районе, и нечего было ждать, что начальник-японец освободит от нее только потому, что от голода едва держишься на ногах. Старик стал подниматься. Он отодвинул в сторону рваный

---

[1] Обычай примешивать известь к рису распространен среди низших каст индийского населения.

коврик и чурбачок, поднял сброшенную перед сном рубаху, надел ее. Пропитанная потом ткань окутала холодом старое тело. По коже поползли мурашки. Чтобы немного согреться, старик свернул в трубочку лист дешевого яванского табаку и сделал две затяжки. Потерев одна о другую ладони, он направился в угол комнаты и взял стоявшую там длинную и крепкую палку от мотыги. Теперь он чувствовал себя немного лучше, и, хотя тело оставалось вялым и слабым, в руках появилась какая-то сила.

Он подошел к двери, когда в нее постучали. С улицы послышался голос Абдуллы, который только что кончил свое дежурство.

— Да-да, иду,— отозвался старик, выходя на улицу.

Абдулла отдал ему тускло мерцавший фонарь и повернулся, чтобы идти домой, но, пройдя несколько шагов, вдруг остановился и сказал:

— Знаешь, отец, завтра кто-то из наших возвращается из Сиама.

— Неужели завтра? А мой сын приедет?— забеспокоился старик.

Он чуть не подпрыгнул от радости. Еще бы, похоже, что его сын приедет! Ему не терпелось получше расспросить обо всем Абдуллу, но он ждал затаив дыхание, что тот еще скажет.

— Завтра приезжают, часов в восемь, а кто — не знаю. Завтра и увидим, а сейчас спать хочется,— зевнув, сказал Абдулла, не замечая волнения старика.

Он зашагал в сторону дома и тотчас скрылся в кромешной, угольной темноте ночи.

Старик накинул на дверь крючок и отправился на дежурство. Он никогда не запирал дверь на замок, да у него и замка-то не было. Не было и нужды в нем — кроме старика, в домике никто не жил, вещей, на которые могли бы позариться воры, он не имел: горстка риса, известь для еды да клубни маниоки — вот и все его богатство.

Старик Муттусами не помнил ни дня своего рождения, ни своего гороскопа. Один только день свадьбы запечатлелся в его памяти — это было во время первой мировой войны, незадолго до того, как немецкий военный корабль обстрелял Мадрас. Если судить по этому, Муттусами было сейчас около пятидесяти пяти лет.

Пятидесятилетнего человека, пожалуй, не назовешь стариком, но лишения, выпавшие на долю Муттусами, раньше времени состарили его. В свои годы он мог бы еще работать за двоих, и работать, не торгуясь, часов по десять в день — было бы только вдоволь риса да бетеля. Но этого-то у него не было. Вот и вышло, что постоянное недоедание и жизненные невзгоды сделали его стариком. И все же, как и все остальные, он безропотно нес повинность по охране селения.

Натянув на голову тунду[1], он побрел к находившемуся неподалеку зданию, где размещалась японская окружная администрация. Здание обнесено колючей проволокой, у входа торчала сторожевая будка. Напрягая подслеповатые глаза, Муттусами посмотрел в сторону будки, и ему показа-

---

[1] Тунду — часть одежды тамилов, нечто вроде полотенца, которое носят на плечах или обматывают вокруг шеи.

лось, что там кто-то есть. Он вынул изо рта самокрутку, загасил ее ногой и пошел медленнее. Напротив будки он остановился, согнулся в поклоне, словно цифра семь, и произнес: «Ойасуми насай» — японское пожелание доброй ночи, невесть когда и от кого им услышанное. Муттусами улыбнулся — ему было приятно сознавать, что он знает по-японски хоть одну фразу. Пройдя несколько шагов, старик обернулся: теперь, при тусклом свете фонаря, он видел, что ответить на его приветствие некому. Но все равно, был в будке японец-караульный или нет, надо было остановиться, поклониться и произнести эту фразу. Муттусами сделал все, что положено, и пошел дальше. Уж он-то насмотрелся на то, как японцы били людей, связывали их и лили им в горло мыльную воду. Разве такое забудешь?

Пройдя еще немного, он оказался возле сторожевого поста у главного прохода сквозь ограждение. Здесь никому не разрешалось выходить за ограду или входить в нее без ведома охранника. Здесь до шести часов утра царь и господин — он, Муттусами. Неблагодарное и опостылевшее ему дело!

Он повесил фонарь на столб перед будкой, залез на высокий бамбуковый помост и уселся там, держа в руке палку от мотыги. Пройдя в темноте около полумили и едва не падая от голода и слабости, Муттусами страшно захотел спать. Спуститься вниз и посмотреть, заперты ли ворота, у него не было сил.

Так он сидел в полузабытьи, как вдруг вспомнил о чем-то и стал лихорадочно шарить у себя за

спиной. То, что он искал, оказалось узелком, завязанным на конце его вешти[1]. Он вытащил из узелка пол-листа бетеля и один орех — плод арековой пальмы — остатки дневной порции. Он с хрустом отгрыз кусочек ореха (зубы у Муттусами были в полной сохранности) и, сложив его с листиком бетеля, начал медленно жевать. Сок бетеля приятно холодил желудок, и старик немного приободрился. Услышав далекий звон колокола, он спустился вниз и двенадцать раз ударил по висевшему рядом с помостом куску рельса. Потом, поправив фитиль в фонаре и продолжая жевать бетель, вновь забрался на помост и принялся ковырять в зубах бамбуковой щепочкой, очищая их от крошек ореха.

Время ползло медленно, как черепаха. Вот прошел полуночный поезд, и железнодорожный сторож, закрыв ворота расположенной неподалеку станции, наверное, отправился спать. В тишине слышалось только, как шлепаются в воду лягушки в соседнем пруду. Красный свет фонаря казался в темноте немигающим оком демона, пристально смотревшим на Муттусами. В этот тихий час перед ним начали проплывать, будто во сне, картины прошлого, тени событий, случившихся год назад.

Как ручейки, стекаясь один к другому, образуют полноводную, бегущую к морю реку, так на

---

[1] Вешти — тамильская мужская одежда, полотнище, которое обертывается вокруг бедер — наподобие штанов, конец его закрепляется на поясе.

шоссе, что вело в Куала-Лумпур, со всех сторон выезжали грузовики. Казалось, конца не будет веренице грузовиков, беспорядочно набитых людьми — словно это были тюки с товарами. Казалось, никому не было дела до их тревог и страданий.

Муттусами сидел в углу кузова. К его плечу прижимался, словно маленький ребенок, его единственный сын — Муруган, ему только что исполнилось восемнадцать лет. Юноше было неудобно сидеть так, но устроиться иначе в такой тесноте было невозможно. Время от времени грузовик встряхивало, и Муруган ударялся плечом о плечо отца.

Стоило Муттусами взглянуть на сына, как тоска сдавливала его грудь. Мужская гордость не позволяла ему показать свои чувства, но при воспоминании о том, как билась в рыданиях его жена Селламма, когда они с Муруганом садились в грузовик, сдерживаемое горе вырывалось наружу и на глаза Муттусами навертывались слезы. Чтобы никто не заметил их, он прикрывал лицо концом тунду.

— Аийо! Единственного сына забираете! Оставляете меня сиротой! Что же я теперь буду делать? Как мне жить без сына моего? — этот горестный плач Селламмы неотступно звучал в его ушах, а перед глазами все еще стояла душераздирающая сцена их отъезда. Он вспоминал, как прощался с женой, как оставил ей пятьдесят долларов, как сказал ей на прощанье:

— Не плачь, Селламма, ничего тут не поделаешь... Мы скоро вернемся.

Когда погрузка закончилась и машина тронулась, Селламма заплакала навзрыд и, с отчаянием глядя на сына и мужа, крикнула:

— Не оставляй сына одного! Не оставляй!

Муттусами незаметно смахнул слезу. Грузовик ехал со скоростью сорок миль в час.

Отправляя мужчин на строительство железной дороги в Сиам, японцы не разбирались, кто может работать, а кто нет. Среди уезжавших оказался и Муттусами, которому перевалило за пятьдесят, и восемнадцатилетний Муруган. Тут были и деды, и отцы, и внуки. На грузовиках, шедших один за другим, сидели юноши, разлученные с молодыми женами, сыновья, уезжавшие от любимых матерей, отцы, лишившиеся детей,— на всех лицах была написана тоска. Кузова грузовиков словно наполнила тревога — тревога людей, которые, оставив дома и семьи, ехали неизвестно куда. Лишь не знавшие горя юнцы храбрились и, полные желания повидать новые места, с восторгом воспринимали все происходившее. Неужто хотели они оставить все горе и все тревоги матерям, хотели превратить глаза их в озера?

Двести человек, которых грузовики доставили на железнодорожную станцию в Куала-Лумпуре, посадили в специально приготовленные для них товарные вагоны. Муттусами удалось захватить местечко в углу вагона для себя и сына. Муруган не стал перечить отцу, хотя сидеть забившись в угол ему вовсе не хотелось: при мысли о путешествии и новых впечатлениях его охватывала безмерная радость. Он пока еще не знал, что такое настоящее горе, и, расставаясь с матерью, плакал недолго.

Ехавшие в поезде скоро потеряли счет времени — минуты казались им днями. В вагонах стояла нестерпимая духота. Люди обжигали друг друга дыханием, и лишь иногда проникал прохладный ветерок: он осушал пот, омывавший их тела, но осушить слезы, наполнявшие их глаза, не мог.

После целого дня езды состав подошел к северной границе Малайи. Здесь людей вновь распихали по грузовикам и повезли в джунгли Сиама. Три японца, встретившие вновь прибывших, погнали их, словно стадо скота, к стоявшим на краю леса длинным баракам, уже заселенным рабочими, которых привезли сюда раньше.

В одном из бараков устроился и Муттусами с сыном. Сон не шел к нему в эту ночь, его донимали то москиты, то запах прогорклой рисовой похлебки. Он не находил покоя на лежанке, сделанной из расщепленных стволов бамбука. А тут еще холод. Муттусами укрыл сына единственным вешти, захваченным из дому, а сам всю ночь так и не сомкнул глаз.

Наутро новичков построили перед бараками. Три японца, выкликая их по именам, распределяли по командам. Первых двадцать человек посадили в грузовик и куда-то увезли. Следующих двадцать посадили в другой грузовик. В него попал и Муруган. Муттусами охватила тревога — этого он никак не ожидал. Он бросился за грузовиком, умоляюще крича:

— Господин! Там мой сын! Господин, он еще маленький! Он должен работать со мной!

Японец не понимал слов Муттусами.

— Тебе чего? — крикнул он по-японски и выругался.

Муруган, перекинувший было одну ногу через борт, услышав брань, вздрогнул и отшатнулся назад. Японец сделал знак водителю, и грузовик отъехал. Муттусами остался стоять на дороге, растерянный и беспомощный, и слова Селламмы вновь пронзили его, как копья: «Не оставляй сына одного! Не оставляй!» Он дрожал всем телом, и казалось, сердце вот-вот разорвется. Он громко плакал.

Прошло больше двух месяцев. За это время Муттусами ни разу не видел сына. Сколько он ни спрашивал о нем — все впустую. Он не знал даже, где находится Муруган. А то, что ему довелось увидеть за эти два месяца, осталось у него в памяти на всю жизнь.

Грохот падающих деревьев заглушает шум лесной реки; звон рельсов, которые сгружают с тягачей, смешивается со стонами больных, крики японцев и их помощников — с тяжелым дыханием рабочих, ворочающих бревна и железные балки. Откуда-то доносится запах жареных кур, которых обычно приносят на продажу молодые сиамские женщины в коротких, едва прикрывающих грудь кофточках, с другой стороны несется тяжелый смрад — там лежат больные, неспособные двигаться и отгонять рой мух от гнойных ран, образовавшихся на месте укусов пиявок.

Муттусами видел, как страдали люди от холода, от бесчисленных комаров и пиявок, от болей в желудке, которые вызывал самодельный сиамский арак, съеденная вместо кэрри похлебка из молото-

го перца или недоваренный, неочищенный от песка и камней рис. Он видел, как люди покорно склонялись под ударами японцев, как чахли они от тоски по оставшимся в Малайе близким, те же, кто приехал сюда с родными, не могли с ними даже поговорить. И все это началось в тот день, когда их погрузили в машины, а затем в вагоны, привезли в Сиам, чтобы вышвырнуть в джунглях. И сколько их здесь было! Около ста тысяч малайских тамилов страдало на этой гибельной стройке, в этой проклятой могиле. Гноем, слезами и потом сочилась тамильская кровь.

От тоски по сыну, от холода и укусов насекомых тело Муттусами высохло и одряхлело. Казалось, что за три месяца он постарел на десять лет. Однажды он три дня пролежал в лихорадке, дрожа от озноба, три дня не выходил на работу — он не мог даже встать. В это время администрация решила отправить обратно в Малайю тяжелобольных и всех тех, кто не мог работать. В их число попал и Муттусами.

Когда больные услышали о возвращении на родину, многие почувствовали себя чуть ли не вдвое лучше. Ну а Муттусами мучили угрызения совести. Как он вернется домой без сына? «Где сын?» — спросит его жена. Что он ей ответит? Не к японцам же обращаться — им-то нет никакого дела до его душевных мук. Скажут: «Отправляйся» — придется ехать, скажут: «Останься» — придется остаться. Разве он посмеет ослушаться?

Больных посадили в поезд и отправили на родину. В пути люди умирали, и каждый вагон теперь напоминал кладбище. На вокзале в Куала-

Лумпуре поспешно выгрузили всех — мертвых и умирающих, хромых и безногих, распухших и высохших от голода. Они уезжали отсюда полноценными людьми, а вернулись калеками. Тела умерших сразу же закопали. Не известив даже родственников, бросили их в ямы по два-три трупа в каждую — и засыпали песком.

Обросший, с длинной бородой, Муттусами, пошатываясь, вышел из вагона. Вернее, он был Муттусами, когда уезжал, теперь же, шесть месяцев спустя, вернулся на родину старик Муттусами. Упросив шофера какого-то грузовика, шедшего из Куала-Лумпура, подвезти его, он добрался до своего селения. Что произошло здесь за все это время?

«Селламма, что я тебе скажу? Один я вернулся, один спас свою жизнь, оставил сына в чужой стране. Как мне смотреть в твои глаза?» Чем ближе к дому, тем сильнее терзали его душевные муки.

Дом был закрыт. Он подошел к двери, она распахнулась прежде, чем он ее коснулся. Он вошел. Внутри никого, дом казался покинутым. «Где же Селламма?» — думал он, выходя на улицу.

— Эй, кто там? Муттусами, почтенный, это вы? Да вас совсем не узнать! Давно приехали? — раздался голос соседки, Каннияммы. Она тоже проводила мужа в Сиам и теперь осталась одна с двумя маленькими детьми. Муттусами подошел поближе и охрипшим голосом спросил:

— Амма, где моя хозяйка? Она что, уехала отсюда?

— Заходите, почтенный, садитесь,— сказала Канниямма.

Но Муттусами продолжал стоять в дверях, держась рукой за притолоку. Мучительно часто билось сердце.

Не пришлось ему держать ответ перед матерью своего сына. То, что сказала Канниямма, ударило его, словно обухом по голове.

— Аийо! Селламма! Ты сама меня оставила одного! — проговорил он и, не в силах держаться на ногах, прямо у двери опустился на землю, обхватив руками голову.

Звон колокола на соседнем посту вернул Муттусами к жизни. Из глаз его лились слезы, он шептал: «Селламма, неужто ты покинула меня?»

С той поры прошел уже год, но, казалось, все случилось только вчера. Муттусами вытер глаза, спустился с помоста и три раза ударил по куску рельса — три часа ночи. Выплюнул изо рта остатки бетеля, прополоскал рот из бутылки, оставленной кем-то из охранников, и сделал несколько глотков. Холодная вода успокоила его, от сердца немного отлегло. Он вспомнил о том, что говорил Абдулла, и новые мысли вытеснили из головы печальные воспоминания, подобно тому как стираются старые следы на песке. Он думал о возвращении сына, и душа его пела от радости.

Он опять забрался наверх, взял в руки палку и устроился поудобнее, скрестив ноги и прислонясь спиной к бамбуковому столбу. Измученный старик погрузился в думы о сыне.

«Прошло уже больше года, как я оставил Муругана в Сиаме,— размышлял Муттусами.— Должно быть, он теперь вырос. Наверное,

усы отрастил. Я был единственным сыном у отца, и он тоже мой единственный сын. Надо бы найти ему хорошую девушку и устроить свадьбу. Родится у них малыш — и семья моя увеличится. Я умру, а семья останется и будет расти, как новые побеги банана, идущие от старого дерева. Если у Муругана родится дочь, мы назовем ее Селламма, а если сын — пусть будет Селлаппа. Первым, конечно, родится сын — так же, как у меня».

С легким стуком палка выпала из рук старика, и он захрапел.

— Эй, ты...— грубый окрик прогремел словно удар грома и мгновенно разбудил старика Муттусами. Внизу с багровым от гнева лицом стоял японец. На поясе у него болтался длинный меч, в руке он сжимал револьвер. Муттусами, дрожа всем телом, стал спускаться с помоста. Нагнувшись, он поднял палку, которая прыгала в его руке. Японец выставил вперед ногу.

— Ты что это делаешь?! — прокричал он и ударил Муттусами в лицо.

Старика отбросило назад, и, ударившись о бамбуковый столб, он упал. Японец снова выругался и, схватив фонарь, выбежал в раскрытые ворота.

Только теперь старик понял, что произошло. Пока он сидел на помосте, забыв обо всем на свете, погруженный в свои мечты, кто-то проскочил сквозь незапертые ворота. Этого нарушителя и преследовал теперь японец. С ужасом представляя себе, какое наказание его ждет, Муттусами поднялся и, сжимая в руке свою палку, бросился в ту сторону, где мелькал свет фонаря. От удара японца

в голове стоял шум, все плыло у него перед глазами. В темноте Муттусами пробежал совсем немного и, с разбегу налетев на что-то, упал.

В это время загорелась расположенная поблизости китайская фактория. С сухим треском пламя пожирало сложенные из пальмовых листьев крыши. Зарево разливалось по небу. Со всех сторон сбегались люди, но японец никого не подпускал к горящим хижинам. В одной из них скрылся беглец, и он, чтобы выкурить его, решил сжечь факторию целиком. Люди скоро поняли, что хижины, где жили многочисленные семьи китайцев, обречены на гибель из-за одного человека.

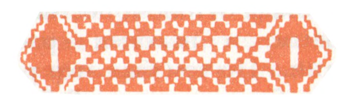
При свете огня кто-то обратил внимание на тело мужчины под деревом недалеко от сторожевого поста. Несколько человек подошли к нему и с ужасом узнали в лежавшем на земле старика Муттусами. Абдулла накрыл тело мешком и сказал, утирая слезы:

— Бедный старик! Это я его послал сюда в одиннадцать часов вечера.

Старик Муттусами покинул этот сумрачный мир, так и не дождавшись ни сына, который в восемь утра должен был вернуться из Сиама, ни внуков, которые должны были у него родиться.



К. Перумаль



СУДЬБА

Жрец Селламуту окончил утреннее омовение, натер лоб и тело священным пеплом, сандаловой пастой и шафраном, как того требовал его сан, и вышел в сад нарвать свежих цветов для сегодняшнего жертвоприношения. Куст аралии, щедро усыпанный прекрасными розовыми цветами, покачивался на утреннем ветерке, словно радуясь приходу хозяина.

Повесив корзину на левую руку, Селламуту слегка пригнул высокую ветку и собирался уже сорвать распустившийся цветок, но вдруг остановился.

Ярко-красный, едва раскрывший лепестки, цветок, казалось, посмеивался над ним. Долгим немигающим взглядом смотрел на него Селламуту. Что-то поразило его в этом прекрасном цветке, который он намеревался принести в дар Матери — Богине храма.

Рука его сама собою опустилась, глаза, пристально разглядывавшие цветок, уставились в зем-

лю, и Селламуту протяжно и тяжело вздохнул. Когда-то это была крошечная, едва заметная почка, потом она стала бутоном, постепенно наливавшимся розовым, и наконец — распустившимся цветком аралии... Но чем был этот рост — предначертанием Судьбы... велением Времени?.. Селламуту задумался.

Когда его отец стал главным жрецом храма Матери Сущего, Селламуту был еще мальчиком. Сначала он выполнял разные мелкие поручения — убирал площадку возле храма, собирал цветы для жертвоприношения, приготовлял сандаловую пасту, затем понемногу начал помогать отцу во время пуджи [1] — так мало-помалу он обучился всему тому, что необходимо жрецу. Иногда ему случалось совершить пуджу вместо отца, если тот был в отъезде. Потом отец умер, и Селламуту сам стал главным жрецом.

Жители селения почитали Селламуту так же, как и его отца. И если Селламуту Пандарам, человек, уважаемый во всей округе, опустил голову перед свежим цветком аралии, то это, конечно, неспроста.

«Подобно крошечному ростку, мальчиком помогал я отцу; подобно бутону, юношей служил я, заменяя отца в храме, и вот теперь, подобно этому распустившемуся цветку, достигнув зрелости, я сделался главным жрецом.

О цветок! Сейчас в своем цветении ты прекрасен, как сама красота! Скоро ты станешь частицей гирлянды, что украсит шею Матери! А завтра?..

---

[1] Пуджа — индуистская храмовая служба.

Завтра ты увянешь... и смешаешься с землей, вознесшей тебя к славе! Не такова ли и моя жизнь?

Когда ты начал расти и красота твоя лишь угадывалась, когда ты был бутоном, еще тая в себе всю полноту очарования, ты радовался! Расцветая, ты смеялся: «Взгляните на меня... разве я не счастлив?» Ты говорил это сквозь смех! Разве не то же самое было и со мной?

Я родился, когда еще жив был мой дед, и возмужал на глазах отца. И вот теперь я одинок. Одиноким припадаю я к стопам Матери и живу, делая гирлянды из цветов, чтобы украшать ее! А завтра?..

Но разве мне дано знать будущее? А ты... Ты можешь указать жребий, который время уготовало людям... их судьбу... счастливый цветок, случайно выбранный тем, кто в несчастье прибегает к помощи Матери!»

Не это ли размышление над цветком заставило Селламуту Пандарама тяжело вздохнуть? Может быть...

Повод к раздумьям могло дать Селламуту и вчерашнее происшествие. А случилось вот что.

Селламуту Пандарам готовился к вечерней молитве. Народ собрался в храме, чтобы вознести хвалы богине и поглядеть на ее статую. В толпе стояла старушка с внучкой, дожидавшаяся окончания службы,— после нее она сможет получить благословение Матери из счастливых рук Селламуту: надо лишь положить цветы перед изваянием, и цветы укажут ей судьбу.

Но вот изображение Матери украшено, ряды светильников зажжены; тщательно соблюдая все

детали ритуала, Селламуту Пандарам начинает пуджу.

Красота убранства богини, пламя горящих светильников, дымок и аромат фимиама освятили все, что находилось в храме. В святилище воцарился покой. Молящиеся стояли по обе стороны дорожки, ведущей ко входу, благоговейно складывая ладони и воздевая руки, и если бы вдруг сюда попал человек, незнакомый со службой, он не смог бы держать себя иначе. И когда среди этого покоя раздавался колокольный звон, у молящихся дрожь пробегала по телу.

Люди молились молча, закрыв глаза. Голос Селламуту Пандарама нарушил тишину.

— Тот, кто хочет узнать волю Матери, может сделать это сейчас, положив перед нею цветы...— произнес он.

На блюде со священным пеплом, приготовленным для раздачи молящимся, лежали два маленьких свертка с цветами. Селламуту взял их и, отряхнув, почтительно положил на ступеньку у ног Матери. Затем он подозвал внучку старухи и велел ей выбрать один из них. Равнодушно поклонившись богине, девочка подняла один из свертков и подала его жрецу.

Есть изречение: «Дитя и бог появляются там, где их почитают». Поистине, дитя, чья душа чиста и непорочна, подобна богу, или бог есть Истина и Чистота — наверное, в этом смысл изречения.

Потому-то равнодушный и даже непочтительный поклон маленькой девочки не оскорбил стоявших в храме; в ту минуту для них она была проводником божественной воли Матери.

Селламуту взял у нее сверток и, обратившись к старухе, сказал: «Думай о своем»— и вдруг эти слова вернули его к дням детства. Он увидел отца, стоящего вот так же, в храме, и держащего в руках свертки с цветами, и себя самого, в набедренной повязке, почтительно склонившегося перед ним, и прихожан, жаждущих узнать, какой цветок окажется в свертке, который сейчас выберет ребенок,—видение это тенью мелькнуло перед ним.

Селламуту подумал о беге времени. Он стоит там, где когда-то стоял его отец, а на том месте, где стоял когда-то он, маленькая девочка выбирает сверток... и все это совершило Время... Селламуту развернул сверток. Пунцовая аралия улыбалась ему!

— У меня *красный*,—объявил он.

— И я тоже подумала о нем,—отозвалась старуха, внучка которой выбирала цветок.

По давнему обычаю, тот, кто предсказывает судьбу, толкуя божественные знаки, должен произнести утешительные слова, если ищущий благословения думал о том цвете, на который пал выбор. И потому Селламуту сказал старухе:

— Все будет хорошо... Не надо тревожиться.

В заключение он раздал священный пепел—символ Материнского благословения. Наступила полночь. Селение уже спало крепким сном, когда безмолвную черноту ночи прорезал крик: «А-а-а-а! Сын мой... ты покидаешь меня?»—и вслед за ним послышались стенания и плач. Все пробудилось... Люди бросились к дому, откуда доносился крик.

В доме, рыдая, билась головой о землю старуха, та самая, что ожидала в храме благословения Матери минувшим вечером, а рядом с нею стояла полусонная, ничего не понимающая внучка. Сын старухи лежал тут же: он спал вечным сном, и лицо его было безмятежно.

Старики, сведущие в том, что подобает делать, когда умирает человек, позаботились обо всем. Женщины сели вокруг старухи, и голоса их слились воедино, указуя путь умершему.

В этот момент в дом вошел Селламуту Пандарам и опустился на землю рядом со старухой.

— Мать... возьми себя в руки... разве твои рыдания возвратят его? — попытался он ее утешить.

Услышав голос Пандарама, она вскочила, из груди вырвался сдавленный крик:

— «Все будет хорошо»... «Не надо тревожиться», говорил ты... но Мать... она... сожгла мою жизнь! — Старуха снова зарыдала.

Селламуту почувствовал, что он не в силах помочь ей. Он тихо вышел из дома и сел неподалеку.

Наутро после похорон, когда Селламуту окончил омовение, он вышел в сад за свежими цветами. И вот тогда-то его рука, машинально поднятая, чтобы сорвать цветок аралии, сама собою опустилась, он уронил голову и, глядя в землю, погрузился в какие-то смутные раздумья.

Одна и та же мысль неотступно возвращалась к нему: «Неужели знак Матери может быть ложным?»

И вдруг он понял: и поклоны богине, и цветы,

возложенные к ее ногам, и суждение о том, насколько благоприятна окраска выбранного цветка, и участие в выборе невинного ребенка — весь этот ритуал создан самим человеком, создан для того, чтобы утешить и успокоить истерзанные души, томящиеся под непосильным бременем страданий. И нет такой силы, которая могла бы изменить ход событий, предначертанных Судьбой, или помешать бегу Времени!

При мысли о том, что он столько лет жил, не понимая, что невозможно нарушить или приостановить работу Природы, Селламуту тяжело вздохнул. У него уже больше не было иллюзий.

Свободный от сомнений, постигший неисповедимость путей Судьбы, Селламуту Пандарам сорвал улыбающиеся цветы аралии, уложил их в корзину и приготовился к сегодняшней пудже.



Ли Го-лян



ЭТО ВСЕ ВО СНЕ

Солнце слепило, отражалось от темной сверкающей глади перрона, льнуло к белым остроконечным столбам ограды, что отделяла железнодорожную станцию от шоссе, и он сощурился, пристально вглядываясь в нагруженных корзинками, чемоданами и свертками пассажиров, которые садились в вагон. Правую руку он засунул в карман серых брюк, пальцы касались еще не раскрытой пачки сигарет. Пусть поезд отойдет, вот тогда-то он и закурит. Губы пересохли, и он тихонько улыбнулся про себя: ведь попить можно в любую минуту. Несколько шагов по коридору — и ты в уборной, нажмешь на кнопку крана умывальника — и забьет струйка. Пей сколько душе угодно. Пойти бы и напиться прямо сейчас, но он сдержался, не дал себе воли. И сам чувствовал, что улыбка становится натянутой.

Напротив сидела жена с ребенком, на полу между ее ног — чемоданы. Когда сели в вагон, она опустила веки и робко ему улыбнулась. Малыш, быстро мигая на слепящем солнце, глядел на него

удивленно — блестящие, темные, пуговками глаза, небольшой рот раскрыт, язычок такой же розовый, как губы — потом прислонился коротко остриженной головкой к плечу матери. А потом уснул, вытянув на коленях у нее длинные славные ножки. Ножки у него до того красивые, до того стройные, так бы и погладил их, еле удержался.

Вагон постепенно наполнялся народом, но место подле него по-прежнему пустовало. Он отвернулся от окна и взглянул на свои сандалии: ногти на ногах слишком отросли, доберемся до места, надо будет сразу же их остричь. Если жена забыла захватить ножницы, купим у уличного торговца, какие подешевле. Когда его привезли на вокзал в Воксхолле, он все искал ее глазами, а увидев у входа с ребенком на руках и вот с этими чемоданами, насилу совладал с собой и старался не замечать злорадных взглядов тех, кто сидел в машине. Он вышел из машины, кивнул шоферу — он знал: шофер наблюдал за ним в зеркальце с той самой минуты, как его вывели из Главного полицейского управления. Сопровождавшие предложили ему сигарету, но он вежливо отказался. Людей этих он видел впервые. Один еще молодой, с густыми, очень темными бровями на бледном лице, другой — коренастый прыщавый малаец. Оба заговаривали с ним то о жаре, то о ценах на рубашки. Теперь он уже знал — все они ходят в белых рубашках, только разного качества. Они, наверно, предпочли бы носить рубашки пошикарней, пастельных тонов, но белые привычней, не бросаются в глаза. Вероятно, белые рубашки выбраны не случайно. Сам он в тот день был в бледно-желтой

рубашке с короткими рукавами, которую передала для него жена. Она, видно, думала, это все равно как пойти на свадьбу или отправиться в гости к родным, и потому купила новую рубашку и так ее накрахмалила, что всякий раз, стоило повернуть голову, воротник врезался сзади в шею.

Осторожно, не повернув головы, он посмотрел в окно. Поодаль, в тени, которую отбрасывала крыша вокзала, стояли трое. Лениво покуривали, ждали отхода поезда. Прежде он не сумел бы отличить их в толпе. Теперь это не составляло труда. Спокойная уверенность во всей повадке, настороженный взгляд и это явное ожидание чего-то, что вот-вот случится, отличали их, словно длинная шея — жирафа. Он вдруг прикусил нижнюю губу. Молча, на свой лад, они пришли его проводить: ведь они сдержали свое обещание.

— Неужели вы не понимаете? — по-английски сказал ему как-то один белорубашечник, вытянув короткие ноги и откинувшись на спинку стула.— Мы вынуждены это сделать. У нас ведь тоже работа, как в любом государственном учреждении.— Он помолчал, пустил колечко дыма, потом опять сунул в рот сигарету и, коварно улыбнувшись одними лишь уголками губ, продолжал: — Конечно, между нами и прочими служащими кой-какая разница есть. Но если с нами готовы сотрудничать, мы свои обещания выполняем.

Слушая этот медоточивый голос, он тогда чуть не рассмеялся. То была первая беседа.

Когда же это за ним пришли — не в воскресенье ли, под утро? Он был еще совсем сонный. Он тогда зажег лампу у постели, жена повернулась на

другой бок, и ее волосы скользнули у него по горлу. Яркий свет упал на нежное смуглое лицо, припухшее со сна. Он встал, и она быстро заморгала, приподнялась на локтях. Малыш спал в своей кроватке в обнимку с куклой, прижавшись к ней приоткрытым ртом.

— Ты куда? — спросила жена невнятно. Лицо у нее стало удивленное.

— Стучат в дверь. Не знаю кто.

Прикрыв рот рукой, она зевнула. Он наклонился, поцеловал ее, прижался носом к теплой круглой щеке. Почесывая грудь, скрытую ночной кофтой, она соскребла с себя остатки сна и поднялась. А он подошел к двери — и вот тогда-то ему и стало страшно. За дверью слышались голоса, шепот. Нет, с ним этого не может случиться. Конечно, тогда с помоста он много чего наговорил — что правительство, мол, не делает того, не делает другого. Но ведь этого еще недостаточно. А говори он тогда иначе, он был бы просто смешон.

В тот вечер, когда он поднялся на помост, его окружала толпа, со всех сторон к нему были обращены темные, покрытые потом худые и доверчивые лица. Он медленно осмотрелся, вглядываясь в сторону газовых фонарей, яркой гирляндой свисающих с деревянных шестов. За спиной у него трепетало знамя, и, когда он заговорил, лицо его омыл ветер с моря. Около часу стоял он перед микрофоном, и каждое его слово секундой позже возвращалось к нему, отражаясь от высоких правительственных зданий, эхом отдавалось среди могучих древесных стволов. Несмотря на ветерок, налетающий с моря, по лицу его катился пот, и

несколько раз пришлось прервать речь и носовым платком отереть лицо. По тому, какая стояла тишина, по напряженным лицам он понимал — слушают внимательно. Он ведь не из подстрекателей, не чета прочим ораторам; к тем, кто пытался воспламенять толпу, он относился с некоторым даже презрением. Пустая болтовня без смысла и содержания, точно барабанная трескотня. Сам он предпочитал выступать третьим или четвертым. Подстрекатели обычно выступают под конец, будоражат толпу, и она расходится с шумом и криками. На другой день он был поражен, увидев, как яростно обрушилась на него пресса. Он-то думал, его выступление пройдет вовсе не замеченным. Ведь в большом этом движении он — фигура весьма незначительная. Правда, один его родич, работающий в некоем правительственном учреждении, говорил ему, что на него заведено досье, но он в ответ лишь посмеялся: досье заведены на тысячи людей, так чего ради волноваться.

Стоя в ту ночь перед дверью, он в бешенстве пытался понять, что же все-таки стряслось. Он же в той своей речи не открыл никаких Америк, в словах его не было никакой злонамеренности, и он не проповедовал ничего, что вело бы к беспорядкам и бунту. Он только хотел, чтобы все жили хорошо и больше зарабатывали. Он хотел всем добра и ничего не стремился разрушить.

Снова постучали — и вдруг жена молча кинулась к нему, обхватила за плечи. Он обернулся. Увидел замешательство в ее лице и, силясь улыбнуться, прошептал:

— Может, соседке пришла пора родить.

Жена успокоилась, опустила руки, но, пока он отпирал дверь, стояла рядом. Он вглядейся во тьму — внизу маячили трое.

— Кто там? — негромко спросил он, придерживая дверь.

— Полиция. Можно войти?

Они были так вежливы, даже разулись, прежде чем подняться по ступеням.

— Извините, вынуждены вас побеспокоить,— сказал один, когда все трое вошли в дом. Было ему лет сорок с небольшим, лицо широкое, маленькие бегающие глазки.

— Пожалуйста, пройдемте с нами.— И этот человек достал из кармана рубашки какое-то удостоверение, помахал у него перед носом. Но он не стал глядеть на эту бумажку, все силы собрал, чтобы сохранять спокойствие. Полицейские рылись в ящиках письменного стола, в папках, потом раскрыли платяной шкаф, шарили под вещами; они двигались по дому бесшумно, малыш даже не проснулся. Жена стояла в углу спальни, побледневшая, притихшая, стиснув руки. Один полицейский поманил его и попросил открыть запертый сундук. Там хранились со школьных лет кой-какие старые учебники, которые он забыл выкинуть. Двое подняли сундук и понесли его осторожно, словно гроб. Но вот с обыском покончено, главный повелительно мотнул головой, но, прежде чем последовать за ними, он подошел к жене, коснулся ее руки.

— Не тревожься. Все обойдется. Это ошибка. Утром я вернусь, вот увидишь.— Голос его дрог-

нул, и он не решился продолжать, сглотнул слюну. В горле пересохло.

— Ты в чем-то виноват? — едва слышно спросила жена и прильнула к нему.

Он покачал головой.

— Это ошибка, вот увидишь. Соседям пока ничего не говори, я дам тебе знать.

Он молча опустился на скамью полицейского фургона. Двое сели по бокам, словно оберегая его. Жена стояла на пороге, в рамке света, одной рукой держась за косяк двери. Он помахал ей, и она помахала в ответ. Фургон тронулся, и она затворила дверь. В доме заплакал малыш — его разбудил шум мотора. Тот, что сидел справа, предложил ему сигарету, но он отказался. Курить в такую рань — никакого удовольствия. В этот час при бледном свете похожих на свечи фонарей, осененная темными сучьями высоких деревьев, дорога была тиха и торжественна, точно храм. Почти во всех домах окна были еще темные. Вышедший спозаранку первый уличный торговец толкал свою тележку, и шум ее покрывал мягкое урчанье мотора. Порой доносилось первое птичье щебетанье. Первые редкие пешеходы останавливались, провожали полицейский фургон глазами, потом, наклонив голову, шли дальше. И он вдруг почувствовал: непременно надо будет вот так пройтись ранним утром по улицам, насладиться ощущением свободы, когда город еще не проснулся и воздух чист.

Главное управление полиции находилось на окраине. Сколько раз он проезжал мимо! Это длинное, растянувшееся на пятьсот пятьдесят фу-

тов здание, этажей в шесть, было возведено из армированного бетона, и на каждом этаже во всю его высоту поднимались круглые оштукатуренные ярко-оранжевые колонны.

Малаец в полицейской форме достал большой пакет из оберточной бумаги и сказал по-малайски:

— Выложите все из карманов и снимите часы.

Кошелек, ключи, носовой платок, пачка сигарет, коробок спичек, и, наконец, часы скрылись в пакете. Пустые карманы повисли вдоль бедер. Полицейский записывал все эти предметы в какую-то книгу, а он пока от нечего делать огляделся: в глаза бросилась черная доска с металлическими бляхами, они свисали с крючков, и над каждой белой краской выведен номер.

Главный из тех, кто его арестовал, легонько тронул его за плечо. «Пойдемте». И он пошел.

Вошли в длинный коридор, над головой слабо горели тусклые лампочки. По обе стороны — комнаты, все двери закрыты. Вверху на них выведены белым какие-то буквы. Он попытался разобрать, что там написано, но они шли слишком быстро. Пройдя половину коридора, полицейский остановился и отворил одну из дверей. Подал ему знак, вошел в комнату и щелкнул выключателем. Он вошел следом и зажмурился от слепящего света подвешенной посреди потолка яркой, как прожектор, лампы.

— Обождите здесь,— сказал полицейский.

И он остался один.

Быстро окинул комнату взглядом. Окна забраны решетками. В углу деревянный стул. Довольно долго он стоял, не зная, что делать. Но понемногу

одолела усталость, и в конце концов он прошел в угол и сел на стул, вытянув ноги, пошевелил пальцами. Неужели все это наяву, неужели это он сидит здесь, уставясь на свои ноги? Нет, скоро они убедятся, что ошиблись, и отпустят его домой. В нем вспыхнула досада. Дурни. Он сунул руку в карман — и тут вспомнил, что сигареты отобрали. Стал тереть лицо подушечками пальцев, ногтями скреб крылья носа и все ждал, чтоб кто-нибудь пришел. Вдруг подумалось — а который теперь час? Должно быть, уже седьмой, он просидел здесь, наверно, часа два. На улице теперь полно велосипедистов, в мягком утреннем свете они катят в конторы и в доки. Он поднял левую руку, повернул запястье — на загорелой коже отчетливо белел след от часов. Он встал, наклонился, зевнул. Свет мигнул, он вскинул голову — большой крылатый муравей бился о лампу. Да, похоже, будет дождь. Ночью муравьи ползали по кровати, по подушкам, падали сверху, усыпали постель недолговечными узкими крылышками, хрупкими, прозрачными, как лак, которым жена красит ногти. Надо бы забрать окна сетками. Беда не в том, что они засоряют комнату, но жене столько хлопот с ними — ведь надо сметать с матрацев и подушек их самих и их сломанные крылышки. А иной раз ночью муравей поползет по щеке, и приходится зажигать свет и ловить его — да притом еще будишь жену. Стало противно при мысли о том, что вдруг какой-нибудь бескрылый муравей заползет в нос. Он снова поднял глаза к потолку. Но муравей исчез. Наверно, упал на пол. Он принялся искать глазами муравья — начиная от противоположной стены,

дюйм за дюймом обшарил взглядом всю комнату и уже потерял было надежду, как вдруг — вот он! — совсем близко от его левой ступни. Он пригнулся, уперся руками в ляжки, чтоб не потерять равновесие, все не мог разглядеть насекомое, даже голову повернул, чтобы не заслонять свет. Несчастное существо... Потом он пожал плечами — ведь муравей уже ничего не чувствует. Странно, сколько раз уже так бывало: стоит ему пожалеть насекомое — и он словно пугается этой жалости, будто некоего запретного чувства.

В мысли ворвался какой-то негромкий звук. Он поспешно поднялся. На пороге стоял старший белорубашечник. Наверно, за ним уже несколько минут наблюдали. Они всегда так. Вечно подслушивают да подглядывают. С этими своими магнитофонами, агентами, осведомителями, доносчиками.

— Извините, что помешал,— сказал полицейский, оглядывая комнату, словно здесь можно было что-то спрятать.— Прошу следовать за мной.

Полицейский повернулся к двери, и он подумал — не попросить ли у него сигарету. Но пытливо поглядел на сутулые плечи полицейского — и только сглотнул слюну. Его повели во внешний двор. Стойки для велосипедов, крытая стоянка для автомашин, асфальт. Уже светает. Наверно, половина седьмого. И на небе ни облачка. День будет жаркий. Полицейский вел его через двор к какому-то длинному зданию. Двери, двери, краска на них облупилась. Перед одной из них сикх-полицейский замер по стойке смирно, отдал честь. Тот, что его сопровождал, в ответ приложил руку к фуражке, и сикх отворил одну из две-

рей. Оба знаками показали ему, чтоб он вошел, и дверь за ним захлопнулась.

Слабый свет пробивался через квадратное оконце в верху двери. Осторожно, вытянув руку и касаясь стен, он обошел камеру. Сыровато. Скамьи в этой тесной камере не оказалось, и он сел на бетонный пол, скрестив ноги. К нему вернулось самообладание. Страх, перехвативший горло, когда он услыхал стук и шепот за дверью, прошел, в голове прояснилось. Если они обрушатся на него за его убеждения, что ж, он готов с ними поспорить, он не скроет от них, как презирает их стереотипное мышление; втайне он надеялся, что одного-двух сумеет обратить в свою веру. В самом деле, ведь если познакомить их с фактами, даже дурак поймет, какая кругом несправедливость. Ну, а если на него накинутся за его знакомства или речи, тогда он будет сидеть и слушать и прежде, чем отвечать, постарается все взвесить. В то же время он покажет им, что он не из болтунов-подстрекателей, которых легко напугать или спровоцировать. Однако надо беречь силы и хорошенько все обдумать. Тут он позволил себе отвлечься. У него есть друзья, которые вхожи в правительственные круги,— и до сих пор, как он замечал, к нему относились с уважением. Быть может, еще и потому, что он человек образованный. Кроме того, он говорил об арестах без причины, он не сомневался, что так может случиться, и в душе готов был к этому; впрочем, вспомнив, как он вел себя поначалу, дома, когда за ним пришли, он досадливо поморщился. Брови сдвинулись. Вел он себя не так, как подобает. Они заметили его испуг, замети-

ли, что его слабое место — жена и ребенок. Впредь надо быть начеку. Сейчас они, наверно, совещаются, просматривают его досье, прикидывают, кому лучше его допрашивать. Не сразу, конечно,— заставят ждать и ждать. Но он не так-то легко попадется в ловушку. Что ж, самое время начать. Впредь надо думать о семье. Одну слабость он одолел. И сразу стало острее желание закурить. Надо отвлечься, думать о другом. Он оглядел камеру, потом растянулся на полу и закрыл глаза. Но сон не шел. Жаль, что не овладел самогипнозом. Это очень бы пригодилось. Выйдет отсюда — и надо будет всерьез этим заняться. И еще, когда он отсюда выйдет, надо будет выступить, рассказать об этом испытании. Даже хорошо, что оно выпало на его долю; такой опыт придаст вес его речам. Прежде он рассказывал внимающим ему толпам о чужих испытаниях, и его несколько уязвляло, когда ему лишь вежливо аплодировали. Теперь он все пережил сам. Что ж, это даже хорошо. Нет худа без добра. Арестовав его, власти показали свою глупость и тупость. Любопытно, что скажут по этому поводу газеты? Главе его партии, А Чжуну, придется созвать собрание, все будут обсуждать его арест и, наверно, навестят его жену и выскажут ей сочувствие. А Чжун, который боялся, как бы его самого не арестовали, заискивал перед властями и пытался охладить пыл более молодых членов партии. «Горячие головы»,— хитренько глядя на него, сказал ему однажды вечером А Чжун после бурного заседания в штаб-квартире партии. А потом, возразив на его доводы, сказал еще какую-то чушь, извинился, сел в свою машину и уехал.

— Обычная наша процедура вам, конечно, известна,— по-английски сказал молодой человек со скорбным выражением лица, сидящий напротив него за столом.— Простая формальность. Несколько вопросов о том о сем, и, если ответы нас удовлетворят, мы вас отпустим.

Ссутулившись, он прислонился к спинке стула и заставил себя улыбнуться. Попытался выпрямиться, но не мог — мучила тошнота. Кормили здесь скверно, все больше чудовищно приготовленный кэрри — без мяса. Когда же он попросил мяса, полицейский, принесший еду, пожал плечами и сказал: «Всем приходится есть эту бурду. Даже мне».

Это был первый допрос, и ему было не по себе уже от того, что не удалось сесть прямо. Долгонько заставили дожидаться, мысленно улыбнулся он, пожалуй даже довольный собой.

— Ночью прохладней и тише,— сказал молодой человек, словно прочитав его мысли.— Днем мне мешают сотрудники, входят, выходят, шумят в коридорах. Так что, надеюсь, вы не возражаете.

Черта с два я стану возражать, хотелось ему сказать, но он лишь молча пожал плечами.

— Итак, начнем. Расскажите мне все, что вы знаете.— Молодой человек достал пачку сигарет, старательно встряхнул ее, вынул одну сигарету и чиркнул спичкой.— К сожалению, не могу предложить вам закурить. Такие уж правила.

Он раскрыл рот, выдохнул дым, и губы искривила слабая улыбка. Сигарета устало подрагивала в губах. Допрос продолжался.

Все оказалось совсем не так, как он прежде думал. Происходило все вполне мирно, следова-

тель был само терпение. Но когда зашел другой полицейский, пожаловался, что все кабинеты заперты, а ему нужен стул — надо допросить другого арестованного,— он улыбнулся про себя. Вот оно. Сейчас у него отберут стул, и придется всю ночь стоять. Но нет, его следователь наотрез отказался отдать стул — надо было самому заранее все подготовить, а не просить теперь у других. В конце концов, здесь только два стула. Один для него самого, другой для арестованного. Услыхав такие слова, как было не ощутить благодарность к своему следователю.

— Вот дурак,— сказал молодой человек, когда его коллега ушел,— чего он от меня хочет? Чтоб я заставил вас стоять? С такими методами далеко не уедешь. Ну ладно, для вас все это внове. Я знаю, вам нелегко. Но я хочу вам помочь. Давайте продолжим. Говорите все, что вам приходит в голову. Рассказывайте. Это здорово помогает, по собственному опыту знаю. Говорите о семье, о себе, о друзьях. Лучше я вам скажу напрямик. В полиции о вас известно многое. Таиться бесполезно. Если вы пойдете нам навстречу, я напишу благоприятный отчет и вас выпустят. Конечно, ручаться не могу, но таков мой опыт. Я от этой работы не в восторге. Меня сюда назначили. Жена, знаете ли, всегда очень недовольна, когда мне приходится допрашивать. И не только вас. Других тоже. Она бы, верно, предпочла, чтоб я это время проводил с ней в постели. Сами знаете, каковы они, женщины.

Следователь замолчал, ожидая, что он как-нибудь на это отзовется. Но он молчал. Тот

разглядывал его с любопытством, посасывал сигарету. Дым стоял в воздухе. Не будь воздух в комнате так неподвижен, дым, быть может, потянуло бы в его сторону. Ох, как хотелось вдохнуть сигаретный дымок! Один отставной солдат как-то рассказывал: в джунглях острый запах табачного дыма разносится далеко и, когда их части отправлялись на охоту за партизанами, все обязаны были сдать сигареты командиру отряда. Но мучительней всего мысль о пиявках — они разбухают от крови, становятся толстые, что твоя голень. Иногда они мерещатся ему во сне: будто он лежит на куче веток, а они медленно ползут к нему, покачивая головами в поисках плоти, любой плоти, к которой можно присосаться. Он просыпался весь в поту, тяжело поднимался с пола и, еще не успев осознать, где он, осторожно ощупывал себя. Он просил, чтоб ему дали газеты, но вместо газет принесли медицинские журналы. Листая их, он поглощал статьи, в которых говорилось о пиявках, москитах и тропических болезнях, и стал запоминать, что́ нужно для первой помощи. Необходим йод и еще особая мазь против пиявок, аспирин, тигровый бальзам. Он составил в уме список: как можно больше бинтов, лейкопластырь, пенициллин, хинин или какие-нибудь таблетки от малярии, спички, два компаса, пластиковая палатка. Каждую ночь он повторял весь этот список, пока его не одолевал сон. Но каждое утро его брало уныние. Едва ли ему выжить в джунглях. В конце концов, здесь он не так уж страдает. Обращаются куда лучше, чем в японской тюрьме в годы оккупации. Ни пыток водой, ни побоев, не травят овчарками,

не вырывают ногти и зубы. Просто держат взаперти, а больше особенно жаловаться не на что. Так зачем все эти мысли? Но, несмотря ни на что, ночи преследовали его соблазнами, хотелось отважиться на некий героический шаг; с допросов он возвращался взвинченный, расхаживал по камере из угла в угол, отгонял мысли о семье. Представлялось: он один, на свободе, и может поступать, как хочет. В конце концов, что такое жизнь, как не испытание воли? Двух жизней никому не дано, а одна, мимолетная, так мало значит, и все же в ней столько возможностей. В сущности, жизнь — это приближение к смерти. Подумав об этом, он круто остановился. К чему тогда столько сомнений? Как умирать — далеко не все равно. Не желает он умирать в джунглях, совсем один, не желает, чтоб пиявки высосали из него всю кровь и чтоб никто даже не узнал, как он сгинул. Почему жена его должна стать... нет, лучше не думать о ней... Он затряс головой.

— Что с вами? — спросил полицейский.

Он спохватился. Какая глупость — дать волю своим мыслям.

— Просто судорога,— ухитрился с улыбкой ответить он.— У меня это бывает. Доктор говорит, что-то с шейными мышцами.

Ложь, но полицейский как будто удовлетворился его объяснением — снова принялся перелистывать страницы, бегло просматривать дело. Низко наклонил голову, и кружок яркого света лежал теперь только на темных густых волосах. И стал виден двойной завиток на макушке. Если ребенок рождается с двойной макушкой, считается, он

упрямец. Этот полицейский, конечно, человек упорный. Ведет допрос уже целую неделю, заканчивает в первом часу, а то и позднее, со смущенным зевком.

— Медленно двигаемся,— сказал полицейский.— Но мне спешить некуда, и я понимаю, каково вам оговаривать других.

Он молча смотрел, как полицейский складывает бумаги в папку.

Тот поднял голову, яркое пятно света легло теперь на его короткий нос.

— Буду с вами откровенен,— сказал он, отодвигая папку в сторону.— Пожалуйста, верьте мне. Я не могу дать по вашему делу благоприятное заключение, пока у меня не будет ясности по трем вопросам. По-моему, вас толкнули на ложный путь. Сейчас от вас требуется только одно: подтвердить три обстоятельства. Увертываться бессмысленно. Во-первых, подтвердить, что вы виделись первого марта прошлого года с А То, который известен еще под именем Чжай Го, а также под именем О Ба. Там присутствовали еще и другие, и вы обсуждали, как организовать студентов. Имена двоих мне известны. Назовите остальных. Во-вторых, где находится Че Харун? Он руководил одной из ваших групп. И наконец, кого вы считаете самым опасным в вашем комитете? Я имею в виду опасным с точки зрения службы безопасности. Я не стал бы вам всего этого говорить, если б не был убежден, что вы не такой, как они. Они вас используют в своих целях. Подумайте об этом. До скорой встречи.

Полицейский поднялся и сунул руку в карман.

— Да, кстати, ваша жена передала для вас письмо. Обычно мы этого не разрешаем, но здесь я делаю исключение.— И полицейский перекинул к нему по деревянному столу бледно-голубой конверт.

Он взял письмо. Какое легкое, точно бабочка. От полицейского не укрылась его растерянность.

— Пожалуйста, можете взять его с собой и прочесть на досуге.— Полицейский улыбнулся, лицо стало менее напряженным.— Не стану от вас скрывать. Вы достаточно умны, сами понимаете, нам пришлось его прочесть. У вас замечательная жена. Знаете, при всей разнице взглядов, мне порой кажется, что жены куда постояннее, чем наши политические пристрастия. Мне ведь известно, у вас есть друзья, чьи политические воззрения резко расходятся с вашими.

Он лишь улыбнулся, не позволил себе ничего сказать в ответ. Успеет еще обдумать в камере, что пытался ему внушить полицейский. И вдруг, неожиданно для самого себя сказал:

— Не дадите ли вы мне сигарету? — Полицейский вскинул голову, словно не расслышал. И, не дожидаясь ответа, он покачал головой и сказал: — Нет, ничего. Благодарю за письмо.

В сопровождении полицейского он вышел из главного корпуса. Ночной воздух был чист и прохладен. Высоко в черном небе сияли звезды, и в отдалении смутно темнели кокосовые пальмы. Протяжно квакали лягушки. Входя в камеру, он помахал полицейскому и тут же почувствовал себя дурак дураком. Тот быстро пошел было прочь, но остановился и закурил. В ту ночь он уснул, сунув

конверт в карман рубашки. То был мирный сон очень усталого человека; он проспал до самого рассвета, а проснувшись, несколько раз перечел письмо, прижимаясь лицом к страницам, пытался уловить родной запах жены. Потом караульный отворил камеру, и он вышел, довольный, ополоснул лицо холодной водой. До того, как надо будет принять решение, времени еще много — часы и часы. Имена и адреса. Адреса и имена. Чего проще. Возможно, им и так все известно. Недаром же полицейский употребил слово «подтвердить».

Итак, свое обещание они выполнили. Поезд тронулся, и тот из троих, кто стоял посредине, чуть заметно кивнул в его сторону. Поезд набирал скорость, и ромб солнечного света скользнул по полу вагона. Жена с малышом тихонько покачивались в такт движению, на лицах у них такой покой! Ему сказали — будущее перед ним открыто, но безопасности ради надо переехать. Он подписал бумаги, которые ограничивали его деятельность; об этом уже сообщили в печати, но вот чего друзья его не знают: ему обеспечено место в некой фирме. Об этом можно не тревожиться. Однажды — уже после того, как он принял решение,— товарищи по партии навестили его, они считали его героем.

— Не беспокойся, года через три сумеешь вернуться,— говорили они.

Все смеялись, болтали, только А Чжун, председатель, молчал. И лишь пристально на него глянул. Цзянь Тинь, самый крайний из всех, совсем еще мальчишка, нахмурился, глаза за толстыми стеклами очков были очень серьезны, он сказал негромко, чтобы никто больше не услыхал:

— Лучше бы выслали меня. Вы слишком большая потеря для партии. Не так-то легко будет вас заменить. Жаль.

К ним подошел А Чжун, прислушался, но Цзянь Тинь бросил на него косой взгляд и отошел. Улыбка на лице А Чжуна почему-то напомнила ему злобную усмешку одного дельца, который постоянно давал партии деньги, а взамен требовал всяческой поддержки. Он не улыбнулся в ответ. А Чжун несколько смешался и, стараясь скрыть смущение, сказал:

— Я тоже скоро последую за вами.— И грубо хохотнул.

У него были мерзкие привычки. Он на людях ковырял в носу. Давно надо бы сказать ему, что это неприлично. Но вот присутствовавший при свидании полицейский подал знак, что пора уходить, и А Чжун шепнул ему:

— Если б вы могли рассказать мне, как было дело. Мне предстоит выступить с речью. Подогреть толпу, сами понимаете.

А Чжун был среди них самый главный подстрекатель, и после выступлений пот катил с него градом. На вокзал никто из них не пришел: о том, что он уезжает, полиция сообщила только жене. И он был отчасти даже рад этому.

Они ехали по сельской местности, мимо проносились купы бананов, высокие кокосовые пальмы, ряды гевей, крохотные поля, в отдалении — затянутые дымкой бирюзовые горы, хижины на сваях, небольшие стада коз. Солнце припекает все горячей, воздух сухой, тонкая сажа влетает в окна, оседает на новой его одежде — все испятнала

темными точками, липнет к коротким рукавам, к влажным рукам. Когда отъехали как будто уже достаточно далеко, он вынул из кармана пачку сигарет, достал одну и закурил. Затянулся раз, другой, третий, и вдруг весь ослаб, замутило, словно хлебнул спиртного. Солнце передвинулось к нему на колени, но не было сил подняться и пересесть в тень. Глаза устало закрылись. Горячий ветер усыплял — он уронил руки на колени и крепко уснул, убаюканный медленным покачиванием вагона. А ведь он изо всех сил сопротивлялся. Но сон одолел его, и последнее, что он увидел,— влажно блестящее в беспощадных солнечных лучах лицо жены.

Когда он проснулся, солнце светило ему прямо в лицо. Попытался припомнить сон. Всплыли только обрывки тревожащих воспоминаний.

Снились джунгли, но совсем не такие, какими они ему представлялись наяву. Ни тигров, ни пиявок, ни топей, а только все деревья, деревья, оплетенные лианами. Да еще обезьяна. Громадная косматая обезьяна с красной мордой, таких обожествляют в индийской мифологии. Впрочем, он же не индиец. Забавно, как он ее сразу признал. Священная обезьяна. С детенышем на спине она перепрыгивала с дерева на дерево, описывая медленные дуги. А потом другая картина. Толстая женщина плачет возле санитарной машины. Он подошел поближе, хотел понять, отчего она плачет. На носилках — человек со страшно израненным лицом. Оно все утыкано осколками стекла, а женщина отчаянно вопит и винит в беде его малыша. Он с тревогой огляделся: к счастью,

малыша поблизости нет. С ужасом увидел он подле ту самую обезьяну, она вдруг прыгнула к женщине на колени, прильнула к ней. Женщина баюкает обезьяну, потерянно всхлипывает. «Деточка моя, деточка»,— бормочет она и укачивает обезьяну. А он все время терзается страхом. Что, если обезьяна говорящая и донесла женщине про его малыша? Ярость женщины ошеломляет, горечи ее нет меры. Из своего укрытия он видит — она разослала лазутчиков во все концы света на поиски его ребенка. Написала имя малыша на клочках бумаги, кинулась по городам и лесам и всюду разбрасывает эти клочки. Один ее лазутчик, старик, схватил пачку узеньких листков с именем его малыша и торопливо взбирается на высокую башню, карабкается по винтовой лестнице, протискивается между студентами, что выкрикивают лозунги, и наконец взбирается на самый верх, швыряет листки, и они тихонько плывут вниз по круглому лестничному колодцу. Один медленно опускается, покачиваясь в воздухе, долетел до дна — и тут скользнула в сторону какая-то панель и полоску бумаги затянуло в канализационную трубу, где он прятался с женой и ребенком. Белая бумажка заскользила, закружилась, как цветок, и замерла чуть ниже выступа, на котором скорчился он сам. Он крепче прижал к себе ребенка и поднял глаза. Панель уже закрылась, и он вздохнул с облегчением. И вдруг увидел какого-то мальчишку в синем, тот стоял посередине канализационной трубы и смотрел на них. В ту же минуту мальчишку увидел и его малыш, смеясь, он вырвался из отцовских рук и скользнул к мальчику в синем. Они стали резвиться —

тот мальчик и его малыш,—смеялись, обнимались, кружились в темной сточной жиже, ног их не было видно. Сколько ночей они так играли, уже не припомнить. И постепенно он полюбил и этого мальчика тоже. Казалось, он любит его уже многие годы. Но в глубине души он все еще тревожился из-за листка бумаги, который все еще плавал вокруг. И вот случилось то, чего он больше всего страшился. Однажды днем или ночью, не припомнить, когда именно, мальчик заметил листок, подобрал и прочел имя малыша. Медленно и все же с обезьяньей ловкостью мальчик поднялся из темных вод и начал карабкаться по ржавой железной лестнице, что вела к скрытой панели. Вот уже показались белые бедра, потом гладкие молодые икры. На правой лодыжке чернела родинка. Жутко ему стало — он узнал ее. Такая же родинка была на лбу того мертвеца с израненным лицом. В ужасе он крепче прижал к себе малыша. Мальчик добрался уже до самого верха, скоро он выйдет наружу с тем роковым листком и всем расскажет, где прячется малыш. Может, убить этого мальчишку, пока он еще не ушел? Сердце сжалось в сомнении. Можно ли убить того, кого так любил? Потайная панель распахнулась, солнечные лучи рассекли воздух. Безмерный страх раздирал его, и, всхлипывая, он отчаянно старался противостоять этому бешеному натиску. Наконец он словно вырвался из пут, которые связали его по рукам и ногам, сбросил давящую глыбу страха и кинулся к железной лестнице. Малыш пронзительно закричал. Но даже в этот миг, метнувшись в погоню, он еще не знал, как поступит. Яркое солнце уда-

рило в глаза, ослепило. И тогда-то он проснулся.

Он опять достал сигарету, закурил и задумался: а как бы он себя повел, если б с ним наяву случилось такое? Вероятно, хоть он и полюбил того мальчика, пришлось бы убить его, чтобы спасти своего малыша. Эта часть сна была все еще жива в памяти, не сама картина, но ощущение — та боль, которая сжала сердце при мысли, что придется совершить такое, и жгучее сомнение — а хватит ли его на это? Докурив сигарету, он снова попытался заснуть: быть может, приснится тот же сон и он узнает, чем все кончилось. Но стало уже слишком жарко. Он поднялся, прошел в уборную. Раковина по бокам в трещинах; он нажал резиновую кнопку, вверх ударила струйка тепловатой воды, он наклонился, раскрыл рот, стал пить. Потом вымыл лицо. Зеркало на стене оказалось кривым, на него смотрело какое-то незнакомое лицо: большие глаза — мрачные, недобрые, щеки запали. Он вдруг засмеялся и сел на крышку унитаза, покачиваясь в такт движению поезда. Ничего, сегодня ночью он уснет и тогда досмотрит этот сон. А если не сегодня, так уж завтра наверняка.



Касим Ахмад



ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Снова очутившись среди односельчан, он понемногу стал оправляться от недуга, слишком мучительного для того, чтобы счесть его тривиальным, но не имевшего имени и ускользавшего от любых определений. Несколько лет он провел в Сингапуре. Сейчас это время казалось ему каким-то сном. Прежде он и вообразить не мог, что в один прекрасный день окажется там, в самом, так сказать, сердце цивилизации, за сотни миль от своего маленького кампунга. Но именно там всем существом он ощутил *это* — неотвязное, неодолимое, безымянное. Какой-нибудь философ, вероятно, объявил бы возникшее у Юсуфа ощущение просто следствием неспокойных времен.

Он поехал туда учиться — «просвещаться», как принято говорить. И мать его, простая женщина, молча стояла у вагона, пока не тронулся поезд. Она никак не могла взять в толк, зачем понадобилось ее сыну уезжать в такую даль. Может быть, для того,

чтобы, вернувшись, он мог совершить большие дела?

И Юсуф действительно вернулся. Он мог бы остаться в Сингапуре, стать журналистом или выбрать карьеру чиновника. Но он возвратился туда, откуда приехал, возвратился обладателем драгоценного академического звания, впрочем чересчур благородного и высокого, чтобы упоминать о нем здесь, в родном кампунге, среди простых земледельцев и собирателей каучука.

Четыре года, проведенных в университете, были для Юсуфа «благоприятным временем господним». Что бы ни означало на самом деле это выражение, для него тут таилось многое, правда, слишком зыбкое, неотчетливое и, пожалуй, невыразимое. Домой он не привез ничего — ни имени, ни денег. О чем думала его мать, мечтая о предстоящих ему больших делах? Должно быть, она думала о людях своего кампунга.

Отец был убит. В мечтах он уже ясно видел блистательное будущее семьи. Ему самому на долю выпало не много радости, но сын его не должен, не смеет повторять отцовскую судьбу, покуда он жив. Он годами надрывался, в жару и ненастье, на нескольких акрах земли, им принадлежащей, и надеялся лишь на то, что наступит день, когда для него самого и для его детей начнется другая жизнь. А теперь этот самый сын, который так долго готовился к должности государственного чиновника, приезжает домой и заявляет, что не может, не имеет права бросать своей земли, своего кампунга, своего народа! Этого отец не понимал, и горькая обида переполняла его сердце.

И мать, бедняжка, тоже его не понимала. Но карьера сына мало ее заботила. Главное, он был снова с нею, живой и невредимый. Правда, глаза у Юсуфа были печальные. Впрочем, стоило ему оказаться среди односельчан, он сразу веселел. И это придавало матери сил. Теперь уж никто не разлучит ее с сыном. Она будет кормить и обшивать его... Давно уже до нее дошел слух, будто сын стал «чем-то вроде коммуниста», и ее мучил страх.

Однажды, когда сын приезжал на каникулы, она попыталась завести с ним разговор об этом. «Сынок,— сказала она как можно спокойнее,— будь осторожен. Не вмешивайся в политику». Юсуф огорчился — он понял, что она тревожится о нем, и внезапно ощутил всю мучительную сложность своего положения. Он взглянул в лицо матери, светящееся, как всегда, детским простодушием, и не удержался — улыбнулся ей, не в силах произнести ни слова.

У него не было неприятностей с блюстителями порядка — к счастью! Он не давал пока повода. Но, несомненно, он был не «чем-то вроде коммуниста», а, скорее, просто коммунистом. Его друг считал, что его новые идеи не более чем обычное кривлянье: начитался, мол, Маркса и Ленина, и к тому же быть «революционером» сейчас модно. Но Юсуф, по-видимому, уже родился коммунистом.

Житейские невзгоды не озлобили его. Правда, ему выпал не лучший жребий, но он никогда не считал, что находится во власти судьбы — понимал, что это всего лишь нелегкий жребий. Ему тяжко было видеть отца, бредущего с поля в грязной, пропитанной потом одежде, тяжко было

сознавать, что мать вынуждена работать до глубокой ночи при тусклом свете керосиновой лампы. Тяжко смотреть на соседей-односельчан, невежественных и несчастных, изо дня в день ведущих борьбу за существование.

Юсуф понимал, что там, где он родился и вырос, люди живут нелегко. Да и во многих других странах им было не легче. Закон жизни очень прост: выигрывает тот, кто трудится усерднее. Но, разумеется, должны быть потерпевшие крах. Жизнь подобна живописи, построенной на цветовых контрастах. Здесь тень — там свет. Вот и в ней тоже полно контрастов: радость и горе, богатство и нищета, знание и невежество. И в этом секрет ее красоты, свежести, движения. Лишенная всего этого, жизнь превратилась бы в скучное бессмысленное существование.

И все же он не мог избавиться от ощущения какой-то отчужденности, когда наблюдал за жизнью обитателей кампунга — по большей части неграмотных, потомственных собирателей каучука или крестьян, когда он видел их лохмотья, их морщинистые лица, огрубевшие от работы руки и босые ноги. Каждый день приходилось им плестись несколько миль до места работы, а потом еще несколько миль до маленького городка, где можно купить — нет, не купить, а взять в кредит — немного сахара, кофе, соли и масла и здесь же продать свой товар. Задумываются ли эти люди, для чего они живут?

Из рода в род эти люди жили так и были по-своему счастливы. Какие-либо события редко вторгались в их жизнь.

Иногда из кампунга уходили несколько юношей, ища занятия более доходного, чем пахота или сбор каучука. Наверное, они прослышали о штуке, зовущейся «война», где люди убивают друг друга хитрыми способами и получают за это приличные деньги. Это казалось странным, но они все-таки уходили. Деревня горевала, брошенные хозяйства приходили в упадок, землю продавали или отдавали в заклад, покинутые семьи влачили жалкое существование. Случалось иногда, что они получали несколько зеленых или красных бумажек от своих почти уже забытых сыновей. Но как бы то ни было, а жизнь шла своим чередом.

А однажды весь кампунг оказался окруженным войсками, и жителям запретили покидать его, даже если кому-то было нужно собирать свой каучук или обрабатывать поле. Тогда-то Юсуф и узнал, что какая-то банда, называющая себя «малайская коммунистическая партия», хотела захватить их страну. «Вот как, у нас, оказывается, есть страна? — удивился Юсуф.— Но зачем понадобилось этой банде ее захватывать? Неужели близится конец света?» Только бы аллах защитил их! Однако, как и следовало ожидать, деревня довольно скоро приспособилась к новым порядкам.

Юсуф спрашивал себя иной раз: есть ли в этой жизни поэзия? Да, есть, но эта поэзия сурова, искренна и пламенна. Она способна подняться к звездам подобно огромному огненному языку. Это была поэзия черной земли, рождающей рис для крестьян, поэзия, неслышно созидавшая его самого. Он чувствовал это всем своим существом, хотя и не мог выразить словами. И он загородился этим

новым ощущением от прикосновения смерти, приближавшейся к нему, как опытная обольстительница.

Тогда, в университете, Юсуфа спасло от смерти именно это ощущение, которое ныне он уже утратил, отчего в душе сохранился лишь неясный смутный отсвет. И тем не менее он принялся вместе с другими добиваться академического звания, ради которого они сошлись сюда,—звания, которое было ему необходимо для достижения власти, славы и денег.

Отныне его жизнь текла в атмосфере Сингапура, с Бетховеном, с одной стороны, и Биллом Хейли[1]—с другой. И где-то посередине оказались Хемингуэй, «Уик Эндер»[2], скабрезные фильмы, любовь в парках, проституция в глухих закоулках, демократия в законодательном собрании и «голос свободы», доносящийся с Ривер-Вэлли-роуд[3]. А на полках университетской библиотеки лежали книги Маркса и Ленина, читанные тысячу раз.

И так случилось, что Юсуф почти бессознательно принял этот двойной образ жизни. Он усвоил и сингапурский веселый смех под звон стаканов, и сингапурскую серьезность, спрятанную под массивными очками, и немую безнадежную печаль этого города. А вскоре он впервые поднял упавший дамский платок.

---

[1] Билл Хейли—популярный американский эстрадный певец.

[2] «Уик Эндер»—сингапурский еженедельник.

[3] Ривер-Вэлли-роуд—улица, где находится типография и редакция газеты «Стрейтс таймс».

И, взглянув в темные прозрачные глаза девушки, он внезапно понял, что жизнь может быть прекрасна. Он влюбился. Она была китаянкой, и это придавало его чувству особую романтичность. Он воображал себя героем, приносящим жертву на алтарь культурного единства. И это стало для него великим символом поэзии жизни, о которой он уже почти забыл, попранием грязных законов мертвой действительности. Но все это кончилось ничем.

— Влюбленный из тебя никудышный.

— Догадываюсь.

— О чем хоть ты с ней говорил? Уж не о коммунизме ли?

Он не ответил.

— Ну и что ты теперь намерен делать?

— Хочу работать и забыть все это. Я хочу забыть этот мир. Я хочу забыть весь этот прогнивший мир.

— Смотри не ошибись! Мир не прогнил. Впрочем, пусть так. Тогда почему бы и тебе не сгнить с ним заодно? Не высоковато ли ты себя ставишь? Слишком высоко, вот в чем загвоздка, чертовски высоко! Послушай-ка, что я тебе скажу. Если у тебя еще раз сорвется, дай мне знать — я тебе найду девушку. Только, ради всего святого, поцелуй ее до того, как она решит, что с нее хватит!

— Нет, мне кажется, я решил. Вернусь домой и буду выращивать рис.

— Не корчи из себя шута! Ты болен, приятель?

— Последний раз, когда я был дома, я еще не смог бы остаться там. Не смог говорить с ними. Я постоянно чувствовал, будто у меня что-то зас-

тряло в горле. Тогда мне еще было нечего сказать им, хотя надо было сказать о многом. Они тоже не знали, как со мной разговаривать. Потом я вернулся сюда. И заболел. То есть заболел от всего этого. Здесь я чувствую себя как в тюрьме. Я хочу вернуться туда, должен вернуться. Понимаешь?

Друг молчал.

— Мне кажется, я понимаю, в чем дело. Я потерял душу. Да, да, я потерял душу. Понимаешь, о чем я говорю? Мне необходимо вернуться туда. Моя жизнь неразрывно связана с тамошними людьми. Я должен вернуться и снова изучить их язык, их обычаи, чтобы жить с ними. Может быть, тогда мне удастся вернуть свою душу.

— Да это просто бегство.

— Возможно, но я бегу от смерти. Я намерен жить.

— Но правительство нуждается в тебе. Именно поэтому тебя послали сюда. А там тебе нечего делать. Вернувшись, ты ничего не сможешь сделать для них.

— Прости, старик, но я уже решил. Увидимся в лучшие времена. Теперь я знаю, что мне нужно. Никогда я так четко этого не понимал. Мне нужна моя душа, а никакое правительство не в состоянии помочь мне ее обрести.



23—712

Ширли Лим



ПУТЬ

Прошлой ночью ей снилось душное подземелье. Она блуждала по бесконечным темным коридорам. Тяжелый воздух сжимал голову; казалось, что уши заложены ватой; на скользкой земле под ногами белели черепа. Густая тишина, заставляющая сдерживать дыхание, наполняла ее уверенностью, что чьи-то злые глаза следят за ней из темноты. Черепа, злорадно ухмыляясь, окружили ее и начали двигаться медленно и монотонно один за другим, как в ритуальном танце.

Она знала, что, если не откроет глаза, она уже никогда не вернется назад, навсегда останется в этом мире лабиринтов, отделенная от живого тела, ее тела, которое отстраненно и спокойно лежит в постели и не понимает, что теряет ее. Она попыталась закричать, но рот ее только беззвучно кривился. Она очень хотела проснуться: считала до трех, с усилием напрягала мышцы, но прошло много времени, прежде чем она смогла открыть глаза.

Ночь была чернее, чем сумерки сна; она сковывала тело, давила на глаза, но дарила приятное чувство освобождения от трепетного и сладкого ужаса...

Теперь она сидела в полупустом автобусе. Он тряско подпрыгивал перед каждой остановкой, но никто не входил и никто не выходил из него. Ее увлек его бездумный стремительный бег. На поворотах он упрямо наскакивал на тротуар и, с жалобным визгом сотрясаясь всем корпусом, захваченный стремительным движением, напропалую несся вперед по прямым дорогам, мимо домов, которые рядами наплывали с обеих сторон и тут же исчезали, проглоченные серыми сумерками. Дома уже засветились огнями: темно-желтыми, тускло-синими, дымно-красными,— бессмысленные вспышки в темноте, наполняющие автобус еще более глубоким мраком.

Ни звезд, ни луны еще не было видно, быть может, они совсем не появятся сегодня. Люди в автобусе, серые, как небо, сидели, погруженные в свои мысли, которые навевала им наступающая ночь. Их взгляды были обращены в себя и лишь изредка в ожидании останавливались на двери, когда автобус резко тормозил. Но в дверном проеме никто не появлялся.

Вошла женщина в шаньку, истощенная и поблекшая — слишком много детей, слишком много работы, слишком много прожитых лет.

Головы мужчин, воротниками отрезанные от туловищ, висели в полутьме, почти безволосые, с большими ушами, и покачивались от малейшего вздрагивания мотора. И только она, в светлом форменном платье, была ярким пятном в этой

бесцветной компании. Она то беспокойно подбрасывала сумку, то покусывала нижнюю губу, вглядываясь сквозь пыльное стекло в еще более пыльный вечер, и слушала, как жужжит дорога под колесами.

Она с радостью выскочила из автобуса. Но с остановки уходить ей совсем не хотелось. Странная неопределенность пути удерживала ее на месте. Ей казалось, что, если она останется здесь, автобус обязательно вернется и увезет ее домой. Она не хотела никуда идти.

Тропинки разбегались в разные стороны от перекрестка, за заборами под деревьями прятались дома. Она не могла представить себя ни в одном из этих домов. Окна, создающие квадраты света, занавески, задернутые, чтоб не выпустить свет, голоса, различимые в журчании музыки.

Отчетливый стук ложки по тарелке напомнил ей, что она давно не ела. В этих домах были люди, не подозревающие о том, что она стоит, голодная, где-то в темноте. Целые семьи — матери, отцы, дети, которые изо дня в день принимают пищу и ложатся спать в положенный час, — окруженные стенами, заборами и палисадниками, эти люди ничего не знают о ней, словно они существуют отдельно, в разных мирах.

Интересно, знает ли мать, что она стоит здесь, перед этими домами, а если знает, догадывается ли почему.

Она дышала странным, непривычным воздухом, наполненным запахами незнакомого кустарника и цветов, которые засыпали, поникнув сплетенными головками. Тонкое, сладкое благоухание

щекотало ноздри. Неведомый воздух и обманчивая ночь взволновали и испугали ее.

Она хорошо помнила наставления матери, повторенные много раз: спуститься по тропинке и свернуть направо. Дома на той стороне огнями и шумом нарушали темноту. Собаки бегали вдоль заборов и хрипло бранились. Одна внезапно выскочила из мрака, но тут же убралась восвояси.

Седьмой дом от угла. Она ждала чего-то, сама еще отчетливо не представляя, чего именно. Калитка распахнулась от ее решительного толчка, и она вошла в красивый сад с бугенвиллеями и запахом свежей зелени. И вдруг все вокруг показалось ей таким знакомым, как будто она уже не раз бывала здесь. Открытая дверь, алтарь, незажженные свечи перед образом домашнего божества — загадочного всевидящего идола, которого вечно стараются задобрить и который всегда сердит, грозный владыка судьбы дома, пищи и семьи...

На стене по красному бумажному полю гулял золотой дракон, переливаясь сверкающими чешуйками. Его когти свирепо сжались, пасть разверзлась в неутоленной жажде вечной погони...

Из темной комнаты вышел мужчина, и она затрепетала от смущения. Ничего необычного не было в его появлении. Он вытирал рот тыльной стороной руки. Знакомый жест. Так всегда делал отец после еды. И все же какой-то голос говорил ей, что ее тут ждали.

Она сказала, зачем пришла. Хозяин предложил ей сесть и ушел в комнату. Она присела на край обшарпанной табуретки, но тут же вскочила: не

хотела, чтобы ее застали сидящей, словно она собирается остаться здесь надолго.

От голода у нее темнело в глазах. Скорей бы сесть в автобус и уехать домой. Очертания золотого дракона дрожали на красном поле, выпрыгивали на свет и снова возвращались на бумагу.

Она уже устала стоять, когда мужчина наконец вернулся со свертком. Взял деньги из ее рук без всякого интереса, но все же ей показалось, что глаза его как-то странно скользнули по ее платью, и она была рада уйти. Маленький сверток, небрежно завернутый в коричневую бумагу и стянутый резинкой, приятно хрустел в руках. Она догадывалась, что там сухие листья и стебли, которые крошатся даже от нежного прикосновения пальцев. Она шла домой с радостным ощущением, что она возвращается. Но что за могущественное волшебство было в свертке?

Дома ее ждала еда. Правда, рис уже остыл, но мать подогрела соленый суп и рыбу.

Ветер не давал ребенку уснуть. Старшая сестра держала его на руках и тихо напевала, похлопывая по спине: «Ай, ай, усни, усни, малыш, ай, ай, маленький человек, сильный человек, спи, спи...» В соседней комнате отец играл с приятелями в кости, то и дело выплевывая бранные слова. Четверо братьев, раскинувшись, спали на циновках, утомленные играми и беготней по улице.

Рядом с ней спала Суй Линь, младшая сестра, ей едва исполнилось три года. Она тихо икала и всхлипывала во сне, потому что вечером ее наказала мать.

А их мать, их сильная, крепкая мать была больна.

Она взяла те листья и стебли, добавила немного земли и сварила лекарство — отвратительную черную жижу.

После рождения последнего ребенка мать всегда спала вместе с детьми. Она была им необходима в ночной тьме, чтоб укутать в одеяло, когда дождь стучит по крыше, или крепко обнять, когда они вдруг просыпались от страшных снов. Мать больна, но она сильная и всегда рядом...

Она проснулась и долго лежала, недоумевая, что могло разбудить ее. В темноте ничего нельзя было разглядеть, и только по ровному дыханию братьев и сестер она поняла, что не спит.

Все было спокойно, даже капризный малыш тихо спал в своей люльке. За стеной похрапывал отец. Она думала о них, окутанных сновидениями. Лишь она одна не спала и ощущала медленно ползущую ночь. Но что-то неведомое в этом покое разбудило ее. Она приподнялась: это была мать. Она услышала приглушенный вздох и сквозь темноту увидела извивающееся тело на покрытом циновками полу. Она понимала, что матери плохо, но не знала почему и замерла в нерешительности.

«А-ай»,— тихо стонала мать.

Звуки боли смутили ее. Они тянулись долгие минуты, наполняя темную комнату. Она услышала, как мать медленно встала, как зашуршала циновка под ее ногами, услышала шум нетвердых шагов. Задохнувшись от испуга, она пошла за матерью.

Дверь душевой была открыта, и она разглядела темные очертания тела на полу. Мать вскрикивала, что-то шептала, но не зажигала света, потому что не хотела выдать свою боль.

Страх, порожденный сдержанными стонами матери, пересилил внезапно охватившее ее чувство отвращения, и она включила свет.

Мать сидела на корточках, сжимая рукою бок, глаза ее сузились, тело застыло скорчившись, темные пятна покрывали пол. Кровь, хлынувшая из роковой неведомой раны, заливала тело женщины — женщины, которая в эту минуту не была ее матерью. Одежда насквозь пропиталась кровью.

Боль и кровь оттолкнули ее: они находились за пределами ее понимания, но какое-то неосознанное сочувствие, инстинкт пола заставили ее двигаться.

Подогретая вода из детской бутылки, теплое полотенце, сладкое жирное молоко...

А тело то сжималось и вздрагивало, то неподвижно застывало, словно хотело остановить непостижимый таинственный поток.

Наконец женщина заснула, укрытая двумя одеялами, заснула в немом покое прошедших страданий.

А она все ходила по маленькой кухне, смывая с пола темные пятна. Испачканная одежда окрашивала воду в черный цвет. Когда она выливала в ванной эту черную воду, она вдруг почувствовала, как что-то в ней перевернулось. Ее мать, ее сильная, крепкая мать, которая всегда успокаивала ее после ночных кошмаров, такой матери больше не было. Она не могла утешить ее в эту страшную

минуту, когда она черной ночью смывала черную кровь. Она сказала ей все. Но что толку в том, что она сказала ей все? Дракон, глаза мужчины, темная дорога... Что пугало ее прошлой ночью и многие ночи подряд?

Когда она терла одежду мылом и полоскала, когда выливала черную воду, она думала о своих руках, погруженных в воду, о чужой крови, которая проникала в кожу и собиралась под ногтями. Она дрожала от холода, дрожала от всплесков холодной воды и, не в силах унять дрожь, плакала.



С. Кон



НАСЛЕДИЕ

— Она заявила, что не знает, сумеет ли она прийти! Тоже мне, цаца! Ну, я ей и сказала: «Благодарю, уж лучше оставайся дома и присматривай за своим английским мужем!»

Глаза миссис Розарью презрительно сузились, тонкая нижняя губа отвисла, углы рта опустились, и язвительные складки залегли возле носа.

— Ну а чего же ты ожидала? — протянула старшая дочь, Присцилла. Присцилла, одетая в замшу, была замужем за адвокатом, который ввел ее в высший круг сингапурского евразийского общества.— Стоит такой выйти за англичанина, как она начинает воображать, что слишком хороша, чтобы общаться с евразийцами, как будто этот самый ее муж что-то собой представляет. У себя на родине он был бы простым клерком, а не восседал в конторе, снабженной эр-кондишн, с таким видом, будто находиться там — его неотъемлемое право.— Надменные розовые губы поджаты, тонко

очерченные ноздри раздуваются, рот насмешливо улыбается.

— А знаешь, на наши танцевальные вечера ходят и азиаты,— сказала Гариетта.— Эта Дженни Ананда, например, я ее там видела. Я чуть было не спросила ее, когда это она успела стать членом Евразийского клуба, но потом подумала, что нехорошо справляться об этом при всех. Не стоит. Но, скажу тебе, эти Ананда — даже не евразийцы, они просто индийские католики, вот и все.

Муж Гариетты был всего лишь клерк. Они жили в одном из многонаселенных стандартных домов на Макферсон-роуд, и было похоже, что они никогда не выберутся оттуда. Тонкие черты Гариетты и ее увядающий рот приняли выражение постоянного сострадания к себе самой, и ее вечное недовольство изливалось в индусском нытье на евразийский лад.

Младшая дочь миссис Розарью, Луиза, муж которой был китайцем, молча следила за их беседой и пила чай. Теперь старая миссис Де Соза, мать их матери, возвысила свой дрожащий голос: она выражала недовольство неучтивостью молодых людей на танцевальных вечерах, которые ежегодно устраивались в Евразийском клубе. Старое лицо ее было покрыто глубокими морщинами, свидетельствовавшими не только о жизненных невзгодах, но и о том, что она находила окружающих выскочками с дурными манерами, занятыми только собой и вечно недовольными своим положением. Сморщенные скулы ее выдавались, глубокие складки оттягивали вниз углы рта, фиолетовая нижняя губа отвисла, дряблая и влажная.

Луиза взглянула на мать и сестер: в их лицах угадывались черты тех мерзких рож, в которые они превратятся со временем — станут похожи на милую бабушку. Раздраженная надменная гримаса кривила матовое лицо Присциллы; грубую кожу Гариетты прорезали почти такие же глубокие, как и у матери, недовольные складки.

«Какие же мы все суки, помоги нам бог!» — подумала Луиза, не исключая из этого круга и себя. Она чувствовала, что и сама она не может удержаться от презрительной усмешки, рассуждая о евразийцах, которые «тяготеют к белым», и надменно опускает углы рта, говоря об Ананда, которые пытаются незаметно продвинуться по шаткой социальной лестнице. Она понимала, что евразийский кастовый снобизм возник еще в те времена, когда тигры бродили по Серангун-роуд. С бессильной яростью она сознавала, насколько ее мать и сестры напичканы предрассудками, ограниченны, полны самодовольства и высокомерны, и даже в себе она замечала этот живучий атавизм. Эти женщины воспитывали ее двадцать лет, и она невольно переняла их привычки, их манеру говорить, их образ мыслей, и та же самая манерность и у нее в крови; она не может быть иной.

— А я не видела тебя и Сэн Го на вечере, Луиза, — сказала миссис Розарью, вдруг повернувшись к ней.

— Шеф Сэн Го пригласил нас на обед, и мы не смогли отказаться, — ответила Луиза.

Это было прекрасное алиби, хотя ее немного и мучила совесть, и остальные это заметили. Ведь она, презрев евразийскую кастовую систему, вы-

шла замуж за китайца, который, правда, был довольно светлокожим и считался человеком весьма образованным и влиятельным, но все-таки был «азиатом».

— Вы ведь были приглашены, не так ли? Сэн Го ходатайствовал о том, чтобы быть принятым в члены Евразийского клуба? — спросила Присцилла, и взгляд ее стал острым, как хирургический зонд.

— Никогда не слыхала, чтобы китаец был членом Евразийского клуба,— фыркнула миссис Розарью.

— А ему и необязательно быть членом,— нашлась Луиза,— я член клуба, поэтому моего мужа и приглашают.

— О да, вот удача, не правда ли? — промурлыкала Присцилла.

— Никогда не слыхала, чтобы жена приводила мужа на танцевальные вечера,— жеманно улыбнулась Гариетта.— Почему ты не уговоришь своего мужа похлопотать о вступлении в клуб? Быть может, его и примут. Конечно, абсолютной уверенности нет... Вдруг они скажут, что не могут принять в члены азиата, что этот клуб только для евразийцев?..

— Уж во всяком случае, Элис будет членом клуба, когда вырастет,— сказала Луиза, как утопающий за соломинку хватаясь за будущее своей дочери и вместе с тем презирая себя за то, что принесла Сэн Го в жертву их снобизму.

— Полагаю, Элис будет считаться евразийкой-китаянкой,— нехотя допустила миссис Ро-

зарью,— как эти Иммануэли, а они ведь члены клуба.

— Да нет, Элис будет китаянкой-евразийкой,— сказала Присцилла безжалостно.— Вы же знаете, у нее китайская фамилия.

— Да, раз отец — азиат, то и дети должны считаться по отцу,— ухмыльнулась Гарриетта, и вокруг ее рта обозначились злобные морщинки.

Старая миссис Де Соза встрепенулась — она задремала и уловила лишь конец разговора.

— Все китайцы — коммунисты,— заявила она, сердито оглядываясь.

— Я полагаю, Элис говорит только по-китайски,— фыркнула миссис Розарью, делая гримасу чайному подносу.

— Ты уже подумала о том, чтобы определить ее в школу, дорогая? — улыбнулась Присцилла.— Я слышала, что Наньянский китайский киндергартен — очень хорошая школа.

— Совершенно верно,— отозвалась Луиза,— дети премьер-министра посещают ее, и внуки председателя Верховного суда — тоже. Азиаты, насколько я могу судить, заправляют всем в наше время.

Воцарилось молчание, враждебное и высокомерное. Одинаковые надменно-презрительные усмешки застыли на всех лицах. Луиза поднялась.

— Хо, во твэй чу ла[1],— сказала она по-фудзянски, сладко улыбаясь, и все вздрогнули от неожиданности.— До свидания, дорогая мама, до свидания, бабушка, Присцилла и Гариетта.

---

[1] Ну, я пошла.

По дороге домой она поклялась избавиться от ограниченности и нетерпимости. Правда, она уже не может искоренить в себе узость представлений и предрассудки, хоть и ненавидит их, но она постарается еще больше сблизиться с мужем и позаботится о том, чтобы дочь была свободна от предрассудков. «Три поколения стерв — достаточно! — подумала она.— Элис будет играть со своими «простыми» двоюродными братишками и сестренками и вырастет разумной и терпимой».

Придя домой, Луиза помедлила в дверях, глядя на Сэн Го, который читал под лампой газету, и на ребенка, играющего с куклой. Ей радостно было видеть крупные, грубоватые черты лица мужа, его добродушный большой рот, приятную крестьянскую медлительность его движений и ползающую у его ног маленькую Элис, ее гладкую желтоватую кожу, мягкую складку ее розовых губ.

И вдруг мать увидела, как круглое личико ребенка сморщилось, Элис шлепнула куклу и бросила ее в угол, выговаривая ей точно так же, как Луиза обычно выговаривала ей самой. Нижняя губа девочки надменно выпятилась, углы рта раздраженно поползли вниз...



Сю Юэ Киллингли



ПРИДАНОЕ

В доме госпожи Рамачандран царило необычайное оживление. Дочь хозяйки, Шивасофи, готовилась к свадьбе. Воздух был напоен праздничным ароматом кэрри, шипящего в кастрюле. Среди всеобщей суматохи и гама одна молодая госпожа сидела спокойно, как и подобало ей в теперешнем положении. Госпожа Рамачандран сновала туда и сюда с такой быстротой, какую только позволяли ее сто шестьдесят фунтов, и подбадривала себя повелительными восклицаниями.

— Айа! Не лей сразу столько кокосового молока! Постепенно, постепенно! Последнюю порцию, самую густую, надо вливать в самом конце! А ты, Тамби, пойди-ка поиграй — да смотри, не запачкай рубашку! Что подумает твой дядя Тиручелвам, если увидит тебя грязным!

В этот момент в кухне появился хозяин дома, Рамачандран, и сделал жене знак идти за ним. Она послушно вышла, хорошо зная, как следует вести себя с мужем — подчиняться ему в мелочах с такой

готовностью, чтобы и во всем остальном он мнил себя хозяином положения.

Войдя к себе в комнату, Рамачандран спросил жену, куда она девала золотую цепочку — свадебный подарок для их дочери. Госпожа Рамачандран подошла к буфету и отперла железную шкатулку, наполненную множеством сверкающих украшений. Из этой груды извлекла изящную золотую цепочку и с довольным видом кивнула.

— Кто-кто, а уж мать Тиручелвама и эта хвастунья, его сестрица, не могут не оценить такой роскошный подарок. Я рада, что мы на это решились. Ведь это ожерелье может сохраниться и до свадьбы ее дочери. Ох, уж эта мать Тиручелвама! Такая скряга, такая жадина — прямо поразительно, а ведь муж ее зарабатывает немало. Слава богу, сын пошел в отца! Убеждена, что она и до сих пор прибирает к рукам большую часть его жалованья — ну да ведь доктора получают много,— хотя я бы на его месте хорошенько подумала: а стоит ли отдавать столько денег матери, коль скоро ты намерен обзавестись собственной семьей. О, Рамачандран! Ты должен поговорить с этим юношей и дать ему несколько полезных советов, объяснить ему, как он должен содержать будущую семью. Видишь ли, ему надо дать понять, что его сыновьям необходимо хорошее образование, а дочерям — приличное приданое. Ведь эти молодцы не понимают, что они обязаны обеспечить собственное будущее и будущее семьи. Впрочем, Рамачандран, зачем я все это тебе объясняю — ты ведь и сам так хорошо умеешь все растолковывать, особенно когда речь идет о молодежи! Ты, конечно,

сделаешь все, чтобы нашей дочурке было хорошо! Шутка ли — двадцать тысяч долларов! Это больше, чем дал за свою дочь Тангатурей, когда наш сын на ней женился,— а ведь она тоже окончила только четыре класса! Ты знаешь, что я не одобряла этот брак, но Аруль — он всегда был упрямым и непочтительным — настоял на своем! А, ладно, это дело прошлое. Ну а сейчас я должна бежать. Мне еще много надо успеть сделать.

Господин Рамачандран несколько раз пытался вставить слово и, едва жена остановилась, чтобы перевести дыхание, воспользовался моментом.

— Нам придется вернуть ожерелье.

— Вернуть ожерелье? Как? А что же скажет мать Тиручелвама и...

Господин Рамачандран поднял руку.

— Есть обстоятельства, о которых я уже давно хотел тебе рассказать, да все не решался — не хотелось тебя тревожить. Мы не в состоянии заплатить за это ожерелье. Помнишь, мы собирались продать землю, чтобы выручить денег на приданое и на покупку ожерелья?..

— Потише ты! Ты что, хочешь, чтоб люди подумали, будто у нас нет денег для нашей дочурки?— свистящим шепотом прервала его госпожа Рамачандран. Затем она громко осведомилась: — Какой участок земли ты имеешь в виду? Четыре участка мне дал в приданое отец, а еще три получил наш второй сын за своей женой.

— Перестань! — возмутился господин Рамачандран.— Ты что, забыла? У нас есть только один участок, остаток твоего приданого. Два других мы продали, когда женился наш третий сын, а потом и

четвертый сын. Ты же сама просила меня это сделать. Что до земли Анандакришны, так ведь она принадлежит ему, и он давно уже сдал ее в аренду, и все, что он получает за аренду, он пропивает.

Напуганная тем, что и другие семейные тайны дойдут до любопытных ушей, и заботясь о чести семьи, госпожа Рамачандран сделала мужу знак, чтобы он прекратил говорить на эту тему. Но тот, словно ничего не заметив, продолжал:

— Что же касается оставшейся земли, боюсь, ее не удастся продать и за четверть прежней цены. Понимаешь, за десять лет там скопилось много воды, видимо из какого-то источника; теперь эта земля сильно заболочена и непригодна для хозяйства. Пока мы ее не осушим, никто ее у нас не купит за ту цену, которую мы назначили.

— Ты хочешь оскорбить моего бедного папочку? Выходит, он дал мне кусок болота? Вздор! О, если б он только знал, какого зятя он получит, он поступил бы мудрее. Но мой зять будет другой человек, он не будет рассчитывать на приданое жены. Он — доктор, у него есть собственный доход!

С этими словами она удалилась, предварительно заперев золотую цепочку в свою надежную шкатулку. Господин Рамачандран встревоженно смотрел ей вслед, однако сказать что-либо не решился. В те минуты, когда его жена была особенно красноречива, он терял дар слова.

Госпожа Рамачандран позвала дочь, и та послушно выплыла из девственного покоя своей спальни.

— Ты счастливая девушка, Шивасофи, у тебя будет муж — доктор. Госпожу Мутту от зависти хватит удар! Разве может ее дочь сравниться с тобою! Да, Тиручелвам будет здесь через полчаса. Я вижу, ты прелестно одета, давай только подколем цветы жасмина, что-то они слева слишком низко свисают — вот здесь! Так-то лучше. Да не вертись же ты. Посмотри, что я из-за тебя наделала: два цветка оторвались. А, да не беда! Так даже лучше. Тиручелвам очень, очень тебя любит — так говорил его отец твоему.

Шивасофи застенчиво взглянула на мать и опустила голову. И тут раздался пронзительный вопль Тамби:

— Сестрица! К вам пришел дядюшка Тиручелвам! Сестрица! Он ждет вас в холле! Я сказал ему, что вы ждете его уже часа два.

Обе женщины пришли в ужас. Как только счастливый Тамби, пританцовывая, влетел в комнату, госпожа Рамачандран схватила его и больно шлепнула.

— Глупый мальчишка! К чему ты кричишь всякие глупости? Разве ты не знаешь, что твоя сестра усердно трудилась на кухне?— Она произнесла это очень громко.— Если она выглядит такой свеженькой и опрятной, это вовсе не значит, что она не работала. По-твоему, она лентяйка и целый день сидит без дела? Ну-ка, убирайся отсюда!

Полный недоумения, Тамби тут же исчез.

Шивасофи с матерью вышли в холл, откуда первая, бросив на своего пылкого преследователя скромнейший из взглядов и послав ему самую

застенчивую улыбку, смиренно засеменила в кухню.

— Доброе утро, тетушка! — сказал Тиручелвам. — Я пришел к дяде Рамачандрану. Он звонил мне утром.

— Присядь, пожалуйста, я велю Шивасофи принести тебе чего-нибудь выпить. Отведай муруку[1] — их только что приготовили, так и хрустят! Шивасофи ведь такая умница. Впрочем, — добавила она с лукавой скромностью, — ты и сам это знаешь! Садись! Ну, сядь же! Чувствуй себя здесь как дома, хотя с твоим домом его, конечно, не сравнить. А как поживает твоя дорогая матушка? Надо будет мне навестить ее — нам ведь есть о чем поговорить, не так ли? Теперь у нас появились общие интересы, я имею в виду ваше будущее. Присядь же, и я попрошу...

— Нет, нет, пожалуйста, не беспокойтесь. Я очень занят, я пришел только повидать дядю Рамачандрана, и мне скоро надо уходить. Позовите его, пожалуйста.

Госпожа Рамачандран понимала, что сейчас не время настаивать, и любезно уступила.

— Ну, так и быть. Вам, я понимаю, тоже есть что обсудить. Я схожу за ним — ради тебя.

Тиручелвам неловко сел, стараясь скрыть раздражение. Что за дура! А чего стоит эта показная скромность и кривляние ее дочки. Любопытно, неужели и у госпожи Рамачандран были такие же манеры в молодости? А, ладно, все равно мужчине

---

[1] Муруку — вид печенья.

нужна жена! Но только если уж жениться, то надо взять невесту с хорошим приданым!

Господин Рамачандран вошел вместе с женой. Отпустив несколько шутливых замечаний, она скоро удалилась в кухню. И тогда господин Рамачандран рассказал будущему зятю то, что уже сообщил жене.

Тиручелвам, который не питал никаких иллюзий относительно репутации своей предполагаемой родни, сразу же поверил новости.

Когда Тиручелвам отправился в свою больницу, господину Рамачандрану пришлось объяснить жене и дочери, что ситуация переменилась.

— Тиручелвам — не единственный доктор в нашей стране, и тебе придется искать своей дочери другого жениха,— сказал он жене.

Шивасофи ушла в кухню. Голова ее была скромно опущена.



Рональд Чань



НАЧАЛЬНИК

Первый день китайского Нового года на исходе. Черт его знает, какой это год. Год Дракона? Или Мыши? Палмерстон как ни старался, никогда не мог запомнить эти китайские праздники. За окном разрываются шутихи: короткий треск и замирающий, как дальние раскаты грома, гул. В висках стучит. Проклятые новогодние визиты! Фейерверки, коктейли, коктейли, фейерверки — свихнуться можно! Когда же это кончится?! Не скоро. Новый год у них празднуют две недели. Вот уже семь лет как Палмерстон здесь живет, а все не может к этому привыкнуть.

8.30. С минуты на минуту придут последние визитеры — конторские служащие. Он их примет и — спать... Оглушительный взрыв под самой дверью... Кого это черт несет? Писклявое приветствие, робкий стук в дверь, и на пороге появляется ухмыляющийся Ли. Школьник, настоящий школьник, подумал Палмерстон. Наивный школьник с глупой ухмылкой.

— Добрый вечер, Ли. Ответный визит, да? Только я не припас для тебя новогодних гостинцев.

Оба смеются. Палмерстону чуть-чуть неловко. Ему всегда чуть-чуть неловко в присутствии этого подчиненного с его неизменной улыбкой и хорошими манерами.

— Усаживайся, старина, нет-нет — сюда, в кресло. Ну, так что же будем пить? Виски с содовой? Прекрасно.

Ли молча потягивает виски. Проходит полминуты.

Надо сказать хоть что-нибудь. Спросить о здоровье, о семье... Но Ли ловит его взгляд и улыбается. Палмерстон улыбается в ответ и молчит. Он раздражен. Черт бы побрал этого парня, неужели он так и будет весь вечер ухмыляться? Кто-то тихо постучался. Может, это Ли тогда запустил фейерверк, думает Палмерстон, направляясь к двери. Нет, это было бы уж слишком. Взрослый человек как-никак.

В прихожую вваливается целая компания. Это тоже его подчиненные. Друзья Ли. Он наливает всем виски. «Отчего это азиатские девушки, не считая ресторанных танцовщиц, не пьют крепких напитков?» — проносится в голове у Палмерстона.

Гости располагаются как у себя дома. Высокие голоса, гомон все громче и громче. У Палмерстона снова разболелась голова. О чем они там болтают? Палмерстон вытягивает шею, чтобы расслышать. Ну конечно же, политика. Тут Ли словно рыба в воде. Удивительно, как этот малый блистает среди своих. Потому-то его и назначили моим главным

помощником. А посмотреть на него, когда он с моими друзьями — Клиффордом, Джоном и прочими,— болван болваном. Они почти все такие. Чудно́. И притом большинство из них кончили университет. Взять хотя бы Ли. Что это он сейчас сказал? Централизованное управление, подчиненное монархии?.. Ну конечно же. Палмерстон вспоминает, что этот малый кончил университет с отличием по какому-то предмету. По истории, что ли, или политической философии? И в самом деле толковый парень. А вот с виду совсем обычный.

Кто-то сострил. Все громко хохочут. У Палмерстона улыбка принужденная, да он и сам это чувствует, и от этого ему становиться неловко. Редкие потуги Ли на остроумие ему почему-то всегда не по душе. Плоско. Банально. Как только совмещается в одном человеке ум и такая святая простота, такая невероятная, до нелепости, наивность? Благородный дикарь? Великолепный примитив? Никакого благородства, впрочем, я в нем не вижу. Обыкновенный малорослый азиат с плоским лицом. Временами он просто смешон, право. Но азиаткам он, наверное, нравится. Говорят, он настоящий дамский угодник. Палмерстону трудно себе это представить.

Ли отпускает еще одну остроту. На этот раз в самом деле удачную, хотя и несколько дурного тона. Палмерстон невольно присоединяется к общему смеху. Ли хихикает, как девчонка. А ведь глава семьи. Чудно́. Да и не такая уж остроумная шутка в конце концов. И в каком-то внезапном озарении Палмерстону представляется, что от Ли вполне можно было ожидать, что он запустит

шутиху у него под дверью. Да, да, это его работа, конечно.

Господи, да когда же они уйдут! Гости всегда его утомляли. Что может быть ужаснее этого хождения из дома в дом, этих бесконечных рукопожатий, дурацкого чувства, когда тебе принужденно улыбаются в ответ на твои поздравления с Новым годом или говорят «спасибо», вместо того чтобы сказать «и вас также»? А впереди еще несколько «Новых годов» — индусский, мусульманский... И каждый из них справляют, каждый национальный праздник. Какой идиотизм! Как будто Новый год может принадлежать каждому в отдельности. И если день их Нового года не совпадает с твоим, тебе не отвечают: «и вас также». Ну и культура! А вместе с тем тридцать первого декабря все они поют новогоднюю шотландскую песню: «За дружбу старую — до дна! За счастье прежних дней!» По два Новых года в году для китайцев, мусульман, индусов, евреев, сикхов... Палмерстон тихо посмеивается, слушая неумолчный хохот и гомон. Нет, мне тут не место, мне, у которого только один Новый год в году. Я чужой. Так говорит себе Палмерстон, но в глубине души он уверен, что чужие они — те, кто его окружает.

Наконец виски выпито, запас светских шуток тоже иссяк. Ли поднимается с кресла. Остальные гости следуют его примеру. Невнятные слова благодарности, равнодушные пожелания «покойной ночи». И вот Палмерстон в блаженном одиночестве.

С улицы слышно, как компания шумно расходится.

— А что, Ли, кажется, наш мистер Палмерстон не очень-то сегодня веселился?

— Да. У бедняги совсем нет чувства юмора. Я-то знаю. Ведь я с ним работаю вот уже пятый год.

— Неконтактный тип?

— Да не то чтобы... У него есть друзья среди англичан. Но все же...

— Да... бедняга Палмерстон. Здесь ему долго не продержаться.

СОДЕРЖАНИЕ



СОВРЕМЕННАЯ МАЛАЙЗИЙСКАЯ НОВЕЛЛА



Редактор М. А. Финогенова
Художник А. П. Купцов
Художественный редактор Б. И. Колганов
Технический редактор Р. В. Гудкова
Корректор Р. X. Пунга

Сдано в набор 14.4.1976 г.
Подписано в печать 25.01.1977 г.
Формат 70×100 1/32. Бумага офсетная
Условн. печ. л. 15,15. Уч.-изд. л. 13,59
Тираж 50 000 экз. Заказ № 712.
Цена 1 р. 82 к.
Изд. № 22993
Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

Можайский полиграфкомбинат «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
г. Можайск, ул. Мира, 93

1р. 82 к.

СОВРЕМЕННАЯ МАЛАЙЗИЙСКАЯ НОВЕЛЛА